

Федор Панферов

Бруски

Книга третья

Звено первое

1

В парке на поляне пылали костры. Они заревом лизали старые сморщенные дубы, белобокие березы, поджигали в низинах густые кустарники и бросали отблески далеко на гору у Вонючего затона. Чуть в стороне от костров – на смятых скатертях валялись объедки хлеба, огурцов, засаленные пустые кастрюли, чашки, стаканы, посуда из-под вина, а около – в буйном вихре кружились коммунары: приплясывали, припевали, прыгали через пылающие языки, – и парк распирало криками, визгом, залихватскими голосами гармошек. В центре гульбища, развевая полами нового пиджака, как жирный гусь крыльями, носился Шлёпка. Плясать он вовсе не умел. Притопывая правой ногой, он скакал на левой, не сгибая ее, точно она окостенела, и сразу снизу вверх взмахивал руками, будто пугая кого.

– Ух! Ух! Где мои семнадцать лет! – ухал он, норовя выкинуть новое коленце.

От него не отставал Митька Спириин. Он где-то потерял фуражку, и его в плешинках голова то выскакивала, то ныряла в толпе.

– Гость... гость я... а раздокажу! – выкрикивал он, кружась около Шлёпки, как стриж.

Здесь же буйствовал и Епиха Чанцев. Бессильный скакать, он елозил по полянкам и выл, точно голодный пес, затем вползал куда-либо на бугорок и, упираясь одной рукой в землю, другой метал пустые бутылки, разбивая их вдребезги о ствол старого дуба.

– Епих! Епишка! – И Анчурка Кудеярова с остервенением широкой ладонью шлепала его по затылку. – Ты в парке не гадь: ребятишки у нас – обрежутся.

– Уйди-и! – скулил Епиха. – Уйди: я озорной!

Анчурка брала его под задок, и он, не в силах двинуть большими ногами, рвался из ее рук, будто шаловливый мальчонка. Анчурка бросала его в кустарник и крупным шагом убегала к коммунарам.

– Ты только полезь, полезь еще. Я те полезу! – грозила она.

А Епиха снова принимался выть, елозить по полянам, хватая баб за ляжки, – незаметный в буйной, потной и радостной в своем буйстве толпе.

С другого конца – со стороны невесты – подступала вторая партия. Оттуда молодой тракторист вел под руку младшую дочь Панова Давыдки, тихо вздрагивающую, трепетную. Перед ними прыгали, пели, извивались гости, дружки – коммунары, коммунарки, – а позади всех плелся в обнимку с Богдановым чистенький, беленький, как перо лебедя, дедушка Катай. Покачиваясь, он грозил кому-то вялой ладошкой и жаловался на свою судьбу. Впереди же всех, увешанный разноцветными тряпками, подсолнухами, топтался Николай Пырякин. Его крепко держал за руку Панов Давыдка и кричал на ухо:

– Вот и свадьба, Миколай. Ты знаешь... дочь отдаю. Ого! Старшая, Фенюшка: «Учиться, слышь, пойду»; а эта младшая, семнадцать лет ей стукнуло, пришла и просит: «Отдай за Володьку». Я что ж? Я ничего не имею.

– Придут нонче! Жди.

– А вот и пришла. Вон хоть бабу спроси!

– Брось болтать. – Николай рванулся и снова кинулся в пляс, припевая:

Как мо-онах всю жисть молился-а,

Ды-ы и на старость согрешил:

Он к монашке ды-ы подвалился-а...

– Стоп! Стоп! – вдруг оборвал он. – Главного у нас нет. Главного!

Гулянка приостановилась. Все поняли, о ком идет речь, но еще не знали, что предпринять.

Тогда Николай Пырякин и дедушка Катай отделились от толпы и, уверяя, что достанут главного живым или мертвым, направились в Широкий Буерак.

В Широком Буераке пили уже третий день. Пили все – мужики, бабы, девки, ребята. Пили всюду – в избах, под сараями, на гумнах, в ригах, на берегу реки Алая, в предбанниках, в оврагах по Крапивному долу, в улицах – у дворов. И село горланило перепутанными песнями, тоской по молодости, по несбыточной мечте, плачем, руганью. Казалось, все справляли какую-то единую торжественную свадьбу, грудясь там, где можно пить, ничего не отдав. Больше всех в этом гульбище пил, ел и буянил печник Егор Кунаев. Его отовсюду гнали – из изб, из коммуны, из предбанников, а он неожиданно появлялся, хватал со стола водку, пил на ходу, обтирая лицо рукавом, пускался в пляс, кувыркаясь, путая всех. Его били, с остервенелой злобой, с омерзением, выбрасывали с гулянки, а он снова лез напролом, выкрикивая:

– Сторонись ширь-топырь: Егорка Куваев идет! Как все это случилось – никто толком сказать не мог. Знали одно: накануне Кирилл Ждаркин, скача на рысаке, растеряв задние колеса тарантаса, залетел на Бурдяшку к вдове-шинкарке. Сюда, воспользовавшись случаем, сбежались его прежние друзья, выпили ради встречи, а к вечеру сгрудились у нардома. Кирилл Ждаркин взобрался на бугор и – крупный, взлохмаченный, широко расставя ноги, обдуваемый ветром, – долго молча осматривал людей, порываясь что-то сказать.

– Речугу, речугу хочет, – предупредил всех Захар Катаев, старательно оправляя на Кирилле рубашку.

Кирилл еще некоторое время осматривал людей, порядки изб, Захара, точно впервые все это видел, затем встряхнулся, весь натянулся и грохнул:

– Эх! Пей-гуляй: снова живем!

С этого и началось.

И вот треснули крестьянские сусеки, и хлеб потек на базар в обмен на водку, хлынули на базар овцы, ягнята, телушки, развязались узелки с червонцами, и широкоовцы с криком: «Пей-гуляй: снова живем!» – ринулись в попойку, а Широкий Буерак вздыбился, как пьяная лохматая баба. За Широком Буераком поднялись соседние села, затем пьянка перекинулась дальше и, как пожар, охватила целый район.

Кирилл эти дни жил в каком-то тяжелом угаре. Он пил много, чтобы залить горечь, обиду, чтобы встряхнуться, но ни того, ни другого у него не получалось. Иногда ему хотелось спуститься до своих прежних друзей: лапать баб, как лапают они, драться, как дерутся они, но и из этого у него ничего не выходило, и он, словно ошарашенный, ничего не соображая, подчиняясь чужой воле, перебрасывался с гулянки на гулянку.

Как-то раз он попал к Маркелу Быкову. Маркел пил жадно, угощал гостей медом и гнусил:

– Пей, Кирюша, сосед ты мой бывшай... Нонче все бывши – и ты бывшай, и изба бывша, и свет небесный бывшай. Пей: все равно отберут.

– Непременно. Отберут, – злоехидно подковырнул постоянный спутник Кирилла Захар Катаев.

– Вот то я и говорю! – И, упав грудью на стол, Маркел горько заплакал. – Несчастный я человек: кто теперь за пчелами ходить будет?

Напился он впервые, и пьяному ему втемяшилось, что вот таким – с непослушными руками, ногами, с шумом в ушах – он останется до гробовой доски. И, ударя головой о стол, он стонал:

– Несчастный я человек. Куры! Кур-рей! – и тыкал рукой в окно.

Во дворе ходили, ежась, точно стесняясь своей наготы, с длинными рябоватыми шеями, голоногие, ощипанные куры. Маркел три года тому назад приготовил четверть вишневой настойки. Тут, по случаю прихода Кирилла, водку выпили, вишню выкинули, куры наклевались вишни, опьянели и попадали, задрвав кверху ноги; бабушка решила: куры подошли, – ощипала и выбросила их за сарай. А они протрезвились, вернулись во двор, поражая пьяный мозг Маркела.

– Хо-хо-хо! – гремел Кирилл, подражая Маркелу. – Несчастный я человек: кто теперь за пчелами ходить будет? Куры-ы! Курей! – и еще с большим озорством кинулся в попойку, еле сознавая то, что творилось в Широком Буераке.

Пил он много. Пил чайными стаканами, тянул водку из горлышка, пил из сахарницы, лил водку в блюдо, крошил туда хлеб и хлебал, как окрошку, на удивление всем.

– Вот Артамон, дедушка твой, покойник, ведрами пил, – с гордостью хвастался Егор Куваев. – Ведро поставит перед собой и дует, а потом на кулачки пойдет... как начнет чесать – что твоя оглобля. И церковь не признавал: тогда еще люцинером был, – и хлопал толстыми, почти всегда

разбитыми губами.

Кирилл неожиданно поднялся из-за стола и, не обращая внимания на уговоры Быкова, ушел на берег реки, где кишмя кишели гуляки. Тут он ввязывался в борьбу с мужиками, перекидывая их через себя, как ягнят; выворачивал на берегу ольховник, бросал в воду баб – вот так: возьмет в охапку и швырнет с берега, словно курицу, а когда на него налетел разобиженный муж, он, смеясь добродушно и мягко, брал его в охапку, и муж летел в реку следом за женой, а Кирилл кидался в толпу и вместе с мужиками, бабами, сплетаясь в живой клубок, тоже падал в воду; бурля, захлебываясь, орал:

– Э-э-эх! Пей-гуляй: одна живем!

– Пей-попивай – на стол подавай, – вторил ему Егор Куваев, шлепая длинными ладонями по тощим икрам, и не отставал от Кирилла, как не отстает в пути от хозяина дворяжка.

А сегодня Кирилл сидит в избе у Никиты Гурьянова. Никита два дня ходил за ним, сманивал его к себе, упрасивал: «Барана зарезал... для тебя зарезал, Кирилл Сенафонтыч... Племяш, не нанеси смертельную обиду», – и теперь Кирилл у него первый гость, а изба набита зваными и незваными. Осоловелые люди сидят за столом, на кровати, иные вскочили на скамейки, и все вместе, тесно сбившись, пьют, горланят песни, стараясь перекричать друг друга, плачут, ругаются, пляшут, часто выволакивают Кирилла из-за стола, замыкают в тесный круг, и он, обняв нескольких баб, топает ногами, сотрясая стол с чашками, стаканами, блюдами, затем снова садится на табуретку и пьет – много, как лошадь.

На гулянке не было Ильи Гурьянова и Зинки. Они, говорят, уехали по каким-то делам в Илим-город. Плакушев гуляет в соседних селах, гуляет не один, а с юродивым монахом, обещает сегодня к вечеру непременно прибыть в Широкий Буерак. Пускай. Жена же Ильи, Елька, стоит вместе с другими на лавке, поет, топчется, машет полинялым, грязным, еще никогда не стиранным, сохранившимся от свадьбы платком и, не отрываясь, смотрит на Кирилла.

«Вот заноза!» – Кирилл, не стесняясь, поманил ее рукой.

Елька быстро спрыгнула, присела рядом с ним на табуретку. Кирилл в упор смотрит на нее. Она бледнеет, трепетно дрожат у нее густые ресницы, на щеках появляются красные крапинки, точно от укола иголкой. Крапинки ширятся, ползут... и щеки Ельки запылали тревожным румянцем, а глаза будто еще больше ввалились, обтянулись синими ободками, глаза – серые и чистые. Да, да, это та самая Елька – разбитная, шустрая деваха. Сколько лет? Восемь. Восемь лет тому назад, приехав на побывку из Красной Армии, он встретил ее в Крапивном долу. Она не шла, она как-то игриво прыгала, спускаясь в низину, и так хорошо улыбнулась ему, что он, не отдавая себе отчета, быстро сгреб ее в охапку и отнес в кусты дикого малинника.

Она тогда была первый год за Ильей.

– Еленька, какая ты хорошая! Соскучился я по тебе, – шепнул он и, доставая из блюда помидор, нагнулся, ожидая – она промолчит, отвернется или, приличия ради, отвесит какую-нибудь грубую бабью шутку.

– И я, – глубоко вздохнув, прошептала Елька. – Я, Кирилл Сенафонтыч, чуть было не ушла от Ильи: бьет он меня... За Зинкой утямился: у Зинки сундуки...

– Ну-у? А ты иди со мной. Я вас всех люблю: вы ведь цветочки наши.

– Я бы пошла... Тятя, тятенька, – она резко повернулась к Никите, заметив, что на них обратили внимание: – Тятенька, выпей с Кириллом Сенафонтычем.

Никита, распоясанный, от жары пунцовый, то засучивая, то опуская рукава на правой руке, показывая вздутые жилы, точно собираясь на кого-то в кулачки, грохотал:

– Сто целковых налога на меня накатили. Сто! За што, про што? Отвечай нам, Кирилл Сенафонтыч. Мы тебя в люди произвели, а ты на «Бруски» улег. Отвечай нам! А-а-а! Путь Ленина хорош, только дорожку к нему засорили. Митька вон Спириин засорил, коммунисты. Коммунист должен быть чист, как слеза младенца. А они?

Я вот... вот руки. Кажи подметки своих сапог и мои ладони, – он вывертывал ладони цвета перегорелой кожи, впитавшие в себя вечную черноту, и не мог растопырить очерствелые пальцы. – Вот они, мои мученики.

– А ты не работай, – шурясь, говорил Захар Катаев. – Не работай. Нонче, знаешь, есть такие хахали: ключи под советскую власть подберут и живут припеваючи. Вот и ты – подбери-ка.

– А у нас раздор кругом: жить вместе не хотят. Вот отчего и дух у меня упал. Подохну скоро... – Никита закачался и, жалуясь, зашептал: – Режим у меня, говорят, крутой. А я всем говорю

– советская власть не дозволит мое хозяйство нарушать: она укрупненным двором велит жить.

Рядом же плясали, выли, топали ногами, лезли в окна, двери, набив до отказа заднюю избу; требовали водки, а у двора плакали бабы: там кто-то кого-то бил.

– Делитесь? – спросил Кирилл.

– Да. – Елька опустила глаза и снова подняла их на Никиту, злые, сверлящие. – Я вон пойду на дорогу и три года своими ногтями землянку рыть буду, чем с ним, рыжим чертом, век свой доканчивать.

– Землянку? Все-таки свою! – И Кирилл погладил ее руку – шершавую, жесткую, и рука нырнула с колени, повисла.

– Почему меня активистом считают? – гремел Никита. – Почему? Я поседел... И власть не даст мое хозяйство нарушать. Я – культурник. Овес у меня – «неган». Придут, спрашивают, как, что, а я что – профессор? И картошку я достал «Всегда хо-хо-хо»... – Никита закашлялся, кадык у него выпятился, жилы на лбу вздулись, посинели. Хватаясь за грудь, не в силах откашляться, бледнея, он, как-то толчками оседая, опустился на лавку, и казалось: дунь на него – и он рассыплется, как одуванчик.

– «Всегда хороший сорт» картошку ты достал, – подсказал Захар и добавил, не то издеваясь, не то советуя: – А ты отдай им все... Пра. Молодым отдай.

– Глупый твой разговор, Хахар Вавилыч, – передохнув, заговорил Никита, легонько пряча водку за спину от жадных глаз гостей. – Тут еще больше изжоги будет: у меня совести не хватит обидеть кого. Вот ее спроси, сноху, – он показал на Ельку, – сроду пальцем не тронул, ни матерщинным словом.

– Не Хахар я, Никита Семеныч, а Захар, – перебил его Захар. – Звать-то ты меня забыл как?! И совет мой прими: отдай им все, а с них по червонцу в месяц, – и заживешь барином. А так подохнешь в одночасье.

Никита качнулся, передохнул – до его сознания, очевидно, дошло заманчивое предложение, но он, не показав виду, гремел свое:

– Я активистом, культурником больше быть не буду.

– А ты побудь: еще целковых триста слупят, – издеваясь, подкинул Захар.

– Не буду, – обозлился Никита и весь ошетинился. – И в коммуну к вам не пойду. Режь меня – не пойду. Я все по ветру раздую, останусь, как трын-трава!

Кирилл легонько потянул Ельку и, никем не замеченный, покачиваясь, вышел во двор. Ночь дрожала в прохладе. Кирилл, обняв под сараем столб, долго стоял, слушая доносящиеся до него слова Никиты Гурьянова, пьяный гам. Под сараем в углу кто-то сидел на корточках и, низко опустив голову, монотонно пел:

На ветки-и на-а зиле-онай
Пел с дрелью са-ала-вей...

Пропев раз, человек начинал снова.

– Экий певун, – усмехнулся Кирилл и прислушался через окно к словам Захара.

– Присядь-ка на минуту, Никит Семеныч, – говорил Захар быстро, чеканя каждое слово, – дай-кось малость и мне умишком раскинуть. Эх, люди-человеки! Такая штука. Обидно умирать теперь. Я иной раз вот как в волосы себе вцеплюсь – с корнями рву: лет двадцать сбросить бы мне, пожил бы, ох, и закрутил бы веревочку по-другому. Нет, чего нельзя, того нельзя. А посмотришь – иной ноет, молодой, а ноет. Говорю: дурак... чего тебе надо, ты сам – золото.

– Чудак, – проговорил Кирилл и обошел столб, стараясь разглядеть Захара всего.

Захар сжался, будто для прыжка.

– Человек не сразу ходит. Это свинка сразу ходит, поросенок: оторвался от пуповины матери и пошел стегать. Но и веку свинке пять лет. А нам, человекам, надо знать – бородавку срезать и то больно, а мы ноне море переходим. Один ученый доказал – Моисей знал, когда море расходится, и провел свой народ по сухому дну... и то ропот был. Вот и нонче море расходится: большевики зовут нас по сухому дну пройти, а мы пятимся. Это мое слово запомните. Эх, хоть топором бы с вас скорлупу обтесать...

Захар говорил долго – с прибаутками, шуточками. Люди смолкли, и Кирилл, слушая его, совсем забыл – для чего вышел во двор. Но вот кто-то тронул его за плечо. Он повернулся. Во тьме перед ним стояла Елька, а в углу сарая все так же кто-то, сидя на корточках, пел:

На ветки-и на-а зиле-о-онай
Пел с дрелью са-ала-вей...

– Егор Куваев. Его любимая. До утра тянуть будет, – шепнула Елька, тихо смеясь. – Как выпьет, так и за «ветку».

– Еленька, – Кирилл длинными руками обнял ее всю.

– Я не могу. – Елька повернулась, посмотрела кругом, потом потянулась и, извиваясь, повисла на нем – худенькая, лядащая, как подросток-девчонка, – затем оттолкнулась и быстро в темноте побежала по лестнице вверх на сеновал, сорвалась и упала на подставленные руки Кирилла.

– Какая ты легонькая, – и, переливая говор волнующим смехом, Кирилл унес ее туда, откуда ударило крепким запахом сена, теплотой ночи.

– Как же вот так? – спросил он ее чуть спустя, когда она, притихшая, лежала у него под боком, положив голову на его плечо.

– Надоела пресная жизнь, Кирюша. Вы ведь, мужики, смотрите на нас, как вон на седелку: надо ехать – запряг, приехал – бросил.

– Ну, что ты? Я же не такой.

– О тебе я молчу. Знаешь, второй раз за всю жизнь добро почувала: там, в Крапивном долу – помнишь? – и вот теперь. Да тебе ведь это не понять. Сокол ты!

«Бабы меня любят, ребятишки, а персона повыше – нос гнет», – соображал Кирилл, не слыша последних слов Ельки, плотно и ласково прижимая ее к себе.

2

Николай Пырякин и дедушка Катай нашли Кирилла на сеновале. Елька, шустро пробираясь по крыше сарая, едва успела скрыться.

А в избе буйствовал Никита Гурьянов. Он совсем опьянел и, ударяя кургузой ладонью по новому, покрашенному фуксином оконному наличнику глухо бубнил:

– Ни у кого на селе таких налишников нету!

– У тебя правый уклон, – вступил с ним в спор Николай Пырякин, то и дело отбрасывая со лба редкие, мочального цвета, мокрые от пота волосы. – Мы – работники социализма. В чем дело?

Никита ничего не слышал, не видел, не понимал. На губах у него набилась иссиня-бурая пена, он глядел в один угол, стучал ладонью по наличнику и долбил одно и то же: «Ни у кого на селе таких налишников нету!», и был похож на человека, который неожиданно получил рану и в безумстве весь сосредоточился на ней.

– Кирилл Сенафонтыч, со мной, на моем Красавчике! Эх, и лютой стал, шут его дерито! – Митька Спирин вертелся около своей понурой и тощей лошаденки, не отпуская Кирилла от себя ни на шаг.

Кирилл смотрел на Ельку – переодетую, в новом голубом платье, с розовым, еще от девичьей поры, гребешком в голове. Несколько минут тому назад, когда он входил в избу, она поймала его в сенях и тихо – Кирилл разобрал ее слова лишь по движению губ – прошептала:

– Не глумись только, Кирюша... все вынесу. Слово ласковое скажи, мне больше ничего и не надо.

Кирилл смотрел на нее – присмирившую, притихшую, – улыбался ей и ничего не понимал в суете, бурлившей около него. Почему-то все покинули столы, куда-то собирались, торопились, кричали, а через открытое окно с улицы неслись неугомонный скрип телег, ржание лошадей, матерщина, плач баб. Кирилл на всю эту суетню смотрел поверх: он чувствовал себя сытым, довольным, успокоенным, и ему хотелось одного – подойти к Ельке, сжать ее голову – вот так, взяв в ладони ее худенькое лицо, и сказать: «Добро, Еля, добро».

И когда он вместе со всеми вывалился на улицу, его поразило огромное скопление подвод. Тут были всякие: высокие, с поломанными наклейками, безребрые рыдваны, разболтанные, с вихляющимися колесами, похожие на Епиху Чанцева, таратайки, скрипучие, облупленные – память былого – тарантасы. Подводы передвигались, путались колесами.

– Что это такое? – спросил он, болезненно и туманно вспоминая годы гражданской войны и вот такую же спешку в селах во время эвакуации.

– На «Бруски»! Всей компанией, – взволнованно ответил Митька Спирин и потянул Кирилла к

своей телеге – высокой, перевязанной мочалками, веревками.

– Блудный сыр возвращается, – молвил дедушка Катай и, подтягивая штаны, засемелил перед Кириллом. – Ты тут гуляешь, а к нам ни ногой. А у нас свадьба, право слово.

– Садись, Кирилл Сенафонтыч, садись, – тянул Митька Спириин. – Садись скорее, а то вон моя шишига идет.

Из избенки прямо в разгороженный двор вышла Елена Спирина. Она медленно пересекла улицу и, подойдя к саврасому мерину, подобрала с земли вожжи.

Митька, придерживая руками живот, точно в самом деле он у него был большой, хмурая брови, двинулся на нее:

– Эй, слышь-ка, ты чего?

– Налил zenки-то. Не дам!

– Как – «не дам». Кто хозяин? Я – хозяин! – Митька обошел меринка и через его спину рванул из рук Елены вожжину, Елена потянула за свою, и меринок попятился, виляя приплюснутым задом. – Пусти! Пусти! – угрожающе зашипел Митька. – Не позорь меня на всю Расею. Пусти, водяная шишига! – вдруг закричал он со слезой в голосе.

– Давай уйдем стыда ради, – трогая ладошками Кирилла, проговорил дед Катай.

– Ну, валяй, валяй! – разжалобилась Елена. – Только смотри: она, лошадь-то, не палка, ее кормить надо, – и глянула на Кирилла: в глазах все такой же блеск, как и у всех баб, когда они смотрят на Кирилла.

– Я для Кирилла Сенафонтыча... да я... – Митька круто завернул меринка перед Кириллом.

Кирилл сунулся в телегу.

«Да. Пир заканчивается: приходится возвращаться восвояси», – мелькнуло у него, и он, закрыв глаза, крепко стиснул ладонями голову.

Митька ударил меринка и покотил за околицу. За ним двинулись остальные, и улица наполнилась пылью, точно прогнали стадо перепуганных коров. Сначала все скакали тесно, но как только выбрались за гуменники, метнулись вразброд, обгоняя друг друга. Тут и показал себя Никита Гурьянов. Он вскочил на ноги и, наяривая кнутом рысака, обгоняя всех, свернул в сторону с большой дороги и понесся рубежом. Сделал о «это с умыслом или пьяная голова ничего не разбирала, только все рванулись за ним и, не уместаясь на рубеже, поскакали полем, выворачивая колесами, превращая в месиво сочный турнепс.

– Я тебя, как генерала: отдельно, – бормотал Митька и, зная, что меринок не угонится за всеми, пустил его по направлению к «Брускам» большой дорогой. – Ты, Кирилл Сенафонтыч, то пойми: люди, как репы в лошадиный хвост, в жизнь вплетаются, какая она ни на есть. У меня вот, к примеру, плетень развалился. Думаю: «На кой его мне пес! Без плетня-то еще лучше: всех видать». Нет, занозит: охота плетень поставить. И леску хочу у тебя попросить, хворостку. Зря у вас на Винной поляне валяется... А? Возьму я?...

– Эй! Иди. Отец зовет.

Кирилл поднял голову.

Они были уже на «Брусках».

Еле уловимая синяя испарина ползет по Завольжью, над Волгой, а старый парк тих. Залитый струями осеннего солнца, он тих и покорен осени: она снимаете него пожелтевшую листву, усыпает ею подножья берез, дубов.

А на краю парка, на дорожке, ведущей к домику Степана Огнева, стоит Стешка. Спрятав руки под фартук, она говорит, точно обращаясь к кому-то другому:

– Эй! Иди. Отец зовет.

– Меня, что ль? – спросил Кирилл.

– Нет. Меринка вон Митькиного, – ответила Стешка и направилась в глубь парка.

Шагая за Стешкой, глядя на ее покрытую загаром, усыпанную пушком шею, Кирилл в тоске подумал: «Она уже не зовет меня по имени».

– Уезжаю, – в полуоборот кинула Стешка.

– Куда?

– Уезжаю.

– Слыхал. Куда?

– В Москву... А ты тут останешься... с этой...

– С кем? – передохнув, спросил Кирилл, предполагая, что она уже все знает про Елку.

– С Машей... по соснам будете...

– А-а-а. С Машей – нет, – тихо перебил ее Кирилл, зная, что с Машей у него ничего такого не было, за что его можно было бы упрекнуть, и одновременно как-то радуясь тому, что Стешка ничего еще не знает об Ельке.

– И врешь: я же видела.

«Ага! Вон она почему так», – подумал он и, шагнув вперед, беря Стешку за плечи, проговорил: – Зря, Стеша! Ты ведь знаешь. Доконать хочешь?

– Не лапай, – резко произнесла она, сбрасывая его руки с плеч, и быстро побежала вверх по лесенке. – Подлец! Кот!

– Ой, что ты, Стешка! – И он тут же улыбнулся, поняв, что так говорит она от обиды на него.

Степан Огнев сидел в кресле, сплетенном дедушкой Катаем. Больная рука безжизненно лежала на коленке, репчатое лицо было стянуто набок, а в глазах – тоска, бессилие что-либо сделать с собой, со своей немощью.

Кирилл долго стоял в дверях и смотрел на него. Степан повернулся к столику, достал оттуда тетрадку и, написав что-то, подал Кириллу.

«Глохтишь», – прочитал Кирилл и тут же сам написал: «Да. Пю». Он хотел было подать тетрадку Степану, но, прочитав написанное, задержался: «Что это такое «пю»? А как же надо написать «пью»?» – подумал он.

Но Степан вырвал у него тетрадь, прочитал и тоже в недоумении посмотрел на него, затем снова написал:

«Что это за «пю»? Китаец, что ли?»

«Глохтит умеем, а как написать – не умеем... вот видишь, получается «пю», – ответил Кирилл и, сгорая от стыда, круто повернувшись, вышел из домика.

Он шел напрямик в гору, твердо ступая на землю, на пожелтевшие травы, ломая сухие прутья березы, и бурлила в нем непомерная обида на себя, на коммунаров, на Степана Огнева, на Стешку, на весь свет.

«Пьяный ты, пьяный... проспаться бы тебе, – уговаривал он себя, но обида не умолкала, и он, поправляя фуражку, нечаянно рукой притронулся к щеке – по щеке катились слезы. – Экий дурень... слюнтяй», – он засмеялся и приостановился.

В парке на поляне буйствовали гуляки, толпясь около Никиты Гурьянова. Никита, встав на старый пень, размахивая бутылкой, доказывал:

– У вас что! Что за порядки? В Китае – вот порядки. Там замков нету. Все настезь! Зато по шаше, к примеру, идешь – вдоль колы торчат, и на каждом – башка. Там так: как вора пымают, башку ему, как куренку, отвернут и – на кол. Вот и нет воров. Нету-у!

– Дайте мне его... Дайте рыжего черта! – Из рук Панова Давыдки вырвался Николай Пыррякин и, наскочив на Никиту, затрясся. – Ты зачем?... Тебе что, рыжему черту, дороги не было? А! Весь турнепс помял.

– Да что ты ерепенишься? – брезгливо остановил его Никита. – Чего те жалко? У нас возьмут – да вам. Чай, сроду так при советской власти, – и засмеялся хрипло, надрывисто.

Николай закачался и, не находя слов, ударил кулаком Никиту в лицо. Никита взвыл, поднялся на носки и, как медведь, накрыл лядащее тело Николая. Все вскочили и кинулись в драку. А со стороны двинулся Кирилл Ждаркин. Выставив вперед длинные руки, он бил с пырка всякого, кто попадался ему на пути.

Спустя некоторое время он сидел на берегу Волги, смотрел вдаль, чувствуя в себе полную опустошенность.

– Ну и набедокурил же ты, – осторожно подходя к нему, как к чумной лошади, упрекнул его бывший пред-рик, а ныне секретарь районного комитета партии Шилов. – Уважаю я тебя, конечно, но как секретарь райком-парта должен предпринять меры. Иди! Там представители контрольной комиссии приехали.

«Вот и начинается, – болезненно подумал Кирилл и посмотрел на плотную, сбитую фигуру Шилова. – Судить меня будет эта гнида».

– Иди. Не сопротивляйся, – сказал Шилов и первый пошел вверх по тропочке, скрываясь в желтоватой листве.

Кирилл поднялся в парк, но на повороте, у домика Степана, круто свернул в сторону Вонючего затона.

«Пю», вот тебе и «пю», – вспомнил он разговор со Степаном, издеваясь над собой.

Рассуждая так, он пересек парк глухой тропой и на окраине, где начинают стелиться мхи, заметил Стешу.

По всему было видно, Стеша искала его. Это было заметно и по тому, как она выскочила из кустарника и, согнувшись, начала всматриваться во все стороны, и по тому, как она поникла, неожиданно столкнувшись с Кириллом.

– Что? – спросил он, не останавливаясь.

– Ничего, – ответила она и пошла с ним рядом.

Они пересекли парк, перевалили через гору у Вонючего затона, пробились сквозь колючий, спутанный кустарник и незаметно добрались до болота, попав в старые карликовые сосны. По утверждению знатоков, этим сосенкам насчитывалось до ста пятидесяти лет, а были они совсем низенькие – чуть повыше Кирилла. Низенькие, толстые, с наростами, уродливые, точно горбатые. В соснах, закутанных у подножья увядающими мхами, было тихо. Казалось, карликовый лес давно умер: ни движения, ни шороха, ни крика, ни птиц, – только сухой, жесткий поскрип сучьев.

Так, молча, они зашли вглубь. Под ногами мокли зыбуны, мхи скрипели, как сафьяновая кожа, и тянуло от них тонким запахом лимона. Синее платье Стеши почернело от наступающей ночи. Черно смотрела и ночь из глубины леса.

– Как мертво тут, – проговорил Кирилл. – Так в могилке, наверно...

– Наверно, – ответила Стеша, обходя свалившуюся сосну.

И тут Кирилл заметил в брусничном кустике светлячка. Стеша быстро нагнулась, подняла его и положила себе на отворот платья. Светлячок загорелся, как горит вдали фара автомобиля... и вдруг перед Кириллом все ожило, зашумело, и он, волнуясь, склонясь над Стешей, проговорил:

– Вот мне казалось – мертво тут, пусто... а червячок оживил. Видишь ли, может, это и неладно... Но вот – работаю я, и охота большая. А иной раз кажется – мертво. Оттого и загулял. Ты отвернулась, и помертвело. Как вот в этом лесу не было червячка, а теперь...

– Ты, что ж, меня с червячком сравнял? – с еле уловимой обидой в голосе проговорила Стеша. – Ну-ну! Червячок я?

«Не понимает или зазнается», – досадуя, подумал Кирилл и свернулся, как свернулся, потухая, светлячок на груди Стеши.

– Действительно хватанул, – деланно засмеялся он и, круто повернувшись, направился обратно на «Бруски». – Пора нам. Далеко зашли... Да и ждут меня!

– С Машей дальше заходили!

– Еще бы! Маша – птица вольная, а у тебя муженек, слышал, прикатил. Надо закон семьи блюсти, а то и за это судить будут. Теперь ведь каждый постарается меня лягнуть: на колени упал.

– Не падал бы, – зло кинула Стеша.

Кирилл промолчал и крупным шагом – Стеша еле успевала за ним – направился в парк, издали видя, как мигают электрические огни на «Брусках».

3

На сцену, за длинный отполированный стол, двое бережно вводили престарелого человека. На нем болталась серая куртка с отвислыми, как пустое вымя козы, грудными карманами. Заполненные карандашиками, записными книжечками, карманы свисали почти до самого живота и делали человека еще более тучным, дряблым и неповоротливым.

«Вот так рухляк», – подумал Кирилл, видя, как престарелый человек опустился в кресло и тут же как будто задремал.

Один из сопровождавших престарелого человека подошел вразвалку к трибуне, выпростал из чемоданчика кипы бумаг, куски рыжего торфа, воска, баночки с темной жидкостью и начал пальцем крутить на чисто выбритом подбородке так, словно там росла густая борода. Плечи у него были широкие, придавленные, как у волжского грузчика, лоб скатом навис над глазами, отчего глаза ушли вглубь и издали казались двумя темными ямками, и весь он – широкогрудый, сутулый – вертелся на коротышках ног, как утка.

«Этот и есть самый главный докладала», – решил Кирилл и, приваливаясь к спинке стула, чуть было не вскрикнул: человек за трибуной прокашлялся, затем быстро почесал сначала правую, потом левую щеку, будто соскребая с них ошметки грязи, и проделал все это так же, как делал Богданов

перед докладом.

– Что за оказия! – прошептал Кирилл, припоминая, что с Богдановым он расстался три дня тому назад, выходя из здания Центрального Комитета партии. Расстался с лохматым, волосатым, в черной широкополой шляпе, в синей, потертой и, очевидно, никогда не стиранной куртке, а этот – брит, в сером костюме и при галстукe – розовом, с зелеными крапинками. Богданов только сегодня утром позвонил Кириллу, чтобы он явился на заседание вот сюда – в Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева. Позвонил, а сам куда-то провалился. И Кирилл, непривычный к академической обстановке – она давила его своей опрятностью, тишиной, – придя раньше всех, забился в темный угол, наблюдая отсюда за каждым, кто входил в аудиторию. Чувствуя себя одиноким среди этих лысых, лысеющих (он почему-то замечал только их), он больше часа напряженно ждал Богданова, досадуя на него за опоздание, а теперь – на-ка вот тебе! – за трибуной стоит человек и всеми своими движениями напоминает Богданова.

– Товарищи! – начал человек, выставив вперед руки, ставя ладони на ребра. – Товарищи! – Все смолкли, а человек поперхнулся. – Уважаемые профессора, агрономы, общественные деятели, – поправился он, налегая на «о». – Мы собрались сюда, чтобы практически обсудить вопрос о том... вопрос о создании, организации на энерготорфяной базе гармонического хозяйства на площади в один миллион га, то есть сочетать постройку металлургического гиганта с сельским хозяйством.

Последние слова человек проговорил быстро, точно пугаясь, что ему запретят об этом говорить.

– Песенка о несбыточном, – шепнул сосед Кириллу и забарабанил тонкими белыми пальцами по спинке стула.

Кирилл взгляделся в соседа и признал в нем агронома Борисова, заведующего полдомасовской опытной сельскохозяйственной станцией, того самого агронома, который когда-то выступил в печати против мероприятий Кирилла и Богданова, защищая черный пар как новшество.

– Ясно. Да где нам знать! – притворяясь, ответил он Борисову и тут же хотел было сказать: «Эх, ты, сумасшедший, если не хуже».

– Разрешение этого вопроса, – продолжал человек на трибуне, – потребует от вас напряжения всех сил, средств, сочетания всего передового, революционного в науке. Проще говоря...

«Ого! «Проще говоря!» Да это наш шайтан, – и, перебегая из угла в первый ряд, Кирилл окончательно признал Богданова. – Вишь ты, как переоборудовался! – позавидовал он и осмотрел себя: брюки из «чертовой кожи», сапоги яловочные, с загнутыми, оббитыми носками, и догадался, почему на него зашикали: сапоги скрипят, как сочная береза от ветра. – Ну, ну, «проще говоря», крой их по лысым кумполам... Чудак, обрядился, а уши все такие же – лопухи».

А Богданов уже говорил о том, как его пятнадцать лет тому назад, когда он впервые попал на торфяные болота «Брусничный мох» и «Шелудивые топи», подняли на смех не только местные жители, но и местные ученые. И если бы тогда у него было меньше воли, уверенности, он бросил бы разведку.

– Но тогда, как и теперь, меня вдохновляли труды нашего уважаемого учителя, академика Вильямса, его авторитет. – Богданов весь повернулся на своих коротышках к престарелому человеку.

– Та-ак. Хорошо, – густым басом прервал престарелый человек. – Знаете, дорогой мой, в науке авторитетов нет. Они есть только для дураков, – и засмеялся глухим и совсем не обидным смехом, заражая всю аудиторию, в том числе и Богданова. – Просим! Продолжайте, – закончил он и снова будто задремал.

«Ага! Так это тот самый. Тысячу пудов с десятины», – припомнил Кирилл рассказы Богданова о Вильямсе, и престарелый человек, дряблый, сонливый, которого, казалось, приличия ради затащили на сцену, превратился в огромного, сильного, того чародея Вильямса, который знает тайну земли.

– Всем вам известно, – перестав смеяться, продолжал Богданов, – что перед нами, работниками сельского хозяйства, стоит одна основная задача – превратить солнечную энергию в скрытую, потенциальную энергию, то есть в пищу человека. Видите, основным материалом нашего производства является не совсем обычный материал – солнечный свет.

Кирилл при последних словах Богданова посмотрел в окно. Оттуда бил яркий солнечный луч, играя зайчиками на столе около Вильямса, на полу... И Кирилл пожал плечами, краснея за Богданова. «Понес... понес, ломаться», – в досаде подумал он и посмотрел кругом, уверенный, что

все улыбаются богдановскому чудачеству. Но все сидели молча, даже перестав шелестеть листками блокнотов. Вильямс тоже чуть-чуть встряхивал головой, словно – на его огромную голову садилась муха. И Кирилл, ничего не понимая, глядя на солнечные блики за окном, неожиданно для себя перекинулся на «Бруски», где ему все казалось простым, понятным. Он некоторое время думал о Волге, о «Брусках», о той ералашной истории, которая так неожиданно и буйно разразилась в Широкое Буераке, втянув в круговорот событий десятки сел. Вспомнил он и о неожиданной смерти маленького сына, после чего Улька ему стала совсем чужой, да и он сам ей стал чужой, и они без спора решили, что Улька должна уехать учиться на мастерицу-швейку. И она уехала. С тех пор он о ней и не думал даже. Затем он снова перенесся мыслями в Москву, восстанавливая в памяти события последних дней, и перед ним ярко всплыл член тройки ЦКК, старый большевик Лемм – маленький, вихрастый, седой с дымкой, большеротый. Лемм кричал, несмотря на то что в комнате, где разбирали дело Кирилла и Богданова, было всего несколько человек.

– Ты... Почему ты, товарищ Богданов, – имею я право спросить как член ЦКК? – почему ты не предупредил этого еще несознательного коммуниста, когда разразилась поганейшая авария на селе? Почему? – насканивал он на Богданова.

Богданов долго молчал, слушал, потом прорвался:

– Ты хочешь, чтобы я руками задержал морскую волну.

– Что? Волну? Какую волну? Что за поэзия?

– Класс мелких собственников.

– Ага. Класс! Объективные причины? Мы вот зададим тебе «класс»! – И Лемм снова закричал, забрызгал.

Кирилл заметил, что крика Лемма никто не боится, и ему самому захотелось подняться, взять за плечи этого горластого человечка, встряхнуть и от всего сердца сказать: «С тобой я согласен на все двести. Какие там классы! Просто сорвался я. Только ты уж, пожалуйста, пожалей себя: не кричи так, а то вдруг что с тобой случится. Где такого еще возьмем?»

Тройка им вынесла по строгому выговору.

Кирилл остался доволен, что отделался выговором, ибо ждал большего – исключения из партии, и за эти длинные зимние месяцы, проходя через горнила комиссий – районной, краевой, – «сгнил внутри», как он жаловался, и всегда раздраженно ворчал, когда Богданов шутил над ним. А теперь сам на Богданова насупился:

– Ты чему обрадовался? Вот тут у тебя не того, – он постучал пальцем по голове. – Понял?

– Ничего не понял.

– Ну и помалкивай.

Поздно ночью они снова столкнулись в коридоре с Леммом, Лемм взял под руку Богданова и заглянул в нахмуренные глаза.

– Что, Одичалый? Нахлопали мы тебе? Ты еще по коридорам пропаганду против нас ведешь? Слышал, слышал. Знаю. Не возражай. – Такое он, между прочим, говорил всем. – Вот и за это мы тебе пришьем. Зря, зря тебя Ленин расхваливал: попортило это тебя. От партии оторвался – раз, членские взносы три года не платил – два.

– Да я ж нигде ничего не получал!

– Ну-у? – удивился Лемм. – Как же это – не получал? Не-е, брат, не отвертись. И мужиков споил. Что это! – и снова загремел, забрызгал, но, когда очутился перед Кириллом, оборвал крик, попятился, удивляясь. – Эх, какой ты большой! Нет, это ты в самом деле такой? – и обошел кругом, осматривая Кирилла, как свалившуюся откуда-то в коридор глыбу. – Ну и большой! И не тяжело себя носить? А?

– Одиннадцатипудовые доски, бывало, в архангельских лесах таскал, – просто, словно о незначительном, сказал Кирилл, и Лемм ему поверил. – Да маленько обессилел.

– Что? Обессилел? Эге-ге! – Лемм ткнул ему пальцем в живот.

– Таких страданий и лошадь не перенесет, – проговорил Кирилл, подстраивая язык под крестьянский говор.

– Каких «страданий»?

– Да вот судили нас, и выговор вообще...

– А-а... Здело? – как бы сочувствуя ему, спросил Лемм и, не достав до плеча, похлопал по локтю. – Хорошо. То есть не то что хорошо... Да... Ты вот выговорок и таскай при себе, – заторопился он, точно чему-то обрадовался. – Он, выговорок, будет тебе служить фонариком:

зарвался, в глазах помутнело, выговорок припомни – вот и просветлеет. А то ну-ка – село споил, коммуноу споил... Шутка дело. Ну, я побежал. Всегда вот так – до позднего. Одичалый! – Он повернулся к Богданову: – Нет, правда, Федя, заходи ко мне. Где живу? Все там же, – и, не дожидаясь ответа, быстро побежал по лестнице, гулко стуча сбитыми каблуками по приступкам.

– Какой славный, а? – залюбовался им Кирилл.

– А-а, – отмахнулся Богданов. – Он приближается к тому возрасту, когда человеку кажется все ясным, раз навсегда решенным – и думать, дескать, ни о чем не надо. А где ты доски одиннадцатипудовые таскал?

– Где! – Кирилл по-ребячески улыбнулся. – А пускай подивится. Ему, поди, скучно: все одно и то же.

– Он и подивится. Вот что, на секретариате нам от выговоров надо отбиться. Дело у нас с тобой большое, а с пятнами, знаешь, всякая кожа – брак.

– Настаиваешь – давай.

– «Настаиваешь – давай»? Что ты, как мешок с мякиной? Расцвел?

– Мешок не может цвести.

И только тут, в ЦКК, Кирилл впервые увидел, как Богданов сердится: о «надувает губы, бегает на своих коротышках, носится словно шар, готовый лопнуть. Узнал и о том, что в подполье Богданова звали «Одичалым», что когда-то он жил в Швейцарии вместе с Лениным и Ленин высоко ценил его, а с Леммом они исколесили каторжную Сибирь.

«Вот он какой... вот он какой!» – твердил Кирилл, готовясь к выступлению на секретариате Центрального Комитета партии, представляя эту недостижимую для него вершину более суровой, нежели судилище под председательством Лемма. Обдумывая речь, он часто вскакивал с постели, долго писал, подбирая, как ему казалось, довольно убедительные факты, перечитывал написанное, зачеркивал, снова писал, и речь его расползалась, текла, как река в половодье, смывая на пути все завалы, корежники. «Ежели хорошо будешь говорить – слушать будут, времени прибавят, плохо – сомнут в течение пяти минут», – предупредил его Богданов. И Кирилл старался Речь сделать боевой и, постепенно поддаваясь уже ее воздействию, начал жалеть себя, невольно показывая только хорошие стороны, прикрывая плохие туманными фразами, крестьянскими поговорками, стремясь увильнуть, обойти плохое.

После тщательной, упорной работы над речью второй Кирилл, которого во что бы то ни стало решил защищать Кирилл Ждаркин, вышел славный, преданный партии, без пятнышка, как свежая смородина. Даже самому Кириллу одно время показался такой Кирилл слишком сладким, но, памятуя, что не похвалишь – не продашь, Кирилл оставил его таким, каким он вышел за эти бессонные ночи...

В день заседания он долго сидел в приемной, рассматривая на столе искусно вылепленных, покрашенных рыжеватой краской лошадей, и никак не мог догадаться, к чему они тут, пока не подошел один из вызванных на заседание и не воткнул в чашечку около лошадей окуроч.

«Ага, пепельница», – догадался Кирилл и начал приглядываться к людям. Их было много. Сбились они группами, готовясь к вызову в зал заседания. Кирилл ждал, когда вызовут его, и твердил: «Так и скажу, так и скажу».

Через каждые десять – пятнадцать минут из зала выходили люди, и Кирилл по их лицам стремился определить, как чувствовали они себя там, – за крепко прикрытой дверью. Иногда ему казалось: там весело, хорошо, потому что люди, выходя оттуда, смеялись, поблескивая глазами, иногда же ему становилось страшно: люди вылетали из зала, поспешно одевались и, не глядя друг на друга, быстро убегали из приемной.

«Этих ошпарили, – решал он, и сердце у него сжималось. – Вот так и нас ошпарят... как таракан от кипятку и перевернешься».

– Двадцать седьмой вопрос, – сказала женщина, сидящая за столом, уставленным телефонными аппаратами.

Кирилл дрогнул и быстро шагнул в дверь.

– Нет, нет, вы погодите, – остановила его женщина.

– Как? О «Брусках» речь будет... о том деле?

– Вас вызывают только по двадцать восьмому вопросу, а по двадцать седьмому докладывает Богданов.

Кирилл снова сел на старое место – и двадцать – тридцать минут, потраченные там, за дверью,

на обсуждение вопроса, выдвинутого Богдановым, показались ему вечностью.

– Вот теперь вам надо идти, – сказала под конец женщина. – Последний вопрос ваш, – и ласково посмотрела на Кирилла.

Кирилл ждал, что, как только он откроет дверь, на него немедленно же обратят внимание. Но он вошел, и никто даже не посмотрел на него, и Кирилл, осторожно присев на первый попавшийся стул, глянул во все стороны.

В светлом зале, за длинным столом, покрытым красной материей, – углы у материи были чуть-чуть пообтерты, – сидели люди. Люди сидели вдоль стен, за спиной председательствующего. Их было много, и были тут всякие, известные стране и неизвестные. Известные стране как-то выделялись. Так по крайней мере показалось Кириллу. Он не догадывался, что выделяются эти люди в зале только потому, что он знал их – одних по портретам, других по встречам на фронте, третьих вообще по случайным встречам. Но ему казалось, что они выделяются независимо от этого.

Вон сидит в углу Серго Орджоникидзе. У него очень большая голова, спина широкая, а лицо такое доброе, что совсем не вяжется с фронтовыми поступками Серго: как это такой человек и с таким добрым лицом мог вести красные части в бой и так жестоко расправляться с врагами. А вон и нарком просвещения Луначарский. Он и минуты не сидит без дела: то читает какие-то бумаги, то с кем-либо перешептывается, поправляя на носу весьма старомодное пенсне. Он чуточку обрюзг, этот человек – «блестящий оратор, универсал в науке, но с весьма путаной головой», – как о нем говорил Богданов. Но он чем-то похож на Богданова: так же просто держит себя, какая-то небрежность в костюме, и оба они походят на старых сельских учителей. Вот он, Луначарский, поднялся и, несмотря на свою грузную комплекцию, быстро пошел к двери, а встретив там Михаила Ивановича Калинина, скрылся с ним в другой комнате, затем через какую-то минуту вернулся, сел на свое прежнее место, снова углубляясь в бумаги. Были тут и те, которые потом сошли со сцены, унося с собой проклятие народа, но Кирилл теперь не мог этого предвидеть и смотрел на них так же, разиня рот. Вон, например, стоит и что-то жует Жарков. Он всегда на заседаниях стоит и что-то жует, пренебрежительно поглядывая куда-то в сторону. Он когда-то был в Широком Буераке, проводил выборы в сельсоветы – это хорошо помнит Кирилл. Но тогда Кирилл еще не знал, что Жарков в первые дни октябрьского переворота работал в Петрограде, ставил свою подпись рядом с подписями больших и честных людей, поэтому слава и о нем катилась по стране. Славу эту он и потом долго нес на своих плечах. Но на последнем съезде партии он выступил со своей экономической программой. Программа, или, вернее, платформа, его была весьма путаная, а как впоследствии разобрались, – весьма глупая и политически вредная, подсказанная ему кем-то другим. С тех пор его перестали считать героем. Но он сам считал себя таковым и гордо держал голову в надежде, что о нем «спохватятся». Этого желал ему, по своей наивности и душевной доброте, и Кирилл, тем более что Жарков работал в качестве секретаря крайкома в том же крае, где и Кирилл, и теперь был вызван в Москву в связи с докладом Богданова.

Заседание вел Сивашев.

На последнем партийном съезде его выбрали членом ЦК, а затем, совсем неожиданно для него, одним из секретарей ЦК. Сивашев, как он потом рассказывал, долго робел от столь почетного и ответственного звания: он неопытен, «университет свой» он прошел на заводе, ему уж не так-то мало лет, чтобы переучиваться. Но однажды к нему подошел товарищ Серго Орджоникидзе и, тихо, смеясь в себя, как это он делал всегда, когда видел перед собой человека ценного, нужного партии, сказал:

– Ничего. Поддержим. Учись только.

Кирилл года полтора или два не видел Сивашева, с того самого дня, как они вместе приезжали на «Бруски» и вместе кололи лед во время зимнего паводка. В те дни Сивашев был всегда весел. Сейчас он стал какой-то суровый, а под глазами у него появились пухлые мешки – это, видимо, от бессонных ночей.

«Значит, нажимает на науку», – подумал Кирилл, пристально всматриваясь в Сивашева.

Но вот Сивашев оторвал глаза от бумаг, поднял голову, улыбнулся, показывая ряд крупных белых зубов, и стал жизнерадостным и даже озорным.

– А-а-а. «Бруски», – произнес он, увидав Кирилла.

И все повернулись к Кириллу, и по залу пошло это слово:

– «Бруски».

– «Бруски».

– «Бруски».

«Ага. Нас знают, знают. Все знают, – мелькнуло у Кирилла, и вдруг, он даже сам не знает почему, у него неожиданно выпал из головы тот разукрашенный, размалеванный Кирилл Ждаркин, которого он, настоящий Кирилл, решил защищать, и во что бы то ни стало. – Скажу просто, я виноват. Чего уж там», – решил Кирилл и посмотрел перед собой, видя только лохматую голову Лемма.

– Итак, товарищи, – ударяя на «о», громогласно возвестил Сивашев. – Обвиняемые все налицо. Кто хочет высказаться?

У Кирилла неожиданно онемели ноги, стали будто чурбаки, а сам он, бледнея, задышал громко, подыскивая первые слова, которые ему надо будет сейчас же произнести, но слова попадались какие-то избитые, лживые, и это еще больше расстроило его.

«А где же Богданов? Богданов где? – тревожно подумал он, отыскивая в зале Богданова. – Неужели он меня одного бросил? Ага! Вон он», – и, увидав, что Богданов стоит за спиной Сивашева, крепко зажмурился.

– Я бы хотел сказать, – неожиданно тихо и даже шепелявя, произнес Лемм, вскинув руку, как это делают ученики в классе.

– Чего тихо? – повернувшись к нему, спросил Сивашев и намеренно громко засмеялся, показывая этим, что он почему-то недолюбливает Лемма – этого вихрастого седенького человека.

– Я хочу сказать, – голос у Лемма зазвенел, как у юноши. – Я хотел бы сказать, что в столь ответственный момент, когда деревня пробудилась от векового сна (Кирилл увидел, как при этом Сивашев и особенно Серго Орджоникидзе поморщились), когда деревня пробудилась от векового сна, – подчеркнул Лемм, – Кирилл Ждаркин очертя голову кинулся в попойку, втянул в это похабное дело свое село, ряд сел... десятки сел... я бы сказал.

Сивашев крикнул.

– Эка. Неужели Кирилл Ждаркин обладает такой силой, что, мог спойть десятки сел? – У Сивашева под глазами снова набухли крупные мешки и лицо стало суровое. – Я молодой тут работник-то, – нажимая на «о», произнес он и повел рукой на Лемма. – А вот Лемм. Он давнишний. И экую чепуху городит. Десятки сел спойл Кирилл Ждаркин. Да знаю я Кирилла Ждаркина. Давно знаю. Кроме чаю, ничего не употребляет. А тут у ёво, – он еще никак не мог привыкнуть вместо «у ёво» говорить «у него». – А тут у ёво что-то сорвалось. Значит, подумать нам надо. Не то бумажки победят разум. Их вон сколько, бумажек-то, – и большим пальцем провел по огромной стопе бумаг, на обложке которой было написано: «Дело Кирилла Ксенофоновича Ждаркина», затем прошелся, огромный, сильный, вихляя крупными ногами, и задержался перед Серго. – Мне вот товарищ Сталин случай один рассказал. Года полтора тому назад ему одна крестьянка из Поволжья прислала письмо, жалуясь, что ее в колхоз не принимают. Ну, товарищ Сталин запросил властей – что и как? Ответили большинством постановлением – и то и се, а под конец пишут: эта, слышь, крестьянка, когда шло первое собрание о колхозе, вышла наперед, заголила подол да к президиуму с такими словами: «Вот на ваш колхоз». Ну, товарищ Сталин написал снова к властям, – дескать, простите уж ей такое и примите в колхоз. А недавно получил снова письмо. Первой ударницей в колхозе стала эта женщина.

– А Лемм бы крови потребовал, – сказал Серго и тоже сурово посмотрел на Лемма.

«За что это они его так долбят?» – подумал Кирилл и хотел было записочкой спросить об этом Богданова, но Сивашев продолжал:

– Да. Его бы, Лемма, бумажки заели. У нас ведь иногда так бывает, бумаги торжествуют над разумом. А что ж? Бумажка написана, печать приложена, справка приколота – ну и ломай человеку голову, а в сердцевину поглядеть то ли охоты нет, то ли старость одолела.

– А может, и еще что – совсем похуже. – И Серго почему-то так же сурово посмотрел на Жаркова.

– Тоже истина, товарищ Серго, – Сивашев снова улыбнулся, показывая ряд белых крупных зубов, становясь озорным. – Ведь он, Лемм наш дорогой, совсем недавно проповедовал о мирном вращении кулака в социализм да еще – «обогащайтесь».

– Но я отказался... Отказался, – взвизгнул Лемм.

– Частенько больно отказываешься. Откажется и опять на ту же тропу, как заяц.

«Ага, – догадался Кирилл. – Вон тут в чем дело. Если бы я знал...»

Но Сивашев снова не дал ему думать, продолжал:

– Как заяц: свернет и опять на ту же тропочку... В сердцевину заглянуть не хочет. А ведь сердцевина-то большая. Миллионы поднимаются. Кто? Да вчерашние собственники, те, у кого две души: одна душа в колхоз потянула, другая – душонка собственника – сказала: «Продавай все. Гони на базар да все это – на пропой». Вот ведь что идет. Ну, а Кирилл Ждаркин тут и влопался да еще лозунг выкинул. Как это? Пей-гуляй, – Сивашев заглянул в бумаги, прочитал: – Так и записано: «Пей-гуляй: однаво живем». Ты что же это, товарищ Ждаркин, в самом деле, что ль, однаво решил кутнуть, да и в могилку? А-а-а?

– Ну, сказывай, сказывай! – кинулся на Кирилла Лемм.

Кирилл встал и, взмахнув длинными руками, произнес:

– Да нету же... Чего уж там. В кишках у меня нарыивает от всего этого, – и весь вспыхнул от стыда.

– Ну, вот. А я думал, последний раз решил, мол, хватану и прощай свет. – И, повернувшись ко всем, Сивашев добавил: – Глядите-ка, покраснел, как... младенец.

А Лемм сорвался с места, забрызгал, закричал, как там – на тройке, когда рассматривался вопрос Кирилла:

– Вы меня убедили. Вы меня убедили, товарищ Сивашев, и я свое предложение снимаю...

– Убедил? Ну, и слава богу, – Сивашев засмеялся тихо, в себя, невольно подражая тому человеку, который иногда так смеется, но добавил: – Однако снимаешь ты или не снимаешь – это вопроса не решает: все равно мы Кирилла Ждаркина за попойку не похвалим.

У Кирилла после этих слов что-то уркнуло в горле: ему казалось, что все уже разрешено, что Сивашев целиком защищает его – Кирилла Ждаркина, что «мытарство» уже закончено, а тут... – И у Кирилла горький клубок подкатил к горлу, сдавил его, а ноги снова онемели, превратились в чурбаки. А в зале в это время наступила такая тишина, что слышно было, как, откуда-то ворвавшись, под потолком со звоном пронеслась оса.

– Ну, что же будем делать, товарищ Серго? – нарушая тишину, обратился к Серго Сивашев и снова потрогал кипу бумаг. – Ясно, за попойку мы миловать Ждаркина не должны, – и почему-то подмигнул Кириллу, как бы говоря: «Ну, держись, последняя минута».

Как поднялся со стула Серго, Кирилл не видел. Он не видел даже и того, как подошел к нему Серго. И только когда Серго тронул его за плечо, он поднял голову и привскочил. Но Серго легким нажатием пальца снова усадил его:

– Сиди. Тебя знаем. Дела ваши с Богдановым знаем. Большие дела. Товарищ Сталин хотел повидать вас, да ему, как он сам сказал: «Маленько некогда».

Серго отошел от Кирилла, сел на место, и в зале опять наступила такая тишина, что слышно было, как в стекло бьется оса. Но Серго вдруг вскочил со стула и с каким-то скрытым раздражением, обращаясь ко всем, закончил:

– Хорошие дела. Большие дела... И мне кажется, забыть надо. «Пей-гуляй» – забыть. Не было.

– Ух! – вырвалось у Кирилла. – Без болячки... а завинчено крепко, – неожиданно для себя прокричал он, прося слова.

– Не надо: видим, чем дышишь, – сказал Серго.

– Как пушку. Как пушку вы меня зарядили, товарищ Серго. И вот за это хочу спасибо сказать... Я теперь...

– Ясно, – перебил его Серго и шутя добавил: – На то нас партия и поставила, чтобы мы вот таких заряжали, как пушку. – И, чуть подумав, добавил, искоса глядя на Лемма: – А Лемма надо послать на выучку... вот к ним – к Богданову и Ждаркину.

В эту секунду в свою очередь побледнел и тяжело задышал Лемм. Он хотел было что-то сказать, но Сивашев перебил его, обращаясь к Жаркову:

– А вы как на это смотрите, Жарков?

Жарков, как бы пробуждаясь от дремоты, качнулся к столу, взял бутерброд с колбасой и, жуя, ответил:

– Что ж, дело хозяйское.

– А ты что, дворник? – крикнул ему Серго. – У кого служишь?

В эту секунду побледнел и почему-то даже зашатался Жарков. Он поправил на носу роговые очки, и нижняя отвислая его губа стала еще отвислей, как у старой лошади. Но вот он выхватил из кармана костяные четки. Обыкновенные костяные четки, рекомендуемые врачами нервным людям. Выхватив из кармана четки, он начал их быстро перебирать и вдруг стал твердый, даже какой-то

злой, – таким он и остался на всю жизнь в памяти Кирилла Ждаркина.

4

Кирилл тихо рассмеялся, вспоминая, как он готовился к выступлению, и, наполненный радостью, уверенностью в своих силах, вполне сознавая, что все это пришло к нему потому, что Центральный Комитет партии доверяет ему, – наполненный такой радостью, он качнулся вперед и, легонько хлопая ладонью по спинке стула, посмотрел на Богданова.

Богданов на миг приостановился, закинув сверху голову, крепко зажмурился, собрав кожицу около глаз в мельчайшие морщинки, и накренил лицо так, как это делают слепые, идя по незнакомому месту. Кириллу было знакомо такое движение Богданова: тот хитрил.

– Вы знаете, товарищи, – продолжал Богданов, – что зеленой машиной мы называем рожь, пшеницу, ячмень и другие культуры. Большинство этих зеленых машин, вошедших в жизнь помимо воли человека, тем и неудобны, что дают только одну четвертую часть годного для питания человека продукта. – Он посмотрел в сторону Кирилла, подмигнул ему, а Кирилл развел руками, давая знать, что он ничего не понимает. – Примерно, – начал объяснять Богданов и тут заметил, что куски торфа, розданные им, не ушли дальше первых рядов, – если один гектар ржи даст сто пудов вместе с зерном, соломой, корневыми остатками, то в среднем годного для питания продукта мы получим из этих ста пудов только двадцать пять, то есть одну четвертую часть, а остальные три четверти, по выражению старых экономистов, являются не рыночным продуктом.

– Вот это – да! – громко сказал Кирилл.

– Но и этого еще мало. И из этой-то четвертой части лишь половина содержит ту энергию, которая нужна человеку. Машина в промышленности дает шестьдесят – девяносто процентов годного продукта, а зеленая машина – двенадцать с половиной... Но и этого еще мало. Сельское хозяйство в том его виде, в каком мы его с вами застали, требует при средней технике семьдесят – девяносто дней в году, в то же время машина в промышленности работает круглый год. В этом в сущности при наших условиях кроется разница между городом и деревней. Эта разница будет существовать постоянно, неизменно, если мы не переведем карликовые хозяйства в колхозы, если не поднимем на небывалую высоту полезное действие зеленой машины. Пролетарское государство ставит перед нами – и только оно может ставить – задачи всемирного значения, такие задачи, которые не сегодня-завтра будет решать весь земной шар, ибо коллективизация, совхозное строительство на основе максимального использования техники дают Советскому Союзу ключи, которых не знал до сих пор мир.

– Правильно! Верно! – взорвался Кирилл, поняв Богданова, и уже наметил ладонь в ладонь, чтобы похлопать, но на него со всех сторон зашкакали.

– Вы! Тут этого не полагается: академия, – шепнул все тот же Борисов, перебежавший следом за Кириллом в первый ряд.

– Академия, – гневно проворчал Кирилл. – Сидите, как мухи в холод. Не надоест?

И он снова переметнулся на Волгу, на «Бруски», удивляясь тому, что Богданов уже пятнадцать лет занимается торфом. Это его удивило, и в то же время он обиделся на Богданова за то, что тот до сих пор ему ничего подобного не говорил, а всегда плел какую-то чепуху об индусских йогах. «Вот он какой, этот чудаковатый Богданов. Зачем он только побрился? С волосами, лохматый, он выглядел лучше, роднее: от него, лохматого, всегда веяло землей, коноплями, а теперь к нему и не подъедешь...»

5

Тьма кутает степь, скрывая в оврагах белизну снега. Под колесами тарантаса хрустит смешанный с ледком песок. Тарантас мечется, скользит, готовый опрокинуться. И все-таки ночь хороша, откуда-то доносится пригорько-ватый смолистый запах сосен – на соснах разбиваются почки; где-то журчат ручьи, навевая далекое, детское: вспоминаются игры на поветях, рыжие, золотистые, пахнущие прелью соломенные крыши.

В такие дни вся деревня греется на припеке – ребятишки на поветях, а на сухих бугорках дремлет исхудалая плешинистая скотина, подставляя спины галкам. Юркие галки щиплют шерсть на гнезда, а скотина блаженствует, прищулив глаза. В такие дни даже хозяин дома, готовясь к севу,

иногда завернет за угол и постоит – так, ни о чем не думая, только прислушиваясь к предвесеннему запеву земли. А земля поет в эти дни хорошо: она поет режущим скрипом льдин, она поет талью, хлюпаньем пахоты, мягкой, вязкой, как творог, она поет почками – почки лопаются, миллиарды почек – на соснах, на березах, на угрюмом дубе, она поет травами – травы продираются к свету, к яркому, ласковому солнышку, она поет – солнцем – его много, солнца, оно сочится, звенит по-весеннему и не злит, не бесит, как в дни жатвы, когда начинает палить несусветно, – тогда хочется закрыть его, заткнуть жаркую пасть, убить, как убивают бешеную собаку. Теперь солнце мягкое, ласковое, как любимая молодайка. Любимая молодайка сулит сына, весеннее ласковое солнце – урожай. И хозяин дома стоит за углом избы в переулке, подставляет плечи, лицо – пусть ласкает весеннее солнце – и прислушивается весь, всем телом, всем своим существом к предвесеннему запеву земли...

Да, идет весна... не та... совсем не та... Кирилл кутается в плащ, хочет заснуть, как спит рядом с ним Богданов, но...

Никогда Кирилл не переживал того, что пережил в это студеное утро.

В это утро земля представилась Кириллу другой.

Мало ли им было исхожено, изъезжено полей, равнин, увалов, гор? От Орла до Перекопа, от Перекопа до Варшавы он прошел в боях краскомом, от Волги до архангельских лесов – с топором за плечами. И всегда, куда бы он ни попадал, его властно, как дикого гуся горячий юг, тянул Широкий Буерак с его увалами, оврагами, репейником и жирной, пахучей полынью на дне прохладного Крапивного дола, родная улица с изгибом посередине, рига с отверстием в крыше для ночного полета совы. Где бы он ни был – даже на фронте, идя в бой, – он всегда был уверен, что идет за широкобуераковские поля, за свои загончики, меченные крестом – родовой меткой Ждаркиных, за реку Алай, где в тенистых омутах растут белоголовые кубышки и шуршит махалками угрюмый камыш, а за разливами луговин – сосновый бор, поляны ягодника, лопухий щавель, дикие кусты малинника, болотные мхи – мягкие, пушистые, как ресницы. И всегда, где бы он ни был, обращаясь в ту сторону, где за далью, за неизмеримыми пространствами страны на крутом берегу ютилось его родное село, он шептал: «Родина моя, мать моя! Дождусь ли?»

И, возвращаясь на родину, таща с собой окованный железом сундук, забитый доверху ржавыми гвоздями, петельками, изношенными топорами, рухлядью, собранной на промысле, он, по обычаю стариков, останавливался за три версты от Широкого Буерака, несколько минут смотрел на родное село, и радость бросала его в озноб, глаза увлажнились, он брал пригоршню пахоты и целовал ее.

Так было. Был мир, была тоска, было счастье видеть погнутые крыши родного села, дырявые плетни на огородах, покосившиеся риги, ходить по извилистым тропочкам Крапивного дола – в гости к родне, петь по вечерам песни в хороводах, а потом сидеть у своего двора на своей, сделанной собственными руками скамейке.

Был мир – было счастье, была печаль, была лютая нужда, и она гнала Кирилла в архангельские леса, бросила на фронт, заставила сражаться... А так – никогда бы он не покинул родной улицы, родных полей, увалов, гор... И может быть... Может быть, и теперь ходил бы с бородой – такой же, как у Никиты Гурьянова, носил бы посконные штаны, по праздникам, выпив, бил бы жену, сбрасывая с плеч лютую злобу, и горланил бы на сходах так же, как горланит всегда одно и то же Никита Гурьянов: «Всё с нас да с нас. А с бедноты-то когда? С бедноты?»

Да, был мир.

Потом круг расширился. К Широкому Буераку прибавились цементный завод «Большевик», «Бруски», Москва. Но даже и теперь, несколько дней тому назад, сядя в поезд, он волновался, как солдат, едущий на побывку, представляя себе – вот скоро снова попадет туда, где каждый кустик, каждая душа знакомы. А вчера, повстречав на станции Панова Давыдку, он задрожал и всю дорогу напряженно всматривался в ту сторону, где над Волгой расположились «Бруски», и ему даже казалось, что, подъезжая к «Брускам», он, как бывало, припадет к земле, поцелует ее. Верно, он это сделает украдкой. Еще бы и теперь выполнять заветы стариков! Но он это непременно сделает: такая у него радость, и радость требовательно склонит его над землей, заставит прикоснуться губами – тихо, мягко, как целуют спящего любимого человека.

Но вот сейчас – все это пришло к нему как-то неожиданно, – сейчас ему показался до глупого смешным обычай прадедов целовать землю, и он, глядя на широко-ковокые поля, восстанавливая в памяти весь путь от Москвы, Москву, с ее шумными, никогда не умолкающими улицами, трамвай, грохот, гудки, переплетающиеся голоса где-то вверху над головой, академию с вежливыми

профессорами, секретариат Центрального Комитета партии, скрещение железных дорог, города, села, деревушки, – вот сейчас, представив себе весь пройденный им путь, он почувствовал, что к «своему», «родному» он как-то неожиданно очерствел; хотя это были те же поля, те же улицы, те же риги, но он к ним неожиданно для себя очерствел, как очерствел к когда-то любимой им Ульке. Да, все это было таким же – и дорога, и овраги, и знакомые кусты, и концы улиц – все это было таким же, но оно было маленькое, мизерное, неприятное, беспомощное. И Кирилл первый раз за свою жизнь, глядя на село Алай, отметил множество плетней: все село переплетено ими. И все по-иному глянуло на него – и магазины Москвы, и вот этот овражек, промытый весенними водами, и вон тог бор, что час тому назад хлестал его увесистыми лапами, и города и села, виденные им, и «Бруски», и Широкий Буерак с его кривыми мякинными задами. Кирилл еще никак не мог определить, что с ним произошло. Это вовсе не была та опустошенность, какая временами захлестывала его. Нет. Он был радостен и бодр, как был бодр и радостен, когда выходил с заседания секретариата Центрального Комитета партии. Но тогда он знал, почему и откуда пришла к нему бодрость.

А что теперь? Почему его неудержимо тянет прыгнуть с тарантаса и вприпляску месить растворенную весенними водами пахоту, шагать по ней, увязая по колено, и горланить... о чем? О том, что вот скоро по этой земле пронесется ураган, он сметет все межи, метки, колышки, загончики с полей, и коммуна «Бруски» – теперь маленькое, серенькое пятнышко – расползется, ляжет на все эти поля властно. Да, да, будет то, о чем говорил Богданов там, в академии. Богданов! Вот кто может помочь ему... Но разве к Богданову можно соваться с тем, что еще не совсем ясно самому?

Богданов спал. Губы у него отвисли, галстук небрежно выбился из-под плаща, лицо уже покрылось колючей щетиной.

«Опять зарастает», – с усмешкой подумал Кирилл и толкнул его в бок.

– Богданов! Открой глазки: «Бруски», наша земля. Богданов встрепенулся:

– Ага. Наша республика. Приятно. А?

– Известно. Слушай-ка, чего ты не уедешь в Москву?

– В Москву? Ты чего объелся?»

– Нет, я не шучу. Ты же там головой выше тех, кто сидит в академии.

– Я думаю, каждый сидит на своем месте, – Богданов недоуменно пожал плечами.

– Эй, сворачивай, сворачивай! – прервал Богданова крик Давыдки Панова. – Сворачивай! – И ременный кнут засвистел над головой.

Кирилл и Богданов от неожиданного окрика вздрогнули. Навстречу им, точно по уговору, скакали крестьянские подводы, запряженные тройками, парами, одиночками. Они лезут на Давыдку, а Давыдка не отступает, бьет стгоряча своих и чужих лошадей, встав во весь свой маленький рост на козлах. Широковцы же лезут, напирают, орут, свистят кнутами, матершинят. Вот вынырнула подвода Маркела Быкова. У него к краю телеги привязана пестрая корова. От крика, гама и от того, что ее прижали к наклейке, корова взревела, шарахнулась, затем, как конь, вздыбилась, показывая желтое невыдоенное, тугое вымя, перемахнула, стуча сухими ногами, через колесо тарантаса и снова взревела, как на бойне.

– Маркел, Маркел! Корова-то, корова! – закричала из телеги баба.

Маркел вскочил – он спал – и, узнав Давыдку, загнусил с хрипотой:

– Чего, куда прешь? А ща коммунист-партеец!

– А тебе дороги нету? Тебе нету?! Развалился, как на печке. – И Давыдка рванул лошадей.

– Эй-эй, чего стал! Базар вам? – на паре гнедых коней на Давыдку налетел Илья Гурьянов. Он ухарски выставил из-под шапки клок волос, левой рукой крепко прижал к себе румяную, с улыбающимся ртом Зинку. – Сворачивай! – грозно приказал он, не узнав в сумерках Давыдки. – Сворачивай. Не то...

Его телега разукрашенным задком зацепилась за крыло тарантаса. Тарантас крякнул, скрипнул, но не сдался. Давыдка прихлестнул лошадей, и разукрашенный задок шлепнулся в грязь.

› – Вот тебе и «не то»! – прикрикнул Давыдка.

– У-у, чертяки! – взвизгнула Зинка, и ее красивое, румяное лицо посинело, постарело, губы затряслись.

Кирилл, чтобы не выдать себя, закрылся воротником плаща. Ему почему-то стало стыдно за Зинку: «Законная моя жена была», – подумал он. А Давыдка уже катил дальше. На него лезли, напирали, а он двигался напролом, создавая затор; тогда мужики наперебой, точно на пожар, метнулись мимо, объезжая его, опрокидывая слабых с мостовой в канаву.

– Это черт те что? – вырвалось у Богданова, и он захохотал. – Вот это рвут: вершок уступить не хотят.

– Тебя это не злит? – спросил Кирилл.

– Нет. Ведь они ничего лучшего пока еще не знают. Помнишь, Сивашев говорил: две души. Это все гонит вторая душа – собственники, мужики.

– А я вот там, – открывая свою хитрость, заговорил Кирилл, – когда готовился к выступлению на секретариате, тоже хотел было сказать – во мне-де мужик еще сидит...

– Что ж, это было бы неплохо... Оно так и есть, – согласился неожиданно для Кирилла Богданов, не замечая, как он этим обидел Кирилла. – Я спрашиваю: кто это там?

По дорожке рядом с мостовой шел Митька Спириин. Он гнулся под тяжестью мешка. Рядом с ним – Елена, как всегда беременная. По выпуклостям на мешке Кирилл определил – Митька несет на базар печеный хлеб. Вот Митька остановился, вытер пот на лице, раздраженно оттолкнул от себя Елену и, сорвавшись, закричал:

– Никита! Эй, никак Никита! Подсоби, друг ситный. Своя лошаденка занемогла, а на базар охота.

Мимо промчался на сером, в яблоках, рысаке – на том самом, который когда-то принадлежал Кириллу, – Никита Гурьянов. Крепко натягивая вожжи, Никита делал вид, что ничего не слышит и не видит. Из окованной железом телеги мелькнула голова Плакущева Ильи Максимовича. Седую большую бороду ветер закинул за плечо. Подпрыгивая от толчков, Плакущев сжался так, словно его били кнутом.

– Вот тебе и друг ситный, – засмеялся Кирилл, когда они поровнялись с Митькой.

– Эх, Кирилл Сенафонтыч, – Митька, сморщив лицо, готовый заплакать от досады, кинул шапчонку на тропочку, – всю жизнь представление приходится строить.

– Иди-ка ты, иди, – подтолкнула его Елена.

Митька поднял шапку, посмотрел в сторону умчавшегося Никиты Гурьянова и зашагал, стигаясь под ношей.

– Ну, – Кирилл повернулся к Богданову. – Всех своих друзей увидели разом... нагишом.

– Лошадей погнали в Полдомасово продавать, – проворчал Давыдка, вытирая пот и облегченно вздыхая. – На прошлой неделе на базаре места не хватило – в улицах с лошадьми стояли. Ну-у-ка! – он подхлестнул лошадей. – Кто продает, кто покупает, – и помчался улицей Широкого Буерака, разбрызгивая во все стороны грязь. – Этакие они, – добавил он, оправдывая свой поступок: – уступи – в грязь замнут.

Выехали за околицу.

На «Брусках» разгоралась заря.

Старый парк мокнул. В старом парке в каплях дождя играло молодое солнце. Лучи солнца подбедали у подножия старого дуба и берез остатки снега, оголяя следы прошлогодней осени, пожелтевшую листву и осколки разбитых бутылок.

На «Брусках» было тихо и прохладно, как в омшанике, и эта тишина удивила Кирилла, напомнив ему о Москве – буйной, шумливой. И ему показалось, что сараи, конюшни и даже домик с башенкой в парке, где живет Степан Огнев, за это время как-то состарились, сделались маленькими, мелкими.

На «Брусках» первая навстречу выбежала Феня Панова.

– Кирилл Сенафонтыч, товарищ Ждаркин и вы, прелестный наш Богданов! – воскликнула она, игриво дергая тонкими розовыми ноздрями. – Вы побрились? – удивилась она, глядя в лицо Богданову. – Подвиг. Ура! Теперь вам надо фамилию переменить. Что это за «богом данный»? Долой! Сегодня на комсомоле поставлю.

– Ну, пошла, пошла, – любовно пугнул ее Давыдка и заскреб козырьком картуза лысую, цвета пергамента, голову.

– А мы ведь думали – вы и не вернетесь, – выпалила Феня.

– А вот и вернулись, – сказал Кирилл.

– Теперь опять канитель пойдет?

– Да еще какая, – Кирилл улыбнулся, глядя на Богданова. – Бацилл будем выжигать. Так, что ль, Богданыч? Вылезай. Примерз?

– «Пей-гуляй: однава живем»? – Феня подмигнула и побежала к себе в комнату, унося из тарантаса набитый чем-то мешок.

– Я вот те, юла! – прикрикнул на нее Давыдка и нахмурился. – Вот они нонче какие, молодые-то: смолоду норовят на горло наступить. Ты, Кирилл Сенафонтыч, не серчай: она ведь это по глупости.

– Как выросла! Растут, – проговорил Кирилл, вовсе не обижаясь на Феню, а скорее завидуя ей – ее молодости.

«Юла. Действительно юла», – подумал Богданов, глядя, как Феня, оседая то на одну, то на другую ногу, припрыгивая, убегала к себе...

Звено второе

1

Серый, в яблоках, рысак, побрякивая ракушками шлеи, шел во весь опор, держа голову в овале дуги, не шелохнув ею, точно она была влита. И Никита Гурьянов, плотно натянув ременные вожжи, восхищался:

– Вот конь! Пятак меж ушей положи – удержится: идет, как артиз по струне. Кровей, значит, хороших. Кровь – она много значит.

Плакущев молчал.

«Вот и человек должен так нести свою голову навстречу ветру, невзгодам, счастью, ежели оно есть на земле, – думал он, глядя на рысака. – Только того нет в крови нашей мужичьей: ползуны кругом, куда ни кинь», – и досадовал: люди, скачущие в бешенстве на базар; ветер – зябкий, приятный в своей прохладе; хрустящий весенний ледок под копытами коня – все казалось ему таким же мертвым, неинтересным, как и булыжник мостовой. Так он чувствовал себя только раз в жизни, лет сорок тому назад, когда отец, Максим Плакущев, выгоняя из дома, сунул ему за воротами кнут в руки, сказал: «Иди, куды хошь. Кнут – вот тебе мое наследство».

Начав с кнута, Илья Максимович обыграл и отца своего Максима, поднялся до старшины, и тогда у каждого при встрече с ним валялась шапка с головы.

Но тогда нашелся выход. А вот теперь? Может быть, старость сказывается? Ведь уже шестьдесят грохнуло. Эх, ежели бы лет двадцать с плеч сбросить – погулял бы Илья Максимович в лесах, в болотах, с дробовиком.

«О чем думает?» – глядя на него, хочет догадаться Никита и тараторит:

– Илья Максимович, видал, хахали проскакали?

– Кто это? – нехотя спросил Плакущев.

– Кто? Эти! Кирька Ждаркин и цыган ихний... агролом, – намеренно исковеркал последнее слово Никита. – Проскакали на тарантасе и сворачивать никому не хотят. Псы!

– Угу! Значит, отпустили? – У Плакущева наморщился скат лба над переносицей, щетинистые брови дрогнули. – Вот и хорошо. А то ведь зря людей замазали. А кто это тебе кричал дорогой? – спросил он, чтобы отвести разговор.

– Да кто!.. Митька Спириин, шут его дери-то. Хлебом печеным торгует. Баба всю неделю пекет, а он хлеб – на базар: купец красный. Намеднись говорю ему...

– Чего кричал?

– Подсобить просил. Намеднись говорю ему: «Митька, брось этим делом заниматься: с пустым мешком с базару вернешься». Нет, слышь, на прошлой неделе без малого червонец зашиб. Вот ты и гляди. Надрывается, тащит, а...

– Пускай надрывается: он кровей плохих.

– Известно, какая кровь у Спириных: сроду побираются. А этот все норовит выкарабкаться: лошаденку приобрел... у меня, положим, на землю выменял.

– Знаю.

– Да ведь она его съест с потрохами, – не унимался Никита. – Шел бы в услужение. А тут я вот вас, Илья Максимович, никак и не разберу. Зачем это вы голос за колхоз подаете?

– А что?

– Леригию они нарушают... коммунисты, – увильнул Никита.

– Колхоз – великое дело. И религию они не нарушают, коммунисты очищают ее, – в свою очередь вильнул Плакущев.

«Ряхнулся, – заключил Никита. – Значит, надо скорехонько дела-то обделывать», – и свернул с мостовой в сторону базара, обгоня мужиков.

– Мужик – он такой: как вар. Вещество есть такое на земле, – продолжал Плакущев, говоря не Никите, а словно кому-то другому. – В руках его мнешь, вар – он мягкий, бросил обо что – расколется. Мни и бросай. Кто осилит. В какую, сторону метнешь, то и получишь.

– А-ма-а! А-ба-а, – удивлялся Никита, ничего не поняв, решив, что Плакущев совсем «ряхнулся», и соображая свое: «Мни и бросай. А я хочу твое добро к рукам прибрать. Вот вопрос».

Рысак вынес их на изволок, идя четко, не тряхнув головой, так же, как и на равнине, только чуть всхрапывая. И Никита, заметив, с какой завистью посматривают мужики на рысака, снова принялся восхищаться:

– Машина, а не лошадь. Паровоз! А ты – продать. Гляди, твоя воля. А я бы за такую лошадь жизнь на кон поставил. Пра!

– Твоя жизнь и того не стоит, – задрал его Плакущев и окинул взглядом село Полдомасово.

Село лежало на берегу реки, расхлестываясь лохматыми, в весеннем навозе, улицами – длинными и изогнутыми. С концов улицы, усыпанные маленькими хибарками, сторбленными плетешками, казались тощими, но ближе к центру они толстели шатровыми домами, поблескивали на солнце железными, черепичными крышами, разукрашенными вензелями на окнах... И со всех сторон в центр, где на бугристой базарной площади стояла, облупленная часовенка, катили подводы крестьян.

Сколько раз Плакущев смотрел на село вот с этого же изволока, и ни разу ему не приходило на ум такое сравнение, какое пришло теперь.

Однажды, идя полем из Полдомасова, он заметил, как через дорогу перебежал тарантул. Был он слишком крупен и рябоват. Плакущев остановился, отбросил его палочкой в сторону и удивился: с тарантула посыпались мелкие, с зернышко проса, тарантулята. Было их так много, что Плакущев, пораженный плодовитостью тарантула, принялся считать тарантулят, глядя, как они снова взбираются на тарантула – уже тощего, длинного, цвета стали. Вот и теперь село показалось ему тарантулом, а те, кто скакал, обгоняя друг друга, на базарную площадь, – тарантулятами.

«Фу... мирно вращут в социализм. Держи, – усмехнулся он, глядя то на село, то на скачущих мужиков, то на Никиту, на его рыжую бороду. – Вот Никита... его арканом не затащишь. Души, а он все шевелиться будет, к своему карману тянуть. А их вон сколько – все Никиты», – он повел взглядом на скачущих мужиков и разом почувствовал, как с него спала беспросветность и снова перед ним все ожило, заговорило, и он встряхнулся, сел поудобней, вытягиваясь так, словно ехал на смотр своих полков.

– Здравсте! Здорово! – кричал он, обгоня мужиков, и шептал: – Тарантул жив! А этих тарантулят – как ни бей, тарантул новых народит. А они, большевики, – забывшись, заговорил он громко, – и норовят ему, тарантулу, в сердце... Вот наступит время – село убьют, сожгут избы, все перевернется. Наступит время.

– Села не будет, и нас не будет, и они подохнут, – ввязался Никита.

– Аль чего я сказал?

– А-ба-аа! Село, баишь, сожгут. И нас, стало быть, к хрену. А мы есть пуп земли. Кто кормить их будет? Газеткой ведь не наешься, а они... – Никита не закончил: они въехали в село, и в сумятице, базарной толчее ему пришлось придержать коня и, изворачиваясь, объезжать ряды торговцев.

С самого начала улицы, не уместившись на базарной площади, стояли телеги, рыдваны, роспуски с поднятыми вверх оглоблями. Стояли они в ряд вдоль дороги. Тут торговали картошкой, пшеницом, ягнятами, а вон кто-то вывел борзых собак. Это – Бельчик-Зайчик-Русачок. Он разводит борзых собак, а баба его – кошек. Этим век промышляют. Их обоих знает Никита.

– Торговля в полном разгаре, – говорит он, поворачиваясь к Плакущеву. – Куда прикажешь?

– Туда же.

Никита повел рысака, огибая встречных, в центр села. Около часовенки на разостланных дерюгах, рогожах люди торговали мелочью: ржавыми гвоздями, поломанными ручками от дверей, разрозненной обувью, частями от машин, шурупами, мятыми старыми лампами – никому не нужным, казалось, хламом. За рогожами и дерюгами сидели бывшие тузы. Вон – купец второй гильдии, а вон – ай-ай-ай! – графиня Нессельроде. До сегодняшнего дня по ее фамилии зовется железнодорожная станция, село же у станции – Царевщина – так именовано еще прадедами графини.

А она – вот она! Сидит и продает «шурум-бурум».

– Графинюшка, здравствуй! – кричит Никита и приостанавливает рысака. – Торгуешь помаленьку?

Графиня в ветхой кацавейке, вся иззябшая, подняла тусклые глаза и проговорила, еще сохраняя ударение на «а».

– Таргую... Хлебца надо зарабатывать.

– А ты вот что – по миру лучше ступай, – посоветовал Никита.

– Ноги у меня не гадятся.

– Ну-у! Отходили? Эх, ты! А ты вот что... Елиха Чанцев у нас живет, знаешь?... Пригласи. У него хоть ноги закорючкой, а елозит он шустро. В коляску тебя посадит и будет представлять: «Вот графиня в бедственном положении». Кто не захочет, и тот подаст.

– Пыжжай-ка ты! Пыжжай! – Плакущев зло толкнул в бок Никиту и отвернулся.

– Аль жалко? На белом пироге век жила, а теперь – скопытились.

– Набарствовалась, – с презрением кинул Плакущев.

– Времена в измену пошли, – живо согласился Никита. – Намеднись я купца Гаранина видал.

Гляжу, идет это старичишка по базару и несет что-то в мешке. Я и припомнил – отец меня мальцом к нему в магазин в услужение спихнул. Да он, пес, Гаранин, что тогда со мной сделал? Заставил из магазина печку кирпичную вытаскать. Ну, вытаскал я, а он мне и говорит: «Ну, вот... ты мне больше и не нужен». Вышел это я на улицу и давай плакать. Куда пойдешь? К отцу? Башку проломит... А тут увидел я его и думаю: чем его, пса, уязвить, да так, чтоб сквозь прошло? Дай так, думаю. «Эй, кричу, Максим, никак, Петрович?» – «Я, слышь». – «Узнал, мол, мальчонкой я печку у тебя из магазина вытаскал?» Будто не признает. А чего – знает: я ведь и тогда конопатый был. Ну, думаю, пес с тобой, а я с другого конца подскочу. «Куда, мол, путь держишь?» – «На станцию, слышь». А в мешке у него тяжесть, а когда я мальчишкой был, у него грыжа существовала и в поднятии ему запрет наложен. А тут несет – большевики выучили. Ну, думаю, хорошо. Подозвал это я парнишку одного и говорю: «Паря, свежи-ка вот этого дяденьку на моем рысаке на станцию... вот те целковый». И угодил купцу Гаранину в самое печенье: малец мне потом рассказывал, как сел купец в тарантас, так вплоть до самой станции ревмя ревел.

– Разболтался, – оборвал его Плакущев. – Рысака наживи допрежь, потом и хвались.

– Ясно, на твоём я его, – согласился Никита, забавляясь про себя: «Твой-то мой будет».

2

Постоялый двор Евстигнея Силантьева, по-уличному Мигунчика, раскинулся в самом центре улицы, на базарной площади. Шатровый двухэтажный дом, обнесенный конюшнями, утепленными сараями, с годами посерел, покосился, и, казалось, все – и дом, и конюшни, и сараи – точно от мороза подогнуло ноги, собираясь кому-то пожаловаться на свой непристойный вид. Только петухи на дымовых трубах гордо держались по ветру да красовались остатки причудливых вензелей на карнизах верхних окон. Это и была «штаб-квартира Плакущева», как в насмешку называл ее Никита Гурьянов, поэтому он и въехал в ворота смело, будто к себе во двор, выкрикивая:

– Здорово! Сколько лет, сколько зим.

Ставя рысака под сарай, он сквозь дырявый плетень увидел, как на заднем дворе к человеку с засученными рукавами подвели буланую лошадь – маленькую, круглую, налитую, как огурец. Человек, ухватив лошадь за ухо, пригнул ее голову к земле и со всего размаху всадил острие широкого ножа между ушей, – лошадь вздыбилась и, выбрасывая вперед ноги, точно желая во что-то упереться, замертво грохнулась на землю. Человек резанул ее ножом по горлу и отдал распоряжение:

– Сдирайте. Другую давайте!

Недалеко от него у плетня в ряд стояло еще десятка полтора лошадей. Они тревожно переминались, фыркая, чуя запах крови. Люди, которым человек отдал приказание, быстро отволокли трепещущую буланую лошадедку и подвели гнедую высокую матку. Матка была еще совсем молода и поджара. Зоркий глаз Никиты подметил, – она еще не испытала на себе упряжи: шерсть на груди у нее лоснилась, а ноги ступали, пружинясь, как у жеребенка.

– Чего делаете? Зачем скотину калечите?! – не выдержав, зло закричал Никита, сам весь трепеща, и кинулся на задний двор.

– На мясо, – ответил человек. – По закону правительства... через ЕПО. На колбасу... В Татарску республику.

– Правительство! Оно тебе без портков велит ходить – пойдешь?

– Пойдешь, раз велит, не только без портков.

– Изуверы! Жисть хрестьянскую калечите! Чай, она, лошадь-то, душу имеет.

– А ты не в свое дело не лезь, – одернул его Плакущев. – Рысака веди, продавай.

– А расписочку... лист похвальный?

– Продашь – придешь за распиской. Сейчас далеко за ней лезть... А ты кончай и иди в избу, – позвал человека от лошадей Плакущев, направляясь в дом.

– Угу! Вон тут чего, – Никита подмигнул, всматриваясь в человека, и по тому, как он шел, приседая на пятки, точно они у него были обрублены, узнал юродивого монаха. – Вот тут чего, – еще раз протянул он и начал осматривать задний двор.

Во дворе под навесом стояли большие деревянные чаны, забитые лошадиным мясом – солониной, а дальше, под дырявой крышей, висели шкуры, пегие, гнедые, вороные. От шкур под сараем стало совсем темно.

– На какой случай режете скотину? – смиренно уже поинтересовался Никита, подсчитывая шкуры.

Ему никто не ответил.

– Спрашиваю: на какой случай колете скотину? – более ласково спросил он и удивился: те, кого он спрашивал, молча продолжали свое дело. – Да вы что – немь аль как? Эй ты, вихрастый! – крикнул он рыженькому пареньку. – Чего молчишь? Я ведь могу и в милицию сбегать. Пра, истинный бог!

– Дуй-ка подобру-поздорову, – проходя мимо него, держа наготове нож, кинул паренек и, обращаясь к другому, веснушчатому мужику, мягко проговорил: – Братец Иван... давай шкуру повесим.

Тогда Никита, словно ничего не замечая, подошел к чану, поковырял его пальцем, будто интересуясь, из какого он дерева, и выводя рысака за ворота на конный базар, пробормотал:

– Ну и жулье!

Базар орал говором людей, ржанием лошадей, мычанием коров, скрипом телег, боем горшков, звоном старого проржавленного железа, пьяной, разудалой песнью, и все это смешалось в один ошарашивающий гул – гул торга.

Никита вначале растерялся, потом подтянулся, окинул глазами базарную площадь. Всюду торчали оглобли, загораживая собою порядки изб, мелочные лавочки, коровий двор, горшечные ряды. Оглобель было так много, что Никите показалось – на площади расположилось какое-то чудное войско, у которого на плечах не ружья, а оглобли... А между поднятыми оглоблями по дороге скакали на лошадях торгошаи-шерамыжники, показывая своих коней. Вон татарин Якутка – Никита его хорошо знает – верхом на белой лошади, костистой, широкозадой, с огромной головой, мечется и кричит что есть мочи.

– Ы-ых! На такой коне только бы царю ездить!

А вон и Петр Кульков. Этот – жулик первосортный. Он те уж на лошадь не сядет, с земли не сойдет. Никита и его хорошо знает. Знает, что Петр Кульков недавно служил лесничим и охранником вод, а теперь взялся за лошадей. Он ленивую лошадь выхаживает по-своему: привяжет ее в сарае к перекладу и, поливая водой, порет в три кнута до тех пор, пока она не заплачет. Лошади плачут тоненьким голоском, как щенята. Вот какой гусь Петька Кульков, кривой пес. Вон он ходит, примеряется, высматривает, как коршун. Цоп – и пошел писать. Продай-ка ему рысака – он катнет на нем в город да сотенки три и зашибет. И чего Плакущев надумал продать рысака? Боится: Кирька Ждаркин отберет. Но ведь расписка на рысака у Плакущева.

– Фигу получит Кирька! – бормочет Никита, выпрягая рысака, ставя его в ряд с другими лошадьми.

И не успел он по-настоящему оглядеться, почесать руки, как его окружили. Тут были и шерамыжники, они налетели, как галки, и просто крестьяне из других сел – вихрастые, чумазые, с большими руками, и причесанные, прилизанные – знатоки лошадиных пород.

– Продаешь, Никита Семеныч? – спросил Петька Кульков, издали, одним глазом рассматривая рысака. – Кирьки Ждаркина рысак? А?

«Экий пес – все знает!» – в тревоге подумал Никитз и закричал:

– Был его, да бильем поросло. Он и без рысака хорошо скачет. Третью жену менять надумал.

– Та-ак? Стало быть, Плакущеву рысак перешел? Зачем продаете? Видно, болезнь у него какая есть? Сап?

– Ты мне удочки не забрасывай, – разозлился Никита. – Сапов там не наворачивай. Не на того напал. Конь, как яблочко.

– И яблочко внутри бывает с червячком. – Петька Кульков подошел к рысаку и, врезаясь пальцами в мякоть, что есть силы провел ими вдоль хребта.

Рысак не шелохнулся. Только легкая дрожь прошла по всему телу да напряженной наострились уши – серые, с черными каемками.

– Хребтук крепкий, – сказал Петька Кульков и начал осматривать рысака, как врач рекрута. Он посмотрел копыта, грудь, измерил расстояние между передними ногами, определяя бег рысака, затем отвернул гриву, пересчитал там иверни и не стерпел: – Да-а. Рысак на белом пироге рос. Сколько?

«Укупит еще, пес кривой», – перепугался Никита и крикнул:

– Тебе не продам. Пускай в хрестьянские руки идет. Была бы жена молодая, ее бы за него не пожалел. Вот что.

– Чай, женись на молодой. Нонче раз-раз – и квас.

– Дуровину плетешь, дуровину, – оттолкнул его Никита и, расчесывая хвост рысаку, опешил: толпа около рысака растет, торг на новом базаре приостановился.

– Что же, – сказал, немного подумав, Петька Кульков и закричал: – Ежели Плакущев продает своего коня, распродается, так сказать... то, стало быть... делать нечего: каюк пришел!

И молва о том, что Плакущев – из Широкого Буерака – распродается, поползла по базару, по конным, коровьим рядам, спугнула тех, кто еще сомневался, кто находился на распутье. И вот хлестнула торг, и цены, как лавина с гор, скатились вниз, за бесценок – пятнадцать – двадцать рублей голова – шерамыжники рванули лошадей, уводя их на постоянные дворы, чтобы убивать их там и засаливать в больших деревянных пузатых чанах.

В этой горячке не устоял и Никита Гурьянов. Он за шестнадцать рублей купил двух подростков-жеребят, годных для бороньбы. Рысак же стоял у телеги, грыз металлическую цепь. А на углу у нардома в радиотрубу голос кричал о социализме, о сплошной коллективизации, о тракторных колоннах, о выкорчевывании корней капитализма. Никита, прислушиваясь к этому голосу, торопко привязывал жеребят к наклейке, возбужденный и потный.

– Сколько ты за него?... Сколько за рысака-то? – приставал к нему мужик в чапане и в лаптях.

– Ты еще тут? – с досадой спросил Никита. – Из мордвов будешь? Сто целковых, русским языком тебе сказали. Золотом, – добавил он чуть спустя.

– Эх, где это нонче взять золото?

– Возьми где хошь. У вас, у мордвишек, золота много, – оборвал Никита и повел рысака на постоянный двор, держа в поводу двух молодых, игривых жеребят, любясь их аккуратными, как стаканчики, копытами, еще не зная, что сказать Плакущеву о рысаке. «А, набрешу», – решил он, входя в избу.

В избе в пару и копоти трудно было разобрать, кто сидел за столом, и, только взглядевшись, Никита заметил, что около самовара сидит и сам Евстигней Силантьев. То, что Евстигней был когда-то толстый, можно было определить по складкам на его лице, шее. Казалось, что на него случайно натянули чужую кожу: она висела на нем так же, как висит отцовская рубашка на пареньке, Никита припомнил, как, бывало, Евстигней ел воблу. Он, не очищая ее, ел прямо с головы, со всеми потрохами, и хвалился при этом: «Оттого я и жирен, воблу вот так жру. Вобла – самая полезительная». А вот теперь он сидит тощий, грязненький, такой шелудивый, и часто-часто мигает, за что его и зовут все «Мигунчик». А рядом с ним Плакущев, Маркел Быков, юродивый монах... И этот тут – Петька Кульков. Ну, хахаль... успел уже прикатить... И еще сидят какие-то незнакомые Никите.

– Продал? – вопросом встретил его Плакущев.

– Смахнул. Рази такого коня не подцепят? – ответил Никита.

– Сколько?

– Да чего говорить. Стыдно говорить, – Никита махнул рукой и присел на конец скамейки.

– Сколько? – настойчиво переспросил Плакущев.

– «Сколько?» – злобно передразнил Никита. – Ты, чай, ждешь тыщу. «Сколько?» Девяносто

шесть целковых – вот сколько, – выпалил он и вытер набежавшую слезу. – Сердце у меня выдернули с рысаком. Берег, берег, а теперь к козе под хвост. «Продай». Вот те и «продай».

Плакущев долго молчал. По лбу его забегали тени грусти, досады, жалости.

– Вот и продали, – он так вздохнул, ровно стоял перед гробом любимого сына. – Ну, черт с ним! – сорвалось у него, и все покосились, зная, что он никогда не ругался. – Давай деньги.

– Деньги? – Никита завозился. – Вот тридцать целковых задатку... Расписку давай, лист похвальный. Требует.

Плакущев искоса, недоверчиво посмотрел на Никиту, затем достал расписку, именной лист, в котором была записана вся родословная рысака, и положил перед Никитой. Наступило неловкое молчание. Тогда Маркел Быков, тараща глаза, низко опускаясь над столом, снова начал свой рассказ, прерванный приходом Никиты:

– Так вот, приехал к нам намерднись стрикулист один и давай разводить, как большевики росли. Слышь, когда-то их было всего двадцать пять человек, а теперь, слышь, к двум миллиёнам подъезжат. Я и подумал: чего мы им тогда башки не пооткрутили? Вот и жили бы спокойно. А теперь сладь-ка с ними. Два миллиёна!

– Поотвертеть бы башки – да на кол, как вора в Китае, – вступился, суется, Никита. – Я тож с ним толковал. Он мне все насчет социализму, а я ему вопросик – сколько, мол, жалованья огребаешь? Триста, слышь, целковых в месяц, то да се – суточные там какие-то... сот пяток и набегают. Вот сымает таких двенадцать урожаев в году да нас социализирует. Да за такие деньги чего мужика не крутить! Я бы и то согласился. Дай-ка мне полтыщи в месяц. Ого-го чего наделаю.

– Они хитры, – процедил Маркел. – Нам бы союз крестьянский организовать.

– Зачем это? – спросил Никита.

– А пускай он, рабочий класс, в ногах вот за кусок хлеба поелозит, – гневно прогнул Маркел, показывая пальцем на ободранный носок сапога.

– Зря болтаете, – оборвал Плакущев. – Не для такого разговору собрались. А я вот ставлю – куда идти? Время наступило такое, когда о завалинку чесаться нельзя, когда один не тот шаг – и тебя в прорубь спихнут. Об этом нам надо подумать крепко.

– Ты, Илья Максимович, голова у нас... тебе и суд, как Соломону, – проговорил Маркел, упираясь грудью в стол, заглядывая в лицо Плакущеву. – Тебе в руци предаем. Я бы своим кулачком и то всех бы прибил... А ведь за жисть свою мухи не тронул.

– Я?... Я одно думаю: одна дорога – идти за правительством, – подчеркнул Плакущев.

Маркел оттолкнулся от стола и положил руки на живот.

– Матушка Расея вскачь понеслась. Теперь и думать некогда, держись только. – Плакущев вынул из кармана газету и начал читать с пропусками: – Вот что сказано в центральной прессе о нашей местности: «В течение последнего времени ряд статей и корреспонденции с мест убедительно показали, что в Широком Буераке не все благополучно... Местные кулаки, во главе с председателем сельсовета Ильей Гурьяновым, сумели обвести районные и краевые организации, подготовили и партийное мнение к тому, что из партии исключили лучших, преданных делу революции работников: Кирилла Ждаркина и старого большевика Богданова. Центральная Контрольная Комиссия, куда поступило дело Богданова и Ждаркина, восстановила их в партии и исключила из партии, как примазавшегося к ней, Илью Гурьянова, предложив соответствующим организациям немедленно снять последнего с работы».

– Это Ильку-то скovyрнули? – перебил Никита, интересуясь судьбой сына.

– Надо думать, – ответил Плакущев и достал вторую газету. – А вот еще: «В районе Широкого Буерака организуется межселенная тракторная станция. Директором станции назначен Кирилл Ждаркин».

– Что ты, пес: везде Кирилл! Ай да племяш!

Плакущев искоса посмотрел на Никиту, удивляясь его расторопности, необычайной смелости.

– И еще: «Одновременно в том же районе будет приступлено к разработке богатейших залежей торфа». Видали? – Плакущев приподнялся и разгреб руками около себя так, точно сидел в прогнившей соломе. – Очищаться нам надо от всего на свете.

И смолк.

В избу вошли трое. Став у порога, они робко осмотрелись.

– Ды-отку? – заговорил юродивый, приняв свой обычный вид, напялив на себя драную цветную поддевку.

– Из Лесного-под. Идут тора-трак, – ответил один.

– Кто это? – Никита нагнулся к Плакущеву.

– Балаболки.

– То-то, язык-то какой собачий.

– Знамо дело, – Плакущев тонко улыбнулся, вслушиваясь в разговор.

Никто, кроме юродивого и Плакущева, не понимал языка, на котором говорили пришедшие люди. А язык был прост. Они делили каждое слово на слоги и переставляли их.

Плакущев, все так же улыбаясь, нагнулся к юродивому, тот мотнул головой и долго о чем-то говорил с пришедшими. Затем махнул рукой, чужие вышли. Но тут же появились новые, тоже о чем-то поговорили с юродивым, вышли. Люди эти были с разных концов – из Илима-города, из Подлесного, из Колояра, из Москвы.

Никита, озабоченный тем, как теперь увести домой рысака, совсем не обратил внимания на посторонних людей. Улучив момент, он незаметно шмыгнул во двор, с разбегу вскочил в окованную железом телегу, взял в руки вожжи и вдруг почувствовал – рысак стал ему как-то родней. Вот тот же конь, а уж как-то и милей и приятней.

– Вот дива какая, – проговорил он, выезжая со двора, и, натягивая вожжи, осторожно положил их на бока рысака, боясь стереть нежную серебристую шерстку.

По дороге в Широкий Буерак на четвертой версте, около перелеска, он настиг сноху Зинку.

Она шла тропочкой, утоптанной человеческими шагами, – мягкой, как из растопленного солнцем вара. Солнца было много – теплого, ласкового, зовущего прилечь под первый куст. И Зинке было жарко. Сначала она стянула с головы косынку, небрежно сбросив ее на плечи, и легкий весенний ветерок тревожил ее черные, с рыжим отливом волосы... Но солнце припекало. Зинка распахнула куртку, оголяя белую шею. Ей было томно, и она рассматривала следы на тропочке – были тут маленькие, с узкими каблуками, а иные ложились большими отпечатками. И эти большие следы бросали ее в трепет.

– Фомушка... Фома, – шептала она, вспоминая умершего мужа.

Ей хотелось запеть какую-нибудь грустную песенку, но отпечатки человеческих ног на тропочке снова кидали ее в жар, и она сбросила с себя куртку, оголяя плечи, подставляя их солнцу, склонила голову набок, точно уже не в силах была нести ее.

Такую ее и настиг Никита.

– Ты что одна? Илья где?

– Задержался. Обещал нагнать меня, – ответила она и, вся жаркая, села в окованный ящик рядом с Никитой.

И тут Зинка сделала оплошку – сама виновата, как потом утверждал Никита: она слишком плотно привалилась к Никите. И Никита, ощутив теплоту ее разгоряченного тела, подъезжая к леску, свернул в сторону. Зинка только и заметила, как перед ее глазами мелькнули две – в вечной черноте – ладони, затем руки с силой толкнули ее в плечи, опрокидывая на спину, и она, почувствовав на своем лице дыхание Никиты, хотела закричать, сопротивляться и не смогла...

– Что ты наделал, тятенька! – чуть погодя со страхом вскрикнула она.

– Ничего... тебе это на пользу, – глядя в сторону, отряхивая колени, пробурчал Никита. – Баба ты в соку... лавная, положим... А меня вот во грех ввела... радость мою нарушила: жеребят я купил... – Он было хотел ей сообщить и то, как провел с рысакон Плакущева, но спохватился, боясь, что Зинка все перескажет отцу, и добавил, высказывая свою затаенную мысль, как высказывают ее самому близкому человеку: – Ежели я не разбогатею – удавлюсь. Видала, чего думаю? А ты – «чего ты наделал, тятенька». Да и какой я тебе тятенька? Ты иди со мной, вот закрутим, завертим... Чего с Илькой спуталась? Эх, ты-ы, баба, прямо-то дело, – и подхлестнул рысака.

Разгоряченный рысак, закусив удила, крупной рысью промчался улицей и со всего разбегу, высоко задрав голову, оглоблями ударился в ворота. Ворота со скрипом распахнулись.

– Вот разблажился! – Перепуганный Никита выскочил из телеги. – С цепи, что ль, сорвался? Аль у другого хозяина не хочешь жить? Я вот тебя! – Он замахнулся, но, вместо того чтобы ударить, похлопал рысака ладошкой по крутой шее и прикрикнул на Зинку: – Вылазь, ты-ы! Чего, ровно прикована, сидишь!

Зинка, разглаживая помятую юбку, сторала от стыда. Она видела – на крыльце стоит Илья. Руки он глубоко затискал в карманы брюк, фуражку нахлобучил так, что козырьком прикрыл глаза, и весь налился злобой.

«Видно, обогнал нас дорогой... и подметил», – подумала она и пристыла к телеге.

– Это ты чего во двор привел? – спросил Илья, показывая на жеребят, и весь подался вперед.

– Это? Жеребятки-то? – наивно переспросил Никита. – Чай, пахать скоро, а я ведь землички еще прихватил. Бурдяшинцы сдают, а сами на Магнитогор какой-то улепетывают. Вот я и прихватил.

Илья весь передернулся.

– На плечах-то что у тебя – лагун?

– Ты не больно финти, – взъерепенился Никита. – Знаю, из властей-то тебя сковырнули. «Через отруба – к коммуне». Вот и ступай теперь «через отруба к коммуне». Да еще не то будет. Придешь, в ногах у отца валяться будешь.

– Рыжий черт! – сорвалось у Ильи. – Тюлень! Да ты знаешь, что надвигается? Тракторы идут. Вас теперь, как тараканов, щелкать начнут. А он жеребят еще купил.

– А мне что! Мне пахать надо. Не собьешь. Советская власть укрупненным двором велит жить. Видали таких!

Никита уже понимал, что наговорил лишков, но то, что Илья кинул ему самое оскорбительное, данное когда-то на Каспии – «Тюлень», взбесило его, и он не мог удержаться.

А тут еще на крыльцо вышла Елька и, глядя на Зинку, догадываясь о том, что дорогой с ней проделал Никита, соткнув руки в бока, сказала:

– Из-за этой шлюхи, что ль, кобели, сцепились?

Тогда Никита побагровел и рявкнул:

– Убирайтесь! Все! Со мной плохо... Я вам дом поставил, хлебом засыпал.

– Да он в глотку не лезет, хлеб-то твой... Пойти вон и доказать, где у тебя хлеб-то спрятан. В старой бане. Знаю, – сквозь зубы процедила Елька.

– Что-о?! – цыкнул на нее Никита.

– А-а-а, – Илья скрипнул зубами и, короткий, комлястый, сошел вниз по ступенькам крыльца, стукая о них каблуками сапог. – Ты и нас хочешь всех за собой в яму... Тюлень!

Он весь сжался. Никита отпрыгнул в сторону, но кулак Ильи настиг его и сильным ударом в загривок сшиб с ног. Падая на навозную кучу у конюшни, Никита, не столько от боли, сколько от непомерной злобы, завыл, пугая под сараем на привязи собаку Цапая.

Но как только во дворе смолк шум, Никита поднялся на колени и, глядя в глаза Цапаю, стал жаловаться:

– Вот ты только у меня и остался. Понимаешь, чего творится? Эх, чего природа вам говор не дала... – Немного помолчал и шепотком на ухо, прерывая слова смехом, передал Цапаю: – Знаешь что: башкан Плакущев мне велел рысака в чужие руки продать, а я его – хоп и к себе на двор. Теперь рысак-то нам с тобой принадлежит. Карауль, смотри, хорошенько. Вот облапошили башкана. И это – слушай-ка, как весна поет, – он мотнул рукой в сторону, прислушиваясь к тому, как булькают с гор весенние потоки, как пыхтит, нежится земля под солнцем, как где-то на конце улицы раздался крик ребятишек – резвый, задорный, по-весеннему изобильный.

И Цапай заскулил с позевотой, просясь на волю. У Никиты глаза засияли от звуков весны. Он поднялся на ноги и, забыв о нанесенной обиде, проговорил:

– Я вот эту песню люблю слушать, Цапаюшка: ночи не сплю, все слушаю, как земля в весну поет, булькает, пыхтит, будто здоровяк. И грязь люблю. Люди вон городские в гамашах выйдут весной и прыг, прыг, как козы, ножками перебирают, чтоб не промочить. А я – другое: вот гляди, как, – он шагнул и, утопая в весенней жирной грязи, добавил: – Вот как, всеми лапами. На, промокай меня, земля, насквозь. – И снова приостановился, обвис. – Сердцем вот только что-то я гнию, Цапаюшка: чую – беда большая ползет.

3

В эту ночь Маркел Быков потревожил Никиту.

Никита, сидя за столом, облокотившись, положив голову на большие ладони, спал в задней избе и сквозь сон услышал, как кто-то легонько забарабанил в окно. Он быстро встрепенулся, по-детски выкрикнул:

– Ась? Аиньки?

– Ты что, занемог, что ль, Никита Семенович? – спросил Маркел.

– Не-ет. Я сроду не хвораю.

– Что же так сидишь?

– Сплю.

– Спишь? Чай, вон на кровать ляг.

– На кровать? На кровати меня сто лет не разбудишь. А тут руки у меня устанут, голова соскользнет, я стукнусь о стол башкой и – «Эх, лошадям надо месить».

– Экая божия дудка, – даже Маркел удивился.

– Я такой, – довольный тем, что удивил Маркела, с похвальбой заговорил Никита. – Я, как козявка: чуть свет – на ногах. А ты что притащился?

– Ты путь-дорогу со мной не поделишь? – всматриваясь во тьму, осторожно намекнул Маркел.

– Куда это ты?

– Во-та, аль не чуешь, что лезет? В другой стране, что ль, живешь?

– Угу! – вдруг догадался Никита, чувствуя, как с него слетела дремота. – Ты где ее прихватил... и как она – черноземом аль как?

– Чего? Земля? Слышал, земля – мед. Да вот как до нее добраться? Одному не с руки. – Маркел передохнул. – Далеко. Да ведь собака вон у меня, кобель, к суке за семнадцать верст бегала. То собака. А мы, чай, с тобой – ого! Поедем!

– Поедем! Да давай маленько вздремнем. Лошадей я только к корму пустил.

– Да ты, голова садова, – даже рассмеялся Маркел, несмотря на то что внутри у него все бурлило, – ты чего думаешь? Землю, дескать, я где тут поблизости открыл? Не-ет. Тут земля для нас – могила. Я то тебе говорю, зову тебя... как бы толком сказать... Ну, еду я искать местность, где нет этой... коллективизации.

– Это ж куда? – свирепо заворчал Никита. – К дьяволу на кулички? А дом, лошади, скотина, загонь разделены? Ты что, угорел что ль?

– Э-э, червяк земляной, да негодный. А еще герой японской войны: вешать нас будут, как собак бешеных... тебя в первую голову.

– Ну, это ты зря. Со зла это ты.

– Да ты сам-то помнишь, гуляли – кричал: «Все по ветру развею, останусь, как трын-трава». Помнишь?

– Что-то не помнитца, – с позевотой ответил Никита.

– Гляди! – Маркел сел в телегу, подхлестнул лошадь и, стуком колес будя ночную тишь, скрылся в темноте.

– Экое непутевое время, – пробормотал Никита и только тут заметил, что в улице через каждые два-три двора в избах горит свет, а из ворот торопко выскакивают какие-то люди, мчатся на лошадях мимо изб, мимо церкви в неизвестном направлении. «Беда какая ни на есть, – спохватился он, взбираясь на сарай, и на слух – ночь была темная – стал угадывать, куда катят подводы. – Война, видно... опять война», – решил он и, схватив фонарь, выбежал на улицу, зашагал вдоль по порядку, прислушиваясь к говору людей за окнами изб.

– Ай, Никита Семеныч! Ты тож из своей норы вынырнул? Всех выгоним, всех!

Никита шархнулся, – из темноты на него напоззло что-то похожее на огромного паука.

– Хе-хе! Уробел? Все уробеете, чертяки проклятые... Ноги-то вот мне золотые поставите, – на свет фонаря выполз Епиша Чанцев и погрозил кулаком. – Собираются, нюхаются, сговариваются, а Епишка, дескать, без ног... Нет, елзюю вот и все-е на свете знаю. Хошь, на тебя донос сделаю?

Никита уже бежал к своему двору, а Епиша все кричал вдогонку:

– Башки вам пооткрутим на рукомоиники. Силища наша идет, – и полз за Никитой.

– Ты чего орешь? Тебе это велено делать? – Шлёнка схватил за плечо Епишу и приподнял, как корягу. – Тебе на то доверие дано? Тебе дано – елзюю и слушай. А он! Дам вот по сопатке.

– Да ведь, Вася... сердце не выдержало: от меня, от Епишки безногого, метнулся.

– Нишкни! Ползи вон туда.

И они разошлись. Шлёнка, сливаясь с избами, шел, крадучись, порядком на Бурдюшку, а Епиша, выбрасывая вперед ноги, пополз ко двору Маркела Быкова, в избе которого вспыхнул огонек.

Никита чуть свет вскочил из-за стола и, гонимый неведомой тоской, убежал на гумно.

Прислонясь к плетню, он долго стоял, поводя носом, как только что вышедший из берлоги тощий медведь, затем осмотрелся, перепрыгнул через плетень, стараясь не потревожить его, и, утопая по колено в грязи, зашагал рубезом к лесным тропам. Шел он медленно, покачиваясь, будто нес на себе непомерно тяжелую ношу, – не оглядываясь на село, боясь, что при повороте его узнают, окликнут. Издали казалось, не Никита Гурьянов идет, а удирает из клетки в лес зверь, осторожно щупая лапами землю.

Выйдя на опушку леса, он попал на тропу. Тропа была устлана ржавым влажным листом осинника. Лист приставал к подошве, делал Никиту похожим на рыжего мохноногого петуха. Но идти тут было легче: ноги не вязли, земля не чавкала, и Никита, громко вздохнув, подумал: «Вольгота какая есть для человека в лесу: сроду бы жил»...

Лесистые «Долгие горы», полдомасовский базар, Широкий Буерак, зыбуны, вязкие болота – вот мир, в котором жил Никита. В этом мире все было ясно, как своя пятерня с очерствелыми, несгибающимися пальцами. И зачем это люди мотаются куда-то на сторону искать счастья? Никита тоже три раза покидал свой болотистый, лесистый край. Раз поневоле – его забрали на военную службу, угнали «на дальний берег биться с япошками». Служил он там кашеваром и однажды, стосковавшись по Широкому Буераку, ночью, зайдя в китайскую деревеньку, прихватив там – выкрав – швейную машину, пошел, таща ее на горбу, по направлению к «Расее». Машину тащил он до Читы, думая по приходе в Широкий Буерак поднести машину своей благоверной, тогда еще молодойке... У Читы его поймали, вернули и заставили чистить лошадей. Второй раз он добровольно ушел из Широкого Буерака: потянулся вместе с односельчанами на Каспий – рыбу ловить, счастье испытать, но в тоске по Широкому Буераку изошел слезой и, получив кличку «Тюлень», отправился восвояси.

И еще Никита был в окопе во времена гражданской войны. Рыжий, молчаливый, иссохший, он стрелял во врага, сцепив зубы, похожий на собачонку-дворняжку, из тех, которые кусаются молча. А когда кто-либо начинал ворчать на неполадки, он огрызался:

– Тебе не нравится?... Ступай по ту сторону линии, мы в тебя пули будем пущать.

Во время же передышек всегда уходил на загривок леса, шатался там по поляне и что-то бормотал себе под нос.

Однажды им заинтересовался комиссар – все тот же Сивашев, подошел, спросил:

– Чего ты тут колдуешь, дядя Никита?

– Да вот трава зелена, – ответил Никита, показывая на траву.

– Ну и что же? Ляг, отдохни на ней малость.

Никита даже обозлился.

– Ляг! Отдохни! Это тебе – «ляг», «отдохни»! А я, как траву зеленую увижу, – пахоть охота.

А когда смолкла гражданская война, Никита вернулся в Широкий Буерак, врезался в землю, как полновластный хозяин, и с тех пор дал зарок – шагу не шагать из того мира, в котором вырос.

«Мечутся, егозят, счастье ищут, а оно – вот оно, – подходя к небольшому, заросшему травой ланку, подумал он. – Вот оно, счастье – пригоршнями собирай: тут посеи – пудов пятьдесят просца соберешь. Не дадут только. Сами, как собаки на сене, лежат».

И, постояв у ланка, отметив его на всякий случай в своей памяти, снова двинулся – торопко и легко, вынюхивая, высматривая, нет ли где брошенного клочка земли, вымеряя, прикидывая свои ланки, загоны, карты земли в поле.

Загонов, ланков, карт у Никиты было неисчислимое количество, и иногда, во время уборки, он терялся, отыскивая их по чутью, как собака спрятанный ею же где-либо в земле кусок хлеба. У него было своих одиннадцать душевых наделов, к ним он присоединил, окончательно овладев ими, наделы Плакущева, прикупил половину у Митьки Спирина, отдав ему за землю саврасого меринка, затем пристегнул у Епихи Чанцева, у голытьбы на Бурдяшке. В общем, у него наделов тридцать. А может быть, и больше. Кто считал у Никиты наделы? В прошлом же году, при молчаливом согласии сына Ильи – председателя сельсовета, он запахал бросовую землю, забираясь за ней в самые отдаленные места – к болотистым трясинам, туда, где и человек-то редко появляется. Там он пахал без усталости, засеивал просом, овсом и совсем забыл в это лето, как обувают ноги, как моются в бане, как спят на кровати. Изредка, только чтобы достать хлеб из амбара, ключи от которого он хранил в потайном месте, он появлялся на селе – босой, грязный, взьерошенный, с засученной штаниной, тощий, – ноги у него болтались в посконных штанах, как палки. И тогда широковцы, видя его

такого, говорили не то с завистью, не то с издевкой:

- Никита в землю улез.
- Как хребтук у него терпит!
- Ну-у, он трезильный!

А во время жатвы он вогнал в страх даже свою, привыкшую уже ко всему семью. Убрал хлеб на полях, он кинулся к болотам, наняв случайно одного придурковатого косца, и, идя впереди, начал с жаром смахивать жирное шелковистое просо, овес, и все посвистывая, шепча что-то такое радостное.

– Тут вот еще у меня маленько, – утешал он семью. – Малость. Делать-то нечего было в весну, ну и прихватил.

Убрал один, другой, третий – десятый ланок, он потащился в глубь лесов, где тучами вились комары, и все подшучивал, ободрял:

- Вот тут просцо вышло золотое.
- Все, что ли? – не выдержала Елька.
- Нет ща... пес его возьми-то... еще маленько есть у Грачиной гривы... пес его возьми-то.
- Ты, тятенька, всю землю бы, видно, запахал, – волю тебе дай – задницей бы стал хватать, не только руками. Пра!

– А ты, Еля, не того. Зато белы пироги нонче есть будем. Нонче непременно белы пироги, – смиренно уговаривал Никита, лаская глазами Зинку за ее старательность. – А у тебя, видно, кровь отца сказалась, – говорил он ей. – Илья Максимыч, бывало, в работе тож охотник был, – приврал он.

Но в эту весну ту же. Раньше легче дело шло: земли – бери сколько хочешь. Сдавали бурдяшинцы. А теперь и бурдяшинцы оперились... Какой ни на есть, к примеру, Митька Спириин и тот норовит свою землю зерном засорить... да еще беда – дела! – соперник появился, Маркел Быков. То же ни свет ни заря вскочит – и в поле. Хапает землю, пес, как волк голодный: в прошлую осень до морозов пахал! И как в ледяшку не превратился: до снегов – на босу ногу, без шапки. На днях похвалился – картуз показал. Картуз на дорогу брось – никто не поднимет, а он тринадцать лет носит. Тринадцать лет назад на ярмарке за пятнадцать копеек купил. Вот скряга! И эти лезут – коллективщики, брусочники. И откуда у них сила берется? Ногтем можно прищемить.

- А лезут... в хрестьянские дела лезут, – рассуждал Никита, шагая по тропочке.
- Ка-ар-р! – каркнула ворона.

– Ка-ар-р-р! – ответил Никита. – Я те накаркаю по гроб жизни. Иди вон каркай ячейщикам, а меня этим не проймешь. – И, швырнув в ворону суковатую палку, направился в поле, намереваясь посмотреть свой загон ржи.

– Вот тут где-то он есть, стервец, – проговорил он так, как говорит отец, отыскивая спрятанного в кустах сынишку-любимца. – Тут он, вот он! – И, подойдя к загону, снял картуз, кивнул в сторону, будто кому-то еще, делая при этом вид, что не замечает своего загона, и, бычась, отворачиваясь, прошелся краем, тихо бубня: – Пускай, стервец, осердится... а я его накрою. Что, мол, сокол, думаешь, я тебя забыл? – и, сдерживая трепетный смех, круто повернулся, выпалил: – Вижу тебя, стервеца заморского. Вижу. Хлюст! Ну, как зимовал? Эге, хлебец будет, – и нежно, мягко, несмотря на то что пальцы у него давно очерствели, отковырнул землю, пощупал корешок. – Славная будет рожь.

Никита знал, – и был в этом глубоко уверен, – что загоны, ланки, карты думают так же, как думает он, Никита, страдают во время засухи так же, как страдает он, Никита. Загоны, коровы, лошади, овцы, вещи – все думают, страдают, только не умеют говорить. Мало этого – все они стараются походить и походят на своих хозяев. Стоит только вон посмотреть на поле: Никита Гурьянов даже спросонья мог бы отгадать – вон тот загон принадлежит Митьке Спириину, вон тот – Епихе Чанцеву. Гляди, – как две капли воды, такой же изуродованный, шишкастый, ровно безногий. Тот вон – Маркела Быкова: вишь ты, как прибрался, ровно к обедне пошел. Да и другие, чужие загоны – почему так? – встречают Никиту враждебно, отворачиваются, готовые при случае зарычать на него, как цепные псы на чужого, а свои улыбаются, приветливо зовут подойти к себе, пощупать борозду. Почему так? А потому – люди вы бездельники, шантрапа бесштанная! – потому – думают они, страдают, радуются, говорить только не умеют... и озоруют иные, от рук отбиваются. Вон ланок. Кто не помнит? Весь мир помнит – он достался Никите года два тому назад от Захара Катаева. Верно, достался из хороших рук. Никита не протестовал, принял его в свою семью, и он, гляди, озорует, и только. Никита выцарапал из него пни, разделал под орех, а он – на-ка вот тебе –

весь покрылся песком и щебнем. Весенняя-де вода нанесла? Чего она не натащит, – подставь только спину.

– Эко, какой ты греховодник, – принялся журить ланок Никита. – Что ж ты это, братец! Песок и всякую мерзость на себе собрал, как свинка? Вода? Обрадовался. Чай, воду-то можно и на соседний загон пустить. Перепрудил бы ее вон там, мол, теки – дела твои и в шляпе. Чай, ползет на тебя беда, а ты посторонись, не хорохорься, а посторонись... она и пройдет мимо. А так что же, на кой ты мне нужен: грязь на тебе урастет, полынь горькая.

И, убрав щебень, умело разбросав его по соседнему загону, Никита облегченно вздохнул, чувствуя в себе радостное томление, такое же, какое у него было еще в те дни, когда он, прячась в кустарнике, простаивал на берегу реки Алая, глядя, как его будущая жена полощет в реке белье.

– И что это такое есть – тянет как она? Прямо ел бы ее, землю, – прошептал он. – И как это умным людям в башку лезет – загоны все поуничтожить, межи! Ведь это все одно – людей в одну кадушку, на одну колодку. Нет, в природе то заложено: земля моя. Ворона вот, сорока какая ни на есть, и та свое гнездо вьет. А может, отказаться? По совету башкана, – припомнил он настойчивое требование Плакущева отказаться от земли. – Отказаться от земли? Ну ее к шутовой матери! Отказаться? Под ножом! – Никита засмеялся. – Режь вот меня. Полосуй на ремни. На! – крикнул он, поворачиваясь к загонам. – Режь... Нет, вот ежели бы вы все мне принадлежали, тогда бы я разделал дела. Чуете, чего думаю!

Так ходил Никита по полям, утопая по колено в грязи, рассуждал с загонами, ланками, картами, иных бранил, иных расхваливал, но осторожно, чтобы не зазнавались. Вынюхивал, высматривал, нет ли где поблизости брошенной земли, и с великой тоской ждал того дня, когда можно будет вывести со двора быстроногого серка, буланую вислогубую кобылу, двух гнеденьких меринков, жеребца, высокого, костястого, новокупок-жеребят, и прислушивался к предвесеннему зову земли, как прислушивается щенок к шагам матери, ушедшей за добычей.

А земля бродила под горячим солнцем. Перед этим мужики мыкались по базарам, сплавляя туда все, что можно сплавить, но, заслыша весенний зов земли, кинулись готовиться к севу, стремясь урвать у нее кусок: таков был неумолимый закон земли, – она властно скликала людей к себе, как скликает мать-волчица своих волчат, как скликала она их тысячи лет тому назад, когда, может быть, еще только впервые человек бросил в утробу ее сохраненное зерно.

И вот тракторы своим гулом нарушили предвесенний запев земли.

Услыхав от Плакущева на постоялом дворе Евстигнея Силантьева, что в Широкий Буерак идут тракторы, Никита не поверил.

– Хитрит, финтит башкан, – проворчал он. – Сроду такой: куда башка не лезет – хвост воткнет.

Но, вернувшись с поля, заметив возбуждение на селе и то, как в Широкий Буерак стекаются званые и незваные представители сел, деревень – Алая, Колояра, Поддомасова, Подлесного, Никольского – за десять, двадцать, тридцать, пятьдесят километров, он, столкнувшись с Маркелом Быковым, спросил:

– Ты что ж не укатил?

– Задержка маленькая произошла, – ответил Маркел, все так же всматриваясь куда-то вдаль.

– Меня сманивал, – ковырнул Никита и тут же добавил: – Чего развоевались на селе?

– Собрание. А ты не знаешь?

– Ну, нашли время. Чай, она, земля, не ждет, – с укором бросил Никита. – Что она, любовница, что ли? Постой, дескать, я вот маленько пошумлю.

– Хы, – Маркел усмехнулся. – Ты это вон им скажи, советчикам да ячейщикам. Они и про любовницу хорошо знают.

– Эк, – Никита крякнул. – Что ж делать?

– Чего? Иди вон среди народа потолкайся...

– Чьи это? – спросил Никита, рассматривая толпившихся у дверей нардома представителей сел.

– Со всех сторон согнали, – пояснил Маркел. – Дескать, чужие, нас-де не знают, прытко за нами побегут...

Представители сел, деревень толпились на «Брусках», щупали племенных кур «леггорн» – белых, как лилии; вымеряли удои коров, осматривали сельскохозяйственный инвентарь, комнатки

коммунаров, столовую, детский сад, кружили около Панова Давыдки, вгоняя его в пот каверзными вопросами. Больше всех на него наседали Петр Кульков из Полдомасова – низенький, с бельмом на левом глазу, бывший лесничий и охранник вод. Вслушиваясь в разговор, покачивая головой, будто одобряя все, он мягко, вежливо вставит неожиданный вопрос:

– А скажите, пожалуйста, если это возможно... у вас все наравне?

– Не все, – сопит Давыдка.

– Тогда скажите, пожалуйста, ежели не тайна, какая же это есть коммунизма? Коммунизма – все общее, все наравне. Так товарищ Ленин, покойник, нас учил.

Давыдка мнется: ссыла на Ленина обескураживает его, и он, еще достоверно не зная, так или иначе говорил Ленин, отвечает наобум:

– Товарищ Ленин тому, по-моему, не учил. Работать велел Ленин не покладая рук. Тому и партия учит.

– Так это вы плохо знаете учение нашего дорогого вождя, – Кульков победоносно улыбается и подмигивает мужикам. – Ибо у вас что получается? Одному все сто, другому, как говорил один великий поэт, дырка от бублика... то есть кренделя, по-нашему.

– А сосункам, ребятишкам, что? Они не работают. Стало быть, газетки читай? – поддерживая Кулькова, кинулись представители на Давыдку, как галки на ястреба. –

– Сосунков, стало быть, не стряпай?

– Завязывай, значит, тут веревочку?

– Монахом делайся?

– Какой монах. Иной, брат ты мой, десятка два ребятишек имеет... в нонешнее, конечно, время, – смешил Кульков и закруглял: – Путь неверный. Ты обеспечи с ног до головы, раз зовешь в царство социализма.

– Ты, к слову, целовальником не сидел? – обозлясь, спросил Давыдка.

– А что? – дрогнув, проговорил Кульков.

– Да так... говор... слова у тебя какие-то не мужичьи. Обеспечь, обряди с ног до головы. Часики еще каждому на грудь повесить, – обрезал Давыдка и стал в полуоборот к Кулькову. – Ходишь ты, хахаль, мутишь пресную воду. Думаешь дураков найти.

– Это ты его хорошо... резонно, – шепнул Давыдке чернобородый, плоский, точно вырубленный из доски мужик, державший все время руки в карманах. – Хорошо... жучки ему оббил, – и снова отошел к группе, присматриваясь, прислушиваясь, улыбаясь в бороду.

«Это что за ферт? – Давыдка осмотрел его. – Тоже, гляди, что-нибудь да и ввернет. Скоро, что ль, отчалият?» – в тоске подумал он, чувствуя усталость во всем теле.

А представители не отступали. Они в десятый раз завернули на птичник, не веря, что каждая курица дает в год по двести сорок яиц. Щупая кур, осматривая гнезда, корм, они вступали в спор с Анчуркой Кудеяровой, пытаясь ее сбить.

– Двести сорок каждая курочка дает? – спросил ее Маркел Быков, впервые попав на «Бруски». – Двести сорок? А может, не все такие?

– Не все, Маркел Петрович, – бесхитростно ответила Анчурка. – Есть кои только сто дают... Таких мало.

– Ага... А может, они, яйчонки-то, маленькие, с орешек? – ковырял Маркел, остервенело щупая белого петуха.

– Не мни петухато... не мни! – И Анчурка так сунула кулаком в плечо Маркела, что тот покачнулся и выпустил из рук петуха. – Не мни, гундосый черт! Кур топтать не будет.

– Ой! Ой! Что ты, Анчурка? Замолчи, Христа ради, – зашипел на нее Давыдка. – Гости ведь они у нас...

– А ну их! Метлой из коммуны!

Гости, покатываясь со смеху, ошарашенные, побежали от птичника, слыша, как их вдогонку костерит Анчурка.

К вечеру представители сел, не порицая и не одобряя хозяйства коммуны, уходили в Широкий Буерак, и тут разгорался горячий спор. Он обычно начинался у Пьяного моста, под расщепленной, старой ветлой, и отсюда рассыпался по селу, по группам. Перетряхнув хозяйство коммуны, люди невольно восхищались посевами, конюшнями, столовой, особенно – курами под командой Анчурки Кудеяровой.

– Один момент! – говорил печник Егор Куваев. – Кура такая есть птица... один момент, – и

шлепал толстыми губами. – Ее, куру, можно заставить каждый день яичко к столу... Такая штука, один момент...

– Что? Куры! – сбросив с себя напускную вежливость, открыто кричал Петр Кульков. – Видал, чем кормят? С пальчика кормят. Да ежели бы мне такие корма дали, у меня не куры, а верблюды во дворе ходили. Верблюды! – частил он.

– Тогда и были бы верблюды, а не куры, – вставил и весь закачался, видимо уже не в силах сдержать себя, плоский чернородый мужик. – Хитер ты, как таракан: в щелку забился, а хвостикши-то видать.

– Ты, Алешин, помалкивай... Могу, могу и про тебя рассказать, – намекнул на какую-то темную историю Кульков.

– Давай, давай, рассказывай, – Алешин метнулся следом за ним.

А Кульков уже катил дальше, налетая на Панова Давыдку, на Анчурку Кудеярову, на Феню, тонко и пошло намекая ей на ее молодость.

Затем он забежал за Маркелом Быковым, и они скрылись вместе в избе Никиты Гурьянова.

– Замучили мужика, – прогнусил Маркел, переступив порог, низко кланаясь всем. – В дырку его загнали. За Ильей Максимовичем, баю, надо послать. И идти с правительством по одной дороге, – добавил, повторяя слова Плакущева, – и вилы в бок воткнуть, чтобы оно крякнуло и не поднялось.

Петр Кульков внимательно и одобрительно посмотрел на него, сказал:

– Таких бы нам побольше – мы мир бы завоевали. Только ты потише, Маркел Петрович: уши кругом. А за Плакущевым пошлем. Напирают на нас. На Бурдяшке особо. Что там делается! Ой!

– Посылайте, – Илья Гурьянов брезгливо поморщился. – Только ведь он такой: как что – тормоз даст. Всю революцию на тормозах едет.

– Пошлите, пошлите за Ильей Максимычем, – посоветовал с печки, грея живот, тоскуя по пахоте, Никита. – Пошлите, а то сноровки у нас нет той, а он сорок лет селом крутил – вот что. И советской власти не трогайте: она землю нам дала. Забыли? Уговорить ее надо, а не с вилами. Пырякие какие, – неожиданно, удивляя всех, закончил он.

Плакущев нарочному ответил:

– Я руки умываю в этом деле. Решайте: головы сами имеете. – И укатил в Полдомасово набирать там новую партию скупщиков лошадей, а в Широкий Буерак послал юродивого монаха.

Юродивый монах, подвесив на шею три истасканные желтоватые луковицы, въехал в село верхом на палочке, крича во всю глотку:

– Горько ешьте, кисло пейте, как Христос велел! – и пошел по селу, толкаясь среди мужиков, прислушиваясь, вставляя в разговор: – Ехал Митька на бочке, ему попались кочки, он думал – гора, хватать – коровьи рога.

– Чего это он? – спрашивали бабы, а мужики сторонились.

– А то, – пояснил Кульков, с подчеркнутой угодливостью ухаживая за юродивым. – Дескать, кругом коровьи рога, а мы силу такую имеем и боимся. На кого Илью Никитича сменяли?... На Шлёнку?... Где он – царь наш Шлёнка?...

– А он муть поднял... на Бурдяшке, – заговорил Митька Спирин, польщенный тем, что сегодня и его пригласили к Илье Гурьянову. – Там... войско свое бесштанное собирает, – добавил, обжигаясь горячим чаем.

– А ты что не там? – с досадой прогнусил Маркел. – Чего ты?

– В обиде я... Никита вон Семеныч, – он повернулся лицом к печке, с которой свисала нечесаная голова Никиты. – Никита Семеныч подсобы не дал: на базар – и то не подвез... мешок до базару на себе пришлось переть.

– Экий! Нашел час обиду иметь. Ты ступай, крути там... ты там свой. Скажи – пахать землю им не будем. Вот и посидят.

– За нами не пропадет, – Кульков похлопал Митьку по тощему плечу. – Лошаденку твою я видел. Сменить надо. И еще занялся чем – кроликами. Ты овец приобрети.

– А кроли по мне и есть скотина.

– На овец держи курс, а не на кролей – в генералы попадешь.

И Митька ушел на Бурдяшку в надежде получить от Кулькова овец.

Бурдюшка раскинулась на бугристом берегу реки Алая, примыкая к задкам Кривой улицы, и походила на своеобразный табор: тут меньше всего было плетней, заборов; места у дворов в улице, ежели Бурдюшку считать за улицу, покрыты были зеленым подорожником, а у ворот редко где стояла пожарная бочка и та – всегда пустая: бурдюшинцев не тревожили пожары, не пугали их так, как пугали, не давая спокойно' спать по ночам, Никиту Гурьянова, Маркела Быкова – крепышей на Кривой улице. Но Бурдюшку обильно поливало солнце, с реки веяло прохладой, и камыш забирался почти под самые крыши, нежа в своих зарослях нырков, в омутах – юркую рыбешку. А главное, трудно было разобраться, кому какой кусок земли принадлежит на Бурдюшке: все селились так, чтобы меньше тратиться на заборы, сарайчики, пристраиваясь к тем, кто уже воздвиг халупу, и поэтому постройки бурдюшинцев, если смотреть сверху, походили на веера, треугольники, квадраты, кресты.

Бурдюшка отличалась от Кривой улицы еще и тем, что тут больше жили малосемейные безземельники, занимающиеся подсобным ремеслом, – сапожничали, плотничали, клали русские приземистые печки, варили самогон всех сортов, начиная с ржавого, кислого и кончая таким, который рвал в клочья рот. Верно, когда-то тут жили и многодушники, вытесненные с Кривой улицы, но потом одни ушли на фронт, там полегли костями, другие, получив земли, перебрались в Кривую улицу и забыли здороваться со своими прежними соседями. На место ушедших пришли выделенцы, молодые мужики, оторванные от корней, отравленные родительской злобой.

И каждый, кто сидел на Бурдюшке, вздыхая, думал, что селится здесь временно, но шли годы, и многие оставались на берегу реки Алая, утешая себя тем, что так на роду написано – жить на Бурдюшке, – и, чтобы легче выдержать насмешку, напивались на базаре, бахвалились тем, что у них на Бурдюшке все полем горожено, небом крыто.

Так жила Бурдюшка и, как ни кочевали люди, оставалась, плодилась, размножалась, пугая, тревожа криулинцев.

– В одночасье провалиться бы ей, – бурчал Никита Гурьянов.

Его постройки задками упирались в Бурдюшку. Около его плетней курили ребятишки. А в весеннюю пору он часто недосчитывался кур, цыплят: бурдюшинские сорванцы ухитрились удочками ловить не только рыбешку, но и кур. Нацепив на крючок червяка, они перекидывали его через плетень, курица хватала червяка и, не в силах сопротивляться, молча шла к пареньку; тот сворачивал ей голову, совал за пазуху и удирал в лес к кострам, где его поджидала орава таких же сорванцов.

Так крали кур у Гурьяновых, Быковых, Плакущевых, – у тех, у кого во дворе было тесно скотине, у кого на амбарах висели тяжелые замки. А когда созревали овощи, бурдюшинские ребятишки дневали и ночевали в огородах, уписывая огурцы, морковь, помидоры, капусту, наводя панику на криулинских баб.

– Мором бы их каким, что ль, взять, – злился Маркел Быков. – Пчел вон на них напустить. – И, продавая свечи в церкви, увещевал бурдюшинских баб: – Чего ребятишки головорезы у вас? Вы бы их Христом пристращали.

– Милицией стращаем – не берет, а ты – Христом!

«А-а, – радостно думал Митька Спириин, шагая по Бурдюшке, направляясь в лачугу Егора Куваева. – Ага. Овцу даст Кульков... а то две, тогда и я король... И за то Шлёнку сколупнуть», – решил он, предполагая встретить Шлёнку у Егора Куваева.

Он его там и встретил. Шлёнка сидел на подоконнике рядом с Епихой Чанцевым и что-то писал, а Егор Кунаев неумело ковырял шилом, не зная, как приладить заплатку к поношенному сапогу. Епиха же, прислонясь к печке, спорил с моложавой Машей, женой Егора.

– Не знаю уж как... больно вы много раев нарисовали, – говорила Маша, крутя концы косынки.

– Эх, ты уж сапожничаеть, – удивился Митька Спириин, войдя в избенку.

– Чего сходнее, за то и хватаюсь... Нонче – сапоги... завтра – валенки. Самовары еще думаю лудить – выгода, говорят, большая. На все руки от скуки. – И Егор Куваев расхохотался.

– А я, знаете, чего, – Митька присел на лавку и сделал серьезное лицо, кривя бровь. – Эти... хахали наши срыв хотят тракторной колонне учинить. А по моему мнению, она и есть наш рай. – Он хотел было схитрить, но, увидав улыбку на лице Епихи, промахнулся и, матерясь, кинул: – Кулаки – живодеры. Особо этот косой, Кульков! Там тебя помоями поливают, – обратился он к Шлёнке. –

«Шлётка, слышь, двум собакам щей как след не разольет, а его нами управлять поставили!» А я им и говорю: «Шлётка у нас башковатый, он уж село выведет на большую дорогу».

– Го-го-го! – захохотал Егор Куваев. – Ничего представил – на большую, слышь, дорогу село выведет! Да ведь на большую дорогу грабить ходють.

– Да нет... не то я хотел, – растерялся Митька. – Не то совсем.

– А чего? – Епиха заелозил около печки и, глядя на Шлётку, легонько закашлялся. – Я вот вчерась сон такой видел: держусь будто я в проходе за печкой у Никиты Гурьянова, собрались это все хахали, а ты, Митька, сидишь, чай хлещешь... Га! – сорвался он. – За чай горячий проданся, за похлоп по плечу кульковской ручкой... Ах, ты! Да тебя мало утопить... тебя... – Епиха вцепился ему в пояс. – Кишки из тебя выпустить за один раз!

– Брось! – сказал Шлётка. – Брось, говорю. Что ты все злость свою раскатываешь? Ничего не значит. Пускай лижет сапоги Кулькову. Есть у нас такие, вроде дерьма...

– Да ведь они... – уличенный Митька забегал глазами по углам и со слезой прошипел: – они ведь жмут, – и весь сморщился. – Жмут. «Эй, слышь, смотри, а то и пырнем!»

– Эх, чего боится, пырнут его! – Егор Куваев повернулся к своей жене. – Пырнут!

– Ну, шуруйте, шуруйте, – проговорил Шлётка, подавая исписанные бумажки Епихе, как бы не замечая присутствия Митьки. – Шуруйте. Зовите народ к нардому, а я в совет пошел.

Звено третье

1

На повестке дня стоял единственный, волнующий вопрос – земля.

Это она создала людей со всего района, забила нардом представителями сел, деревень, растревоженных судьбою загончиков, полос, всего, что скапливалось годами, что пряталось во дворах, избах, подвалах, над чем бились, дрожали, что охраняли, как охраняет медведица свою берлогу с медвежатами, что расценивалось на жизнь – молодую, изуродованную, затоптанную раньше времени, раньше срока.

Это она – земля, незримо присутствующая в нардоме, кричащая со стен плакатами, лозунгами, – заставила стонать по ночам, скрепя сердце подниматься и идти во двор, осматривать хозяйство, гладить под сараем шершавой рукой дубовую стойку, прощаясь навеки с нею, со двором, с избой, где каждое бревнышко, каждый камешек, каждая соломинка были уложены им, хозяином, где он каждую вещь знал – знал, откуда она, за какую из них были смертные бои с соседом по двору, по загонам в поле, по делянкам в лесу, где было все родное, близкое. Та же будто солома на сарае – ржаная, но и не та: своя солома имеет свое имя, своя стойка под сараем – поглядите, убедитесь – совсем не та, что у соседа, хотя из того же дуба, срубленного на горе Балбашихе. Другим стойка кажется простым дубом, а для хозяина стойка – живая. Вот дубок, растущий где-либо в лесу, – хороший дубок, нечего зря говорить, на него любо глядеть, но он еще чужой, не дворовый, а сруби, принеси во двор – и дубок заулыбается, как хорошая невеста, одаряющая всех ласковым словом, после которого хочется долго жить, после которого свет кажется милей, дурак – умней, урод – красавцем... Да, что и говорить: разве бывает так, чтоб свое было немило, чтоб свое ногой попать?

Все было хорошо: текло, как течет Волга, как восходит солнце всегда за Балбашихой-горой, как ходят люди, ступая по земле, а не вверх ногами. Верно, шумели маленько, буянили маленько – те, кто засел там, на «Брусках». Пускай бы шумели, пускай бы буянили: всяк ведь дурак на свой лад с ума сходит... Но вот они снова поднялись – эти неумные люди, затрубили во все трубы, забарабанили во все барабаны, кричат, раздирая глотку! Велят уходить... Теперь площадка у двора, которую он, хозяин, с такой охотой разметал перед тролицей, украшая ее березками, посыпая золотистым песком, – теперь площадка зарастет травой: не постоит на ней телега, как стояла она, бывало, после полевых работ, не ступит на нее и нога коня, – коня уведут на общий двор, на общую конюшню, туда же укатят телегу, унесут сбрую и оставят его одного, хозяина, без лошади, как собаку без зубов.

А жить бы так, как жили: понемногу, по крохам собирать, гнаться за теми – радивыми, кто память по себе оставил шатровыми домами, разукрашенными вензелями, амбарами с тяжелыми замками, сараями – приземистыми, на крепких дубовых стойках. Гнаться, тянуть из себя жилы, но

знать, верить: то, что накоплено, – мое. Мое, не наше. Наши – дорога в улице, вода в реке, небо, поле, а загоны – мои, хлеба – мои, лошадь – моя, баба – моя, моя корова, – тут я весь со всеми моими потрохами: тут и радость и горе мое. Горя много, злости много. А-а, кому на то какое дело? Знаю, лучше хочу жить, лучше хочу есть – не дают: соседи не дают, рвут кусок из рук, потому – люди они, а злее человека зверя нет. А я хочу жить так: одному на земле, с землей, при большом амбаре, без государств, без войн, без газет. Газеты донимают: жужжат то о посевной – сеять не умеем, то об уборочной – жать не умеем, то о хлебе – с хлебом мы не знаем, что делать. Учат. Все учат. А мы, слава богу, век-то прожили не учась – по миру не ходили, в тюрьме не сидели. Слушайте кого, бурдяшинцев? Куда их! Пускай по городам разбредутся: не ко двору они. Ах ты-ы! Вцепиться бы зубами в глотку тому, кто смуту поднимает, кто хочет мужичье сердце пропороть, кровь высосать! Эх, прокричать бы от всей души и, если надо, плакать, брякнуться на колени перед чудаками с «Брусков» и просить: не тревожьте, дайте покою, дайте вздохнуть снова в жизни, – не ломайте того, что годами скапливалось, что полито потом-кровью. Потревожите – обезрадите. А мы – жизнь ухлопали... и, может быть, не только свою... может быть, кто и грех на себя великий принял...

Так рассуждал Никита Гурьянов, и хотелось ему реветь, елозить, биться головой о грязные половицы нар-дома, звать за собой тех, кто страдает, гниет сердцем так же, как гниет он, Никита Гурьянов, и вот не может, не в силах разинуть рот: горечь давит горло, непомерно великая тоска – тоска смертника – трясет его, как перед виселицей. И он, глядя на Кирилла Ждаркина, шепчет еле слышно:

– Пятьдесят четыре мне грохнуло. Своими руками пеньки корчевал – кишки от натуги вылезали. Что уж это – сердца, что ль, у вас нет? Ну, что буяните на весь мир?

«Странно, удивительно! – впервые видя таким Никиту, думает Кирилл. – Глаза какие-то ребячьи, и не подумаешь, что он такой. – И тут же Кирилл припомнил, как умирал сын Никиты – Фома, тихий, мечтательный, а Никита тогда, еще при живом сыне, хапнул из сундука одежонку. – Убьет за вещь кого угодно. Уж лучше разом покончить, чтобы вытравить племя», – решил он и отвернулся от Никиты.

Епиха ползал по краю сцены и, выполняя наказ Шлэнки, дразнил Никиту:

– Удрал ты от меня? Силу во мне почуял, а?

– Уйди, ты. Вон слушай. Агроном, товарищ, гражданин Богданов байт. Слушай. Что пристал, как муха, – ворчал Никита, переходя с одного конца на другой.

– Шепчешься? С кем шепчешься? Трещит, а мы ножичком чик – и поползет? Хозяин! – донимал, снова переползая к нему, Епиха.

– Я предлагаю внести в повестку дня еще один вопросец – от нашего населения, – из дальнего угла поднялся Маркел Быков, прерывая Богданова. – Насчет обхождения с гражданами.

– Ты вносить не можешь: не уполномоченный ты, и вообще вопрос этот давно закрыт. У его бабы пупок зачесался, а он на собрание, – оборвал его Шлэнка. – У себя в церкви ставь. А тут я слово предоставил товарищу Богданову, представителю центра, – для пущей важности добавил он и, повернувшись к Кириллу, сунул ему пакет: – На-ка, подивись.

Богданов, раскачиваясь на маленькой сцене, снова начал рассказывать о том, что около Подлесного предполагается построить крупный цементный завод. Мел для цемента будет братья из утеса Стеньки Разина, а недалеко от Широкого Буерака через несколько дней начнут закладывать новый город на восемьдесят тысяч жителей.

– Утес-то Стеньки не трогайте. Головорезы! – как бы просыпаясь от сна, ничему не веря, выкрикнул дед Пахом Пчелкин. – Не трогайте утес: девчата с ребятами на ём гуляют. Что, гор вам мало?

– Не трогайте, не трогайте! – зачастила и Дуня Пчелкина, пробившись к самой сцене. – Утес изроют. Улицу изроют. Кто вас звал? Кто звал? На кой приехали?

– Тетка! – Богданов повернулся к ней. – Баба ты красивая, дородная, а орешь, как корова.

Дуня вспыхнула и смолкла, а в зале раздался хохот. Смеялись над Пахомом, которому вдруг почему-то стало жалко мелового утеса, смеялись над тем, как укротил неукротимую Дуню Богданов, смеялись и над Митькой Спириным, когда тот тоже, будто пробуждаясь, прохрипел:

– Мы не против того... горы берите. С нас бы, а то ведь нам, – покровительственно разрешил он.

И тут вдруг гаркнул, слыша созвучие в словах Митьки Спирина, Никита Гурьянов:

– Все с нас да с нас, а с бедноты-то когда?. с бедноты?

И все было сорвано: все, что так тщательно готовил Илья Гурьянов, что росло, ширилось, щетинилось в начале доклада, – тут неожиданно обрушилось. Это почувствовал не только Илья, это почувствовал и Богданов. В начале своего доклада он видел перед собой Никиту Гурьянова. Никита смотрел на него, как в былые времена смотрела терпеливая хозяйка на десятника, уводящего со двора за оброк корову. Не только Никита Гурьянов – очень многие в зале смотрели на Богданова так же, приглушенно гудели, репликами, вопросами мешали говорить, и Богданов, вертясь на ногах-коротышках, совсем не заметил, что галстук у него выбился, ползает по плечу, будто змея, лицо мокнет, точно он в предбаннике. А тут умелый ответ Дуне Пчелкиной опрокинул зал, – и Богданов, почувствовав, как большинство, кроме той группы, которая вилась около Ильи Гурьянова, потянулось к нему, распахнулось, заговорил горячо:

– Мы пришли к вам не для того, чтобы поглядеть на вас, поболтать с вами. Мы пришли, чтобы работать вместе, вместе с вами перестраивать мир. Что такое страна – без крупных металлургических заводов, без железных дорог, без крупной промышленности? Китай... Да... Китай, который бьют все, кому не лень. Многие и теперь предлагают вместо оборудования для наших вновь строящихся гигантов-заводов выписать из-за границы за ваш хлеб, за ваш скот, за ваше масло – выписать штаны. Да, штаны, и превратить бывшую Русь в Китай.

– Значит, без штанов пустить хотите? – робко выкрикнул Илья Гурьянов.

– Лучше без штанов, чем в штанах, если их потом будут снимать и пороть розгами то место, откуда растут ноги. А мы хотим выписать машину, чтобы вместе с вами превратиться в передовую страну, чтобы стать сильными. Знаете, слабых всегда бьют.

И тут Богданов рассказал о том, что, помимо торфоразработок на болотах «Брусничный мох», «Шелудивые топи», в ближайшее время в урочище «Чертов угол» начнутся работы по подготовке площадки для металлургического завода, который будет давать стране миллион двести тысяч тонн первосортного чугуна в год.

Зал замолчал, зал притих, как затихает листва на осиннике в безветренное, солнечное утро: гадали ли люди о выгоде, подсчитывая предстоящий заработок, или мечта уносила их дальше, за пределы виданного ими, туда, куда звали их эти неугомонные люди с «Брусков»...

– Один момент... Как это электричество подавать будут в Широкий Буерак, коль даль такая: «Чертов угол». Он верст двести будет? – спросил Егор Куваев, сидя на передней лавочке, и свернулся, не дожидаясь ответа.

Зал молчал.

– Стало быть, примем без прений? – второй раз спросил Шлэнка.

Но к сцене уже шагал Илья Гурьянов, решив вернуть свой неожиданно утерянный авторитет.

– Я хочу высказать мысль середняка, – выпалил он, обращаясь к Шлэнке.

– Давай, да покороче, – предупредил Шлэнка.

– Я хочу говорить с полной откровенностью. Можно?

– Я ж тебе дал слово. Чего ж ты разводишь?

– А не заарестуете?

– А ежели бандюков будешь набирать? Такую гарантию не даю как председатель, – проговорил Шлэнка и, улыбаясь, посмотрел на Богданова и Кирилла, а зал неодобрительно загудел.

– Я думаю, – чуть не запел от радости Илья, – я думаю, из такого высокопоставленного собрания, облеченного доверием населения, бандюков набирать нельзя. Прошу не оскорблять уполномоченных, – и, став в полуоборот, заговорил громко: – Я хочу говорить о кулаке. Кто из нас не знает кулака? Он нам всю шкуру прогрыз. Вот почему я за самое беспринципное раскулачивание. Но слово «кулак» у нас растяжимое, и тех кулаков, кои были до революции, нет, а есть кулаки советские, способные выкручиваться, маскируя свое лицо, что в корне его отличает от середняка. Середняк прост, как светлый день. А у нас часто заместо кулака донимают середняка.

Шлэнка. Кого это? Типично скажи.

Илья Гурьянов (*потешаясь над Шлёнкой*). Кого? Типично? А вот для примера хотя бы Маркела Петровича Быкова. Чужие люди со злом и завистью показывают на его хозяйство, я же с восхищением: у него в хозяйстве каждой палочке место, и оглобли своей рукой сделаны, и телеги и упряжь в порядке, и двор уметан, и погреб, и в погребе есть.

Шлэнка. Ты лазил, что ль, в него, в погреб?

Илья Гурьянов. Я не привык по чужим погребам лазить.

Шлэнка. А чего ж больно расписывать? Ну, молчу, молчу как председатель. Слово за мной

останется.

Илья Гурьянов. Эти люди арбуза не съедят без бережливости семечек. У него к весне всякие семена есть, и каждый бедняк бежит к нему за семенами. Да и как не быть у таких людей? Не зря ведь их «киляками» называют.

Маркел Быков (*из далекого угла, приподнимаясь, растроганно*). Действительно. Работать надо, а не на боку лежать. Спину погнуть! К тому и власть нас призывает.

Шлётка. Ты-то уж спину гнешь... кому только?

Митька Спириин (*он только что вошел в народ, чем-то обозлен, кричит*). Зря говорите! Маркел Петрович спину гнет – не то что мы. Верно, Илья Никитич, – ты как в воду глядел. Вот, к примеру, прошлый год я у него семян арбузных взял, а когда арбузы поспели, он ко мне на бахчу явился да самые крупные – первьяки – и забрал себе в воз. Вот спину погнул.

Шлётка (*хохочет*). А ты зачем брал? От богатых все хочешь развести? Вот и развел.

Маркел Быков (*гундося*). Зря орет!

Илья Гурьянов (*перебивая всех*). Из моего выступления могут понять, что я за кулака, но это не так. Верно: «Изреченная мысль есть ложь», как сказал один ученый.

Кирилл Ждаркин. Это он про тебя сказал.

Илья Гурьянов (*стараясь не обращать внимания*). Из моего выступления могут понять, что я за кулака. Нет. Я просто не нахожу у нас на селе экономических кулаков. А те, на кого указываете вы, мирно войдут в социализм, как об этом утверждает Бухарин Николай Иванович. А других кулаков у нас нет. Покажите-ка мне хоть одного? Ну вот, я к вам обращаюсь. (*Поворачивается к Шлётке.*) Ну?

Шлётка. Продолжай свою сказанию. А я потом на вопросы ответ держать буду... Кого другого, а кулачков найдем.

Илья Гурьянов. Да... Экономических кулаков у нас на селе нет, идеологических сколько угодно. Они есть не только среди простых смертных, но и среди партийцев. Я не люблю их. Но что ж делать – не убивать же их?

Последние слова Илья бросил сурово, и зал перепуганно замер, как перед схваткой двух бойцов.

– Все с нас да с нас, а с бедноты-то когда... с бедноты? – снова грохнул Никита Гурьянов, совсем обалдев, и растопырил руки.

В ответ кто-то хохотнул, но на него шикнули – он смолк. А Илья уже развивал мысль дальше. Он не против колхозов. Нет. Но нельзя же силой навязывать идею коллективизации. И, видя, как у многих на лицах появилась улыбка, какая бывает у подсудимого, когда он начинает понимать, что его оправдывают, Илья приналег:

– А вы что делаете? Вы сметаете с лица земли крестьянские дворы, и мужик принужден вести лошадь, эту основу крестьянина, на базар, продавать ее за бесценок. Надо отменить нажим... пусть развяжутся крестьянские руки, тогда он на добровольных началах пойдет в колхоз.

Никита Гурьянов при последних словах сына надулся, выпалил со злостью:

– Середнота не пойдет! Рази я дам лошадь? Баб бы еще свели на один двор.

Лошади...

Вон они – табуны!

На лугу весной, откормленные для пахоты, ходят: если две во дворе у хозяина – парами, если тройка – тройками, ежели одна – одиночкой. Ходят мирно: отгулялись кобылы, заперты на цепях жеребцы. Резвятся только сосунки, дергая еще не окрепшими ногами, – резвятся двухлетки, носятся друг за другом в стороне от табуна.

Лошади...

Вон они – хрупают месиво у колод, наедаются, чтоб хорошо пахать, чтоб класть борозду к борозде. Чай, не чужому пашут, – себе пашут. И у каждой конюшни сторож, верный сторож, неугомонный: ночь не спит – лошадей кормит, день не спит – на лошадях пашет.

Лошади...

Вот они – масленица! Подкормленные кашей, мчатся вперегонки. Визжат в саях бабы, визжат девки, распевают разудалую парни, мужики, и гремит гармошка. Через ухабы, через ямы, через рытвины! Эх, несутся буланки, карюхи, вороные, серые в яблоках, рысаки! Кто впереди? Никита Гурьянов впереди. Видишь, бороду рыжую ветер треплет, а сам он сидит прямо, будто воткнутой. Сторонись, голь перекатная! Сторонись, нужда беспросветная! Один день, да мой! Один миг, да

сладок! «Догоню тебя, Никита, догоню, трежильный...» – и мчится на своем скакуне-коне, вороном, белоногом жеребчике, Маркел Быков. Сторонись, Никита, дай дорогу: улица не твоя, дорога не твоя, ухабы не твои. Ого! Пришел конец Никите и Маркелу: из переулка рванул на своем Набате Кульков Петр... За шестьдесят верст из Полдомасова прикатил, семь сел объехал, в семи селах всех побил. Теперь к Петру, к его Набату, поведут мужики своих поджарых маток: у Набата глаз злой – волчий, у Набата – нога сухая, как струна, у Набата – шаг широк, четкий, у Набата... Да что там! – в семи селах Набат побил, в семи селах мужики не спят ночей, ждут – буланки, карюхи, сивухи принесут сыновей, дочерей от Набата, таких, чтоб потом Петра Кулькова в овраг спихнуть, да так спихнуть, чтоб не дыхнул он, чтоб там и замер навек. Нет теперь ему дороги: у Плакущева Набат появился, у Маркела Быкова Набат появился, у Никиты Гурьянова Набат появился – во всех селах, в семи селах, сыновья Набата, дочери Набата... Эх! Хлоп шапкой о землю, о снег пушистый. «Закладываю бутылку на Набата. Кто больше? Кто хочет? Кому на душе весело?...»

Лошади...

Вот они – в каждом мужике, в каждом колхознике. Врут, что лошадей им не жалко. Жалко! Врут: у Захара Катаева, сам рассказывал, недавно ночью жена вскочила, затормошила, вскрикнула:

– Захар! Лошади-то замесить забыл.

– Что ты? Чай, в коммуне лошадь стоит, – ответил он.

– А мне, значит, приснилось – наша лошадь в нашей конюшне заржала.

Врут, – о лошади каждый думает, к лошади каждый тянется. У Митьки Спирина меринок с пупырь – к нему тянется Митька, у Пахома Пчелкина на днях лошадь посреди двора грохнулась – белая, костистая, дряхлая, ее бы живую под овраг свалить, а тут все ревмя ревели, около лошадиной падали елозили, вопили: «Кормилица наша, сизушка наша!»

Лошади...

– В газетах пишут, – отвердевшим голосом кидает Илья, – в газетах пишут – хлебозаготовки добровольно. Агитаторы трещат – крестьяне хлеб сдают добровольно, за бесценок валят на сыпной пункт красными обозами! – Он вытянулся и, наливаясь энергией, метнул в собрание: – Красные! Да, красные обозы, с красными знаменами. Но на знаменах – это мужичья кровь!

И зал грохнул в ответ. Рев хлестнул на сцену, от рева закачались красные полотнища, – и все сорвалось, понеслось неудержимым потоком, ломая, коверкая, руша, замыкая, сплывающая людей, толкая их туда – ближе к сцене, к этому коротконогую человеку Богданову, к этому сбежавшему на «Бруски» Кириллу Ждаркину, к этому заброшенному Шлёнке. Казалось, на людей, сидящих на сцене, хлынула волна, готовая унести их и утопить в пучине, смыть все, как смывает полая вода щебень, мусор, унося его в далекий омут, – так ревел зал, ошарашенный, разгоряченный, зал людей земли, людей загончиков.

– Буря! Буря! – кидал во взорванный зал Илья. – Буря! Она началась с последнего партийного съезда... И вот поднимается гнев народный. Гнев народный смел с лица земли Николая Кровавого, сбросил в Черное море рати помещиков...

– Стоп! Стоп! Выхожу на линию огня! – Шлётка, точно кем-то подброшенный, подскочил к трибуне, ударив кулаком в ладонь. – Стоп! – и выругался, грубо, с остервенением, как может ругаться человек, который уже не находит других слов, чтобы заставить слушать себя.

Но его никто не слушал: зал бушевал, точно всполошенное торжище, в зале люди кидались друг на друга, перебрасывали из одного места в другое Илью Гурьянова, жали ему руки, мяли его, кричали на ухо мечту свою, заветную мысль свою, злобу неукротимую.

И вот над трибуной поднялась огромная фигура Кирилла Ждаркина. Не говоря ни слова, улыбаясь, он стал осматривать людей, и зал постепенно начал затихать, а люди кинулись рассаживаться по своим местам, по пути одергивая ретивых.

– Укротитель, – проговорил Маркел Быков.

Кирилл, не торопясь, все так же осматривал мужиков, достал из кармана пакет, который совсем недавно ему передал Шлётка, повертел его в руках, затем вынул оттуда листы исписанной бумаги и, протягивая Илье, спросил:

– Ты писал... твоя рука?

– Моя!.. – Осмотрев листы, Илья побледнел. – Но ты не имеешь права. Это частная переписка.

Граждане!

Кирилл повернулся к Шлётке:

– Откуда достал?

Шлёнка подскочил к нему и шепнул на ухо:

– Елька дала. Говорит, возьми, Вася, пригодится. Только сказывать не велела: он ее ужокошит...

– А-а-а, – догадался, краснея, Кирилл и снова повернулся к уполномоченным. – Да, интересное письмо. Очень. Кому оно адресовано, потом сообщу. А теперь разрешите прочитать?

2

– Себя за волосы дерут: не обдумывают, а голосуют. Голосуй! Руку подымай! Ты поднял ее, пустую-то, тебе что? А я на руке-то корову подымаю, – пробормотал Никита, входя во двор, ставя в укромный уголок под сараем скамейку.

Скамейку он прихватил в нардоме. Когда все, после горячих, длительных прений, метнулись вслед за Ильей, Никита взял под мышку скамейку, на которой только что сидел, и, будто ничего не замечая, в общей суматохе выбрался из нардома.

– Пригодится посидеть аль что, – проговорил он, пряча скамейку.

По скрипучим приступкам крыльца вошел в избу.

В избе все малые спали. Зинка в чулане процеживала молоко – она только что подоила корову, – наемник надевал лапти, готовясь к выезду в поле, а Елька, сжавшись в комок, сидела в передней комнате на кровати.

– Где Илья? – спросил Никита.

– Удрал, – сухо смеясь, ответила она.

– Чего дуровину-то плетешь?

– Какую дуровину? Прибежал несколько тому назад, из подпола винтовку выхватил... вон где таил! – и удрал.

– Угу! Дела, значит, принимают сурьезный оборот, – дрогнувшим голосом проговорил Никита, сядя за стол. – А милиция была?

При встрече с милиционером он испытывал смертельный страх и всегда сворачивал, обходил, пугаясь, что тот может посмотреть ему в глаза, узнать обо всех его проделках.

– Не была, говоришь, милиция? – переспросил он.

– Слыхала, как через двор пробежал кто-то за Ильей. Потом на берегу стреляли.

– Шут его дери, твоего Илью.

– Твоего? Чай, не я его такого состряпала!

– Ну, меня не тревожьте. Дайте мозгой пошевелить. Нонче в поле не поедем, погодим. – Достав из-за висящей на стене картины лист пожелтевшей бумаги, огрызок-карандашик, склоняясь над столом, Никита прикрикнул: – Зинка, слышь, что баю?

– Слышу. Скажу: спит.

И вот перед Никитой всплыл Кирилл Ждаркин. Он, огромный, стоит на трибуне и, улыбаясь, читает письмо Ильи, а в зале все смолкли, смолк даже Епиха Чанцев. Он сидит на конце сцены, около трибуны, поджав под себя ноги, и смотрит на Кирилла разиня рот, как галка.

«Шибздик! – рассматривая его, злится Никита. – Ведь и человека только половина осталась – грудь да башка, а тоже – власть заимел!» И слушает Кирилла, ничего не понимая, удивляясь, почему так внимательно все тянутся к Ждаркину, приложив ладошки к ушам, вытянув шеи, как гуси.

Ага! Илья пишет: «ячейщики народ обманывают». Что ж, есть то маненько, – Никита согласен. Ловушку устроили для крестьян – нэп открыли: торгуй, дескать, мужичок; а потом дверку затворили. Все может быть: каждый человек в жизни своей свои силки расставляет: Никита – свой, Кирька Ждаркин – свой, Плакущев вон – свой. Всяк человек... Ну что ж! Не попадайся, оглядывайся по сторонам. Воробей, который посноровней, и тот в силок не попадает, а снегирь вон дурак, как что – так в силке сидит. Что ж из этого? Но вот тут уже Илья загнул. Налоги, слышь, неправильно на церковников, торгашей. Слышь, церковники, торгаши беднее середноты. Это уж зря! С Никиты, стало быть, надо все брать? Сам поди-ка повозись в поле, а то ведь болтаешь только везде: где народ, там ты языком чешешь! Эко поехал!

– «Система большевиков, – читает Кирилл, – напоминает мне месть Емельки Пугачева русскому дворянству, исторические времена переселения гуннов из Азии в Европу...»

Лист в руке Кирилла задрожал, лицо сделалось пунцовым. Он поднял кверху кулак, не стерпел, стукнул им по крышке трибуны и, срываясь с тихого голоса, оглушающим, зычным басом начал

метать в зал:

– Ты, Илья, в своей злобе, ненависти... Ты вот спрашивал – где кулак? Ты – первый! Ты в своей кулацкой злобе готов замазать Ленина, партию – людей, которые всю свою жизнь отдали на борьбу за освобождение трудящихся... и после этого ты смеешь вот отсюда, перед теми, кто действительно проливал кровь на фронте за дело республики Советов, ты смеешь кричать, что ты защищал и будешь защищать советскую власть, – ты, кто пишет вот такие писульки?!

«Не будет, не будет защищать советскую власть. Знаю я его, – шепчет Никита. – Землю она нам дала, советская-то власть. Только и вы зря поехали!» – хочет он крикнуть, но боится тишины.

Эх, за кол велит Илья браться. Он, кол-то, с двумя концами, – как бы тебе, Илья, по башке не угодил. «За винтовку хватайся» – вишь ты, какой приткий! Ай, дурень, ну и дурень!.. Да разве можно нам за винтовку хвататься? Нам пахать – вот о чем толк идет.

– Так ты, Илья Гурьянов... – прерывает мысли Никиты Кирилл, а зал начинает гудеть, пенится, пучится, как грозная туча вдаль: вот-вот прорвется, полоснет градом, ураганом по полям и вмиг сметет все... – Так ты... – Кирилл задохнулся, потер грудь ладонями, разинул рот, стараясь выдать из себя слова, и никак не мог, а голова у него от нахлынувшего гнева закачалась, как у старика. – Тебе... Таких вот... мы вот под этим, – он большим пальцем отцепил на груди орден Красного Знамени, – давили и будем давить, как вошь! – вытолкнул он наконец.

А Илья метнулся к выходу, ударился плечом в дверь и вылетел наружу. За ним ринулись его сторонники, давя друг друга в проходе.

Никита помнит – улица точно взбеленилась, орала небывалым гулом. Откуда-то выкинули Захара Катаева, затем кто-то резко запел песню и оборвал, кто-то прокричал – будто Захар Катаев, не то кого-то придавили, не то убили... не то Николая Пырякина, не то еще кого. Никита, держа под мышкой скамью, крадучись в темноте, порядками улепетывал к себе во двор, думая только об одном – вот настал час, когда следует и ему раскинуть мозгами. Люди запутались, люди друг на друга с колом кидаются, люди за ружье хватаются, а зачем это, кому это? Кто лучше Никиты знает землю, кто скорее Никиты отыщет в поле загоны? Нет такого человека на свете.

И, сидя за столом, он тихо шевелил губами.

– Обсудить. Раз власть велит обсудить – надо обсудить. Ну, чего мужичьему сердцу не жалко? Земля? За землю платить. Тут перечить никто не может, только плати поровну, чтоб каждый за десятину монету одну и ту же гнал и... одним словом, кем она сотворена – земля? Богом, вот кем. Так чего за нее платить? Впрочем, перечить не будем. Только баб ведь отдельно держим, нет ведь того – кто захотел, тот и лезь на нее, на бабу? «За землю платить мы согласны, – коряво вывел он, – но пускай она как есть останется». Теперь что? Коровы? Что такое есть корова? Корова есть кормилица хрестьянского двора – вот что. Четыре коровы, два подтелка, четыре теленка – десять голов. Свое стадо, – обрадовался он и тут же добавил: – При чем же тут корова, раз она кормилица, за что же с нее плату аль там – в общий двор? С баб ведь платы не берут, на общий двор баб не сгоняют? У хозяйина она в тепле, в заботе, а тут – на-ка, на общий двор под глаз Шлёнки. «Не тревожить скотину!» – вывел он и крикнул. – От! Теперь что? Лошади. Серко. Два мерина. Кобылка. Жеребец. Два жеребенка. Семь голов. Паши-шуруй. Да-а. Что есть лошадь? Лошадь есть конь, стало быть – честный. Маяты за лето примет столько, а его тревожат. Лошадь, слышь, в первую голову на колхозный двор. Это ежели мужику руки оторвать и пустить его в хозяйство, а он, как муха, без крылышков будет, – вот ведь чего мужик без лошади, – с жалостью прошептал он и ничего даже не записал о лошадях. – Хлеб? Он слезой дается. «Посей-ка сам, а он, рабочий класс, пускай в ногах за кусок поелозит», – припомнил он слова Маркела Быкова и написал: «Хлеб тревожить нельзя...» Вот. «И еще насчет порядков – как жить. У нас плетни на огородах каждый год жгут бурдяшинцы, а потому – не позаботится крестьянин зимой навозить дров, – по снегу их можно навозить сколько хочешь, – а весной, хватъ-похватъ, топить нечем. Стало быть, вменить дрова возить из лесу, а то – с огородов плетни тащат. Оно хоть и выгодно это – бесплатно дрова достаются, да непорядок. И еще насчет моды. Моду у нас заводят: на днях Елька, сноха моя, – жена Ильи, и Зинка, сноха моя, – жена умершего сына Фомы, взбеленились: покупай ты им новые ботинки, на каблучках, козьих ножках. А я им и говорю – на днях какую картину видал. Подъезжает Панов Давыдка к станции, на телеге, знашь-ка, из вагона навстречу ему ширк Фенька, дочь его ненаглядная. Он байт: «Садись, дочка». А она топ-топ около телеги – ноги поднять не может: такой мешок на себя напялила, что шагу широкого ей не сделать, а руки голые, грудь голая, ровно она купалась только, да и каблучки на гамашах длинные, шириной с копеечку, а высотой в три вершка. Прыгала, прыгала – и никак. Тогда

Давыдка взял да и посадил ее... Ну, платье – туда-сюда, его можно облагородить: швы распустить, рукава пришить, подол отпустить; а вот с гамашами – подыхай, ничего не поделаешь... Моды нам надо такие, чтоб они к крестьянскому климату подходили, как, бывало, говорил покойник Петька Кудеяров, сапожник из Бурдяшки».

Никита еще раз пробежал написанное, затем подмахнул свою фамилию, приделав к ней хвостик с закорючкой, занес руку, чтобы поставить точку и...

И кажется Никите, – по какому-то неведомому велению превратили его в курицу, такую, какую видел по осени на гулянке во дворе Маркела Быкова, – споенную, ощипанную. И бегают Никита-курица по порядку, и гоняются за ним бурдяшинские ребятишки, подбрасывают крючок с нацепленным червяком и ждут, стервецы, когда Никита клюнет... И хочется Никите клюнуть... и знает: клюнь – сорванцы сцапают, голову свернут и удерут, как удирают они с ворованными курами, на Шихан-гору к кострам и сварят там из Никиты похлебку, будут хлебать, приговаривая:

Был Никита-курица,
Опустела улица,
Опустела улица —
Был Никита-курица.

И не выдержал Никита – клюнул. Дернули ребятишки за удочку, потянули к себе... Пропадать! Пропадать Никите от бурдяшинских шалунов... И закричал он пронзительно, будто ему резали уши.

– Чего ты! С ума, что ль, спятил? – прыгнув с кровати, затормошила его Елька. – Ребятишек перепугаешь.

Никита проснулся. Он сидит за столом, перед ним лист исписанной бумаги, рядом Елька – она в одной рубашонке, второпях забыла прикрыться: груди у нее маленькие, пухлые, а шея – нежная, белая.

– Чего ты? – она ткнула его и, заметя, как он осматривает ее всю, прикрыла груди и, тихо смеясь, скользнула под одеяло. – Писака!..

– Точку вот забыл поставить, – просопел, сам не зная для чего, Никита и поставил рядом со своей фамилией точку.

– Точку? Они вам наставят точек на всяких местностях.

– Илья не пришел? – перевел Никита разговор и, встав с табуретки, приблизился к кровати. – Мальчонку-то задавишь, – добавил он, трогая за плечо Ельку, показывая кивком бороды на сынишку, спящего рядом с ней.

– Знаю я, кого мне задавить надо... Эх, и задавила бы! – мечтательно проговорила Елька. – Кровь бы выпила.

Говоря, она думала о Кирилле Ждаркине, а Никита, заслышав ее игривый голос, пробурчал:

– Зря болтаешь, дуреха. Я о мальчонке, а она – не знай чего.

Елька плотнее закуталась в одеяло.

– Радетель... Зинку вон как приголубил в лесу... Пожалел тятенька-батюшка, свекоружка!

– Цыц! Чего болтаете? Чего все вверх ногами пошло!

– Не кричи. Вот кто-то идет.

К окну подошел десятник сельсовета и забарабанил в подоконник палкой:

– Хозяина, Никиту Семеныча, председатель требует. – Зачем это?

– С добрым утречком хочет поздравить. Чего еще спрашиваешь? Он нонче многих вас с добрым утречком поздравит, Шлёнка-то.

«Не о скамейке ли пронюхал?... Вот и сон – ощишет, как курицу, за скамейку Шлёнка. Эх, ты-ы, на кой пес взял? Что скажу?... Скажу – нечаянно: голова кругом от всего пошла, вот и не заметил, как скамейку прихватил, а когда домой пришел, гляжу – скамейка под мышкой», – соображал Никита, шагая в сельский совет.

В сельсовете перед Шлёнкой сидели мужики, в том числе Маркел Быков. Маркел, задрал голову, смотрел в потолок и почесывал под подбородком.

– Вот, Никита Семеныч, – встретил Никиту Шлёнка, – хлебца надобно.

– Хлебца? – удивленно протянул Никита, стряхивая с себя испуг, становясь покорным, глуповатым. – Хлебца? Пришли, возьми краюху: нонче бабы у нас будут печь... мягкого возьми.

– Ты шутки-то брось. Хлеб государству надо продать!

– Продать? А я ведь не торгую... Это вон Митька Спирин занимается этим делом. Намеднись гляжу – на себе мешок волокет на базар. Подсобить просит...

– Брось притворяться! Шестьсот пудов ты должен государству продать.

Никита ощерился:

– Эко грохнул! Шестьсот! Ты с кем это – с бабой аль один надумал? Да ежели бы у меня столько хлеба... я бы плясал, пра, истинный бог.

– Шестьсот пудов, шутка сказать, – прогнусил Маркел. – Это ведь вагон.

– Я бы плясал, плясал бы, – не находя других слов, твердил Никита.

– Ну, еще попляшешь, – намекнул Шлётка. – Ты в нынешнем году тридцать га засеял, по двадцать пудов с га государству должен дать.

– Откуда тридцать? Ты в окладной лист погляди... Да и то, принять по-сурьезному: у Шапочек не уродилось.

– У тебя у Шапочек сколько загонов было?... Ну, не сочтешь никак? Три, пять – сколько?

Никита поднял глаза в потолок, лицо у него стало глуповатым, растерянным, руки он сложил на животе, присмирел.

– Ну, сколько?

– Мы ведь безграмотны, – вдруг выпалил Никита, даже не улыгнувшись.

– Нашел за что спрятаться. У Шапочек у тебя было семь загонов, у Грачиной гривы – пять, на мутях у болот – одиннадцать. – Шлётка перебрал все загоны у болот, на далях, в поле, смутив Никиту тем, что доподлинно знает, где и чем засеял Гурьянов в этом году.

– Да это же бросовая земля, ненужная.

– Вот ты бы и бросил там хлеб, а то ведь в амбар свез. Ну, зачем ты его копишь? Продашь – машин разных наделают, аэропланов там, – проговорил Шлётка, достоверно еще не зная, для чего такую уйму хлеба понадобилось в этом году государству.

– Иропланов? Я летать не хочу, – ответил Никита серьезно. – Мне на земле и то делов много.

Шлётка долго уговаривал, начиная то с Никиты, то с Маркела Быкова, зная, что, если ему удастся сломить этих и еще Плакущева, тогда хлеб пойдет гужом.

– Сколько же даешь? – наконец обратился он к Никите. – Писать буду.

– Ну, пиши, – Никита сунулся к столу. – Ведро просца от меня.

– В амбар пойду. Смотри, за укывательство!..

– Иди, гляди. – И Маркел Быков положил на стол ключи. – Гляди, смелости коль хватит.

Шлётка уставился на Маркела: он знал – в амбар идти нельзя, запрещено; но то, что Маркел так решительно сунул ему ключи, обозлило его, и он, не имея уже сил отступить, считая, что отступлением он разом провалит всю заготовительную кампанию, сказал:

– Гожа! Пойдем, – и, взяв в руки большие, толстые, с гребешками на концах ключи от амбара, еще раз дрогнул, впиваясь глазами в Маркела, стараясь разгадать, какую ловушку тот ему готовит.

Маркел был спокоен и непроницаем. Он стоял перед Шлёткой так, как будто ничего и не случилось, только левая бровь у него чуть-чуть дергалась да шевелились губы, готовые сказать что-то такое простое, мирное.

«Гад стопроцентный!» – Шлётка обозлился и, желая показать, что он теперь вовсе не боится ни Никиты Гурьянова, ни Маркела, перед которыми когда-то ползал, шагнул к выходу, бросая остальным:

– И вы приготовьтесь. Хахали!

– Ведь это запрещено. По амбарам лазить законом запрещено, – запротестовал Никита, удерживая на пороге Шлётку.

– С добровольного согласия, «безграмотный», – ответил Шлётка, направляясь ко двору Маркела.

– Амбар-то позади двора, – сказал Маркел, приближаясь к своему дому. – Ступай, а я на печке полежу, раз над хозяйством не я хозяин.

Но не успел Шлётка приблизиться к амбару, как Маркел завернул за угол и махнул рукой, словно гоня себе на лицо прохладу, и тут же из переулка ринулись бабы.

Баб вела Дуня Пчелкина. Размахивая сковородником – погнутым, на дубовом засаленном, обугленном черенке, похабно ругаясь, она кричала, показывая черенком вперед на амбар, как предводитель шашкой:

– Пирога не будет... куска пирога не оставят... с голоду, бабоньки, подохнем, в одна лопнуть...

Бабы неслись за ней, поднимая подолами пыль, неистово визжа. Казалось, они все были слепые и бежали за Дуней, точно за своим поводырем, ничего не видя, не слыша, боясь только одного, как бы поводырь не скрылся от них, не покинул бы их, – тогда они одни, щупая окружающий мир своими перстами, разбредутся – обессиленные, обреченные на неминуемую гибель.

Так по крайней мере показалось Шлёнке, когда он повернул голову на бабий визг.

«Убьют», – мелькнуло у него, и он онемел, прицепясь к двери амбара, не в силах вскочить внутрь.

– Мошну ему, мошну выдрать! – орала Дуня Пчелкина, метясь сковородником в лицо Шлёнки.

– Дунька-аа! – закричал он, весь сотрясаясь, видя перед глазами железный, с обтертым углом наконечник сковородника и вспоминая, что вот как-то так же – случайно, неожиданно – был убит Николай Пырякин. – Дунька-аа! – раздирающе прокричал он еще раз и перекинул ногу через порог амбара.

3

Они подходили к Широкому Буераку, но с них были сорваны красные, как маки, флажки, а на переднем развевалось черное полотнище, кричащее угрозой, предупреждением, мстостью, – так тракторы, разминая, коверкая колеистые дороги, вошли в село, сопровождая телегу, запряженную парой лошадей.

В телеге лежал, вытянувшись и став еще более лядацим, Николай Пырякин, а в ногах у него, свеся большую лохматую голову, сидел Захар Катаев.

– Прикончили. Ах, псы, стервецы! – шептал он. – Радость у тебя омерзение к людишкам отбила: со всеми на радостях целоваться лез. – И Захар который уже раз, приподнимая грязное полотенце, всматривался в синее вздутое лицо Николая Пырякина...

Было совсем раннее утро. Захар всю ночь ехал впереди, осматривая дорогу, боясь поломанного моста, топи, а Николай – позади, замыкая колонну тракторов. И утром Захар, как всегда, пропустив мимо себя колонну, поровнявшись с телегой, прокричал:

– С добрым утречком, Коля... сокол, мастер ты наш – золотая ручка!

И не получил ответа: Николай лежал в телеге наискось с петлей на шее. Петля была накинута на шею, а концы веревки привязаны к ногам, ноги круто, плотно притянуты к спине, правая рука подогнута, а левая крепко вцепилась в иаклеску...

– Тихо сделано, тихо, – бормочет Захар. – Кто бы это, а? – И снова напряженно думает он, перебирая личных врагов Николая. «Тихий ведь больно был. Какие враги у такого человека! Ах, мерзавцы! Кто ж, а? – И вдруг он догадался и чуть не вскрикнул: – Яшка! Он, поганец!» – и ярко припомнил, как совсем недавно у Вонючего затона на «Брусках» он случайно столкнулся с Яшкой Чухлявом. Яшку только что изгнали из коммуны, как прокаженного, за попытку выкрасть из детского дома Аннушку, дочь Стеши, – выкрасть, чтоб заставить смириться Стешу, прийти к нему. Настиг и выследил его Николай Пырякин. И вот Захар снова столкнулся с ним. Яшка упал на землю и, колотясь о нее головой, выл.

– Дядя Захар, места себе не сыщу. Удавиться бы, а силов не хватает.

– Глупой! – пожалел его тогда Захар и приподнял за плечи. – Ты иди. При народе умойся... и мы тогда тебя примем. А землю чего башкой колотить? Земля – она земля и есть.

Так тракторы вошли в Широкий Буерак и, сорвав торжество колхозников, выстроились в ряд у церкешки, а поодаль, наваливаясь на ограду, пузырились керосиновые баки, и запах керосина, масел впервые за долгую жизнь Широкого Буерака разносился по улице, тревожа людей, напоминая им о том, что надо решать: не решив теперь же, можешь проиграть, очутиться на отшибе, погибнешь, как гибнет зерно, случайно упавшее на дорогу.

И все ждали – вот на маленькую, только что отстроенную трибуну взберутся те, кто привел тракторы, скажут последнее решающее слово, и как скажут – тому, стало быть, и быть, не миновать. А они не выходили. Третий день тракторы стояли на площади, третий день их палило солнце, третий день трактористы – ребята, девки – бродили по Широкому Буераку, отбивая невест у парней, женихов у девок. Ходили с Феней Пановой. Вот девка! Разбитная девах... Но не было тех, кто привел тракторы, они не показывались, молчали, что-то делали в Алае, – и это томило

представителей сел: они тайком жили в Широком Буераке, гоня нарочных в свои села, поддерживая с ними связь.

В Алае в райкоме партии шло непрерывное совещание. На совещании присутствовали Кирилл Ждаркин, Богданов, Шилов, Захар Катаев и человек в военной шинели. Они искали тех, кто задушил Николая Пырякина, сумев выкрасть у него накладные и отправить плуги со станции в неизвестном направлении.

– Хитро сделано... хитро! – прорывалось у Кирилла. – Зря ты на Яшку показываешь, – отмахивался он от Захара. – Не его ума это дело. Смелости у него не хватит: трус он.

Плуги вскоре были найдены на станции за Полдомасовым, но те, кто задушил Николая, скрылись, не оставя после себя никакого следа. Вначале Кирилл был убежден, что это дело рук Плакушева. Но Плакушев в то время находился в Широком Буераке. На призыв Шлёнки вывезти хлеб он снарядил двадцать четыре подводы, насыпал их зерном и с красным флагом отправил на ссыпной пункт, а когда вернулся, на всю полученную за хлеб сумму купил облигаций. Оставался еще Илья Гурьянов. Но и он не мог этого сделать: он сбежал из нардома уже после того, как Николай был задушен.

И широковцы томились, томились и представители сел, ожидая вскрытия весны; но больше всех сох, не находя себе места, Никита Гурьянов, ожидая ареста. Он не знал, что за него хлопотала Елька. Встретив в райкоме Кирилла, она, вся вспыхнув, тихо сообщила:

– Ты, Кирюша, голоса моего послушай. Не он. Он ежели и задушит, так всем видно станет. Погоди его трогать, а то чего я в хозяйстве одна буду делать? А хлеб у него вот где... в бане. Старую баню знаешь, у нас на речке? Он ее хлебом забил, а потом с маковкой навозом завалил.

И Никита смертельно закручинился, когда из старой бани выгрузили зерно. Днем он скрывался под сараем и, обняв собаку Цапая, жаловался:

– Сердцем гнию, Цапаюшка! Хлебец выкачали, теперь лошадок сведут, коровушек. Кого нам с тобой тогда ласкать-миловать? Караулить кого?

А по ночам выходил за калитку, всматривался в улицу, раздувая ноздри, втягивая в себя запах масел, керосина, крутил головой и, шагая по порядку, задерживался у окон, прислушивался, и чудилось ему – мужики не спят, мужики страдают, гниют сердцем, ходят под сараями, осматривают свое хозяйство и тоскуют в одиночку, как грачи у разоренных гнезд.

«И могут, могут вспорхнуть и улететь, – пришла ему нелепая мысль, чужая, но утешительная. – Грачи по осень куда деваются? – рассуждал он. – Улетают... Вот и тут: вспорхнут – и улетят, как Маркел Быков!»

Вначале ему смешно было слушать Маркел а: тогда старая баня под обрывом была забита зерном – тысяча шестьсот пудов, а теперь баня разворочена, и на него, на Никиту, надвигается гроза. Грозу носит в себе Епишка Чанцев. Только вчера Никита бросился было в поле, хотел пожаловаться загонам, но на гуменнике перед ним неожиданно вырос из-за стога соломы Епиха.

– У-у-у! – зарычал Никита и двинулся на него. – Пригвоздить вот тебя, как таракана! – и занес увесистый кулак над головой Епихи.

А тот засмеялся, тихо проговорил:

– Убей! Тенькни вот меня по кумполу. Да не кулаком. Кол возьми... Меня с духовой трубой похоронят, а тебя, как собаку, – под овраг. Что? Ведь народ-то знает – я за тобой неотлучен...

Никита заскрипел зубами и спрятал кулак в карман, вспоминая, как хоронили Николая Пырякина.

«И это дерьмо так понести могут... честь какая!» – утешил он себя и пихнул Епиху.

– О тебя руки марать и то позор на всю Расею.

– А ты помарай! – дразнил Епиха, поджав под себя ноги, подставляя голову Никите. – Помарай, стукни...

– Ух, ты! Уйди, Епишка! Могу из сердца выйти. Я ведь... я... – И Никита закружился около Епихи, как раздраженный кот около клетки с воробьем.

«Вспорхнут и улетят», – думал он, идя на огонек к избе Филата Гусева, своего закадычного друга и кума.

Постояв у ворот, он торкнулся. Калитка на крепком запоре даже не подалась, словно была навеки заколочена. Никита обошел избу и с переулка заглянул во двор. В задней избе при свете тусклой лампешки сидел за столом Филат. Сидел он, облокотившись о стол, положив голову на ладони, сидел, не шелохнувшись, как бы замер.

«Горе мужика заело. Шутка дело – чего творится: хлеба у него выгрузили без малого тыщу пудов!» И Филат показался ему таким родным, близким, как любимый сын, – «родной сын», – хотел было сказать он, но отцовская любовь к сыну у него давно пропала: один сын умер, другой куда-то сбежал, и вот теперь Никита – расплачивайся за беглеца. «И что это, – думал он, глядя на Филата, – природа как сложена: сроду отцам-матерям страдай, а нет того, чтобы дети за отцов-матерей... И тот, Илька, омерзел он мне: через него баню раскрыли». Немного постояв, жалуясь издали Филату, он перемахнул через плетень и, Подойдя к окну, застучал.

– Кого? Кого? – Филат быстро встряхнулся.

– Я. Я это, – ответил воркующим голосом Никита. – Что, кум, не спишь? Аль хребтину надломили?

– А-а-а, – Филат вышел на крыльцо. – Лошадей караулю. Ведь пахать скоро. Лошадей надо подкормить, а на кровать ляжешь – проспишь. Весна – благодать какая идет.

«Вон чего! – догадался Никита, вспомнив, что ведь и он так же всю весну, все лето спит сидя, – и у него разом оборвалась охота вести душевную беседу с Филатом. – Он еще глупее меня», – решил он.

– А я думал, – заговорил он, – ты чего-то... как бы больной. У меня вот тож животом неладное идет... дай, думаю, зайду, может, у Филата порошки аль что имеется, – закончил он и, не слушая Филата, быстро перемахнул через плетень, мелькнув ногами.

И, шагая к своему двору, он с великой тоской осмотрел село. Оно ему показалось мертвым. Не зря, стало быть, Маркел Быков в первый же день прихода тракторов сказал: «Мертвяка привезли. Видишь, гибель какую машины несут. Ты теперь бай всем: вон из этих баков, – он показал на керосиновые баки, – из этих баков всех кормить будут. Курица! Какая ни на есть у тебя курица, и той не станет. Вша – вот твоя скотина. – Шепотом добавил: – Укачу нонче. Хошь, поедем со мной, не хошь – подохнешь тут псом».

И Никита ждал мертвяков.

Но день начинался как всегда. Зари еще не было – она гуляла где-то за Шихан-горой, тревожа высокие гребни сосен. Однако ведь в Широком Буераке день начинается не зарей, а пробуждением Никиты Гурьянова, Филата Гусева: они в этот час отправляются в поле, потом уже, спустя несколько времени, раздастся рожок пастуха, посвист молока о дно доенок, а следом за этим вспыхивает заря, золотя коньки крыш.

– А вот теперь замучили... и пашите, пашите сами, – сказал Никита, потрясая кулаком. – Понять это можете?... Хоть в гроб ложись! У-у!

И, пугаясь наступающего дня, снова забился под сарай, слыша, как откуда-то со стороны Заовражного вырвался плач. Следом за этим плач поднялся и в Кривой улице – на конце, затем кто-то пронзительно, надрываясь, завыл совсем недалеко, завыл так, точно живому выдергивали ноги, – и разом все село поднялось, заревело, а в небо ударились отблески фонарей, заскрипели ворота, заржали лошади... И Никита со всего разбега сунулся в угол сарая, сдерживая крик, чувствуя, как Цапай лижет его волосатое лицо...

– Сердцем гнию... Цапаюшка, – простонал Никита и, крепко зажав уши, свернулся в ногах у Цапая.

– Тятя... Тятенька, – послышался голос Зинки.

Она стояла на крыльце, держа в руках доенку, – низенькая, круглая, налитая, пробуждая в Никите то же чувство, что и там, в лесу, когда он свернул рысака в сторону на полянку.

– Тятенька, – в страхе говорила Зинка, – семью Маркела Быкова увезли. Всех повезли. В рыдваны посажали. Вон, слышишь, плачут... Чего ты?... Куда ты? – Она остановилась, видя, как перед ее глазами мелькнули ладони Никиты. – Чего ты? Тятенька! С ума, что ль, спятил?

– Утешения ищу: сердцем могу лопнуть.

И Зинка пожалела его.

Успокоенный мимолетной лаской, Никита уснул – тут же, на куче перепрелого навоза.

В это утро и заползали тракторы, стряхивая с жителей сон, страх от ночного плача, и люди лавиной двинулись на площадь у церквешки.

Пришел и Никита, гонимый страхом. Стараясь быть веселым, обходительным, кося глаза на тракторы, отворачиваясь от них, он толкался в толпе, удивляя всех рассказами:

– Эти самые машины, знамо дело, ослобонят нас от муки мучной. Что мы? Как жили? Мир пакостили? Я вот в Китае был, там не так живут, как мы. Пра! Ежели вора пымают, башку ему не

отвернут, то мыша в задницу пустют.

Разговаривая, толкаясь, он случайно приблизился к Пахому Пчелкину и к Катаю. Они стояли позади всех, смотрели на трибуну, удивляясь быстрому бегу фотографа. Фотограф, надев кепку задом наперед, похожий на курицу-хохлатку, носился, взбираясь на колокольню, на крыши изб, забиваясь под самую трибуну, щелкая аппаратом, и все норовил снять Пахома и Катая.

– Нет, ты уж нас не тревожь, – брыкался Пахом, ладошкой закрывая лицо, и, всматриваясь в трибуну, говорил: – Этот, должно быть, последний... одиннадцатый! Ай нет? Вон двенадцатый начинает. Напороли, наговорили воза. А тебе когда?

– Позовут, – отвечал Катай.

– Да-а. Навезли этих штук... да и не знай как. Землю они могут прокоптить: вишь, как фыркают, и все в землю... и примять могут – вон колесища какие. А бывало, ведь как жили – заедешь на волах и целый день одну борозду ведешь. Вот сколько земли было.

– У кого? – спросил Катай.

– У барина, знамо. А где это есть страна такая – Муравия? – обратился Пахом к Катаю.

– Какая такая Муравия?

– А такая... Помнится мне, лет пятьдесят будет тому, а то и больше – от царя комиссия туда собралась, нашей земли прихватили и хотели узнать, отчего она не родит... Там, в Муравии, баяли, земля – шестьсот пудов десятина дает... Так и не сыскали Муравию.

– Вот ведь как! – встрепенулся Никита и ввязался в разговор: – Шестьсот, говоришь?

– Неизвестно, – Пахом отвернулся от него.

Катай, расталкивая локтями людей, пошел к трибуне.

– Ты чего, дедуня? – встретила его Феня. – Ругать нас идешь?

– Нет... не то... слова хочу. Что Захарка мне не дает! Отец, чай, я ему аль нет? Сказки ваши буду слушать! Бестолочи!

– Захар! Дядя Захар! – прокричала Феня, вертясь на трибуне. – Дед Катай хочет говорить. Гони этого! – Она толкнула оратора от стенной газеты.

Захар, смахнув с головы картуз, облокотился на трибуну.

– Дедушка Катай присовет нам хочеть дать, граждане товарищи! И прошу тишину на такой случай.

Катай всходил на трибуну медленно, с одышкой. Пока он всходил, гул в толпе смолкал, люди же двинулись ближе к трибуне, и дедушка Пахом посоветовал в тишине:

– Ты их гожей катни. Пускай по старикам глядят... Как мы, примерно, работали... кишки из тебя вылазили на корчовке, кишки горстями вправляли. Вот ведь как катал! Не зря кличку получил – Катай.

– Прискажу, – Катай отмахнулся и долго смотрел на народ с высоты, то поднимая, то опуская руку. – На моей памяти, – начал он, удивляя Пахома своей смелостью, – на моей памяти все было. Палками землю ковыряли. Соха пошла – лемеха деревянные – ей ковыряли. Плуг появился! Плуг не принимали: плуг долго с сохой спорил, перебил соху – им ковыряли. И трепались, батюшки мои, трепались, кидались по полю, как зайцы. Отчего заяц косою, отчего он иной раз в рот собаке несется: трус он несусветный... И мужик трус: ему бают вот чего, а он со страху, зажмуря глаза, шарах в сторону – в яму кувырк вниз башкой... Вот и теперь кони какие появились. Такими конями землю ковырять нельзя: они сами пашут, вот что. А ежели...

А Никита сторонкой, чтоб его никто не заметил, пробирается к своему двору.

«Муравия. Значит, она есть, страна такая: Маркел-то Быков удрал. Выберет себе там хорошую землю, а ты приезжай, глодай объедки... Епишка бы только не подметил...»

И поздно ночью, когда широковцы полегли в тревожном сне, Никита, положив в окованную железом телегу узелок с землей, три пятерика муки, спустил с цепи Цапая, сказал ему:

– Теперь ты мне больше не нужен. Откараулился. Беги, гуляй себе, сучнишек выбирай, а мы вот с Серком в путь-дорогу, – и на рысаке выехал со двора, и с той поры канул, как сквозь землю провалился»

Звено четвертое

– Сиди смиренно и не рыпайся, – тихо предупреждает Богданов, усаживая Кирилла в лодке, прикрытой камышом. – Они полетят на заре, будут падать сверху в воду, тут и бей.

– Так просто? – Кирилл усомнился. – Упадет, а я – хлоп?

– Не ори! Хлопальщик! Это тебе не тетя. – Богданов оттолкнулся на второй лодке и, утопая во тьме, проговорил глухо: – Я сяду вон на том озере.

– Да тети-то и на тебя летят, – спохватившись, пустил вдогонку Кирилл, намекая Богданову на его слишком теплую заботу о своем шофере – Стеше Огневой.

– Ну, нашел кому завидовать. Лев завидует комару.

– Хорош комар.

– Не ори!

Кирилл впервые взял в руки охотничье ружье, не зная ни правил охоты, ни страсти охотника. Он над охотниками всегда издевался, особенно над рыболовами с удочками, говоря: «У этих собачья старость появилась». Не понимал он и Богданова – спокойного, уверенного в себе, в своих поступках там, на берегу, и торопкого, раздраженного, делающего все как-то крадучись вот здесь, на озере.

«Уселся, – решил Кирилл, представляя себе Богданова – напряженного, всматривающегося, – как собака на стойке. – Надо и мне приноровиться. Охотничек!» – посмеялся он над собой и, раздвинув камыш, прицелился в мнимую дичь, щелкнул языком и, опуская ружье на край лодки, замер.

Так началась охота Кирилла Ждаркина.

Вначале ожидание томило его, как томит оно пассажира на глухом, засыпанном снегом полустанке. К тому же его беспощадно ели назойливые комары – они лезли в нос, рот, уши, лепились на шее, вились над ним роем. От них хотелось бежать, зарыться в дымовую завесу, и все-таки, помня наказ Богданова, он сидел, не шелохнувшись, глядя в одну точку, туда, на прогал озера – гладкого, блестящего, как вороная спина откормленного коня, ожидая – вот-вот упадет утка, а может быть, две, три, десяток.

Гладь озера казалась то серо-пепельной, то темно-зеленой, травянистой, то вот откуда-то набежала тень, вода нахмурилась, стала черно-лаковой, все куда-то провалилось, и перед Кириллом зазияла, зыблясь, глубокой пропастью черная яма. Так было несколько секунд. И опять откуда-то хлынула серая волна, быстро сгоняя чернь. Будто из тумана выплывает противоположный берег, заросший травой-резучкой. Трава-резучка походит на погнутые, ржавые ножи, торчащие черенками вниз, а возле расстелился ковер водяных кубышек – белоголовых, ярких, стиснутых широкими остроухими листьями. Листья от каждого дуновения ветра шлепаются в воду – тяжелые, сочные, жирные... И опять все скрывается, тонет во тьме.

– Экая борьба! – увлекаясь игрой ночи с зарей, проговорил Кирилл и, забывшись, чиркнул спичкой: озеро все встрепелось, точно огромная невидимая птица ударила гигантскими крыльями. Поверхность озера забулькала, заскрипели лягушки, как ржавые петли затворов, а перед самым носом Кирилла выпрыгнул и сел на камыш взъерошенный воробей. Он осмотрел притулившегося охотника, спорхнул на лодку, повертелся и, оставя после себя беленький след, скрылся в камыше.

«Воробей. Живет, братцы вы мои!» чуть не вскрикнул Кирилл и перевел взгляд на озеро.

Озеро, неожиданно пробужденное вспышкой спички, снова вязко дремало. Где-то в стороне прокатился по лесу девичий смех – это запоздалые торфушки возвращаются с гулянки. Смех прокатился и смолк, а на берегу кто-то проговорил звучно:

– Вон там они засели.

– Не тревожь, пускай посидят: в кои-то веки пошли на охоту, – ответил второй голос, и Кирилл узнал Шлёнку.

«Зачем это его сюда притащило? – с досадой подумал он и хотел было крикнуть: – Да, не тревожь, не тревожь!», но тут же забыл об этом, еще больше приковываясь к озеру.

Озеро легонько задышало, выпуская из себя мелкие струйки тумана. Струйки путались в травах, ползли к камышам, обдавая Кирилла холодком; а вон уже вынырнули дали, повороты протоков, запунцовели махалки камыша, ленивые туманы заползали быстрее, торопясь, а гладь озера стала золотисто-пегой. Озеро каждую секунду неуловимо менялось, с каждой секундой все больше выделяло свое разноцветное одеяние – кубышки, извилистые повороты протоков – и обитателей – широконоздрых, с выпуклыми бельмами лягушек, сереньких стрекочущих курочек... и вдруг – это произошло так быстро, словно кто Кириллу закрыл глаза, – вдруг все окуталось тьмой, и с такой же

быстротой вспыхнул, как огромная электрическая искра, свет, – бурно заиграла заря, угоняя, вытесняя ночь.

«Прыжок! – чуть не закричал Кирилл. – Вот это ловко!»

И в эту минуту совсем недалеко от него, по правую сторону за камышом, что-то заплескалось, потом белое пятнышко метнулось через камыш, и Кирилл впервые за свою жизнь увидел купающуюся дику утку. Она высоко подняла крылья, разводя ими, потянулась, покачиваясь, затем сунула голову в воду и, вся изгибаясь, вздрагивая, окатилась, брызгая во все стороны, смывая с себя пыль полей, замирая, нагибала голову, вытягивая шею, всматривалась круглыми глазами в ту сторону, где стояла лодка, и, очевидно не замечая опасности, снова принималась купаться, бурно плеская водой, как плещется девка, вошедшая на заре в реку. Вот она, ударяя грудью о гладь озера, ныряя, вся извилась, чуточку подпрыгнула и снова потянулась, замахала крыльями, обдувая себя свежим ветром, – сытая, довольная.

«Он, какая! Бить надо, бить, – Кирилл заторопился, вскинул ружье, сажая утку на мушку. Ружье заходило в руках. – Так промажешь, промажешь», – начал он утихомиривать себя, но тут же снова, испугавшись, что утка может уйти, вскинул ружье и спустил курок...

Грохнул выстрел, и листья кубышек, изрешеченные дробью, вздыбились.

– Есть, – прошептал он и, забыв наказ Богданова, двинул лодку на противоположный берег.

Там, где взерошились изрешеченные дробью листья кубышек, утки не оказалось, а он был вполне уверен, ждал: вот она лежит, широко раскинув крылья.

«Как же это, как это я?» – с досадой подумал он и в эту минуту понял страсть охотника: ему и потом часто мерещилась утка с распущенными крыльями, похожая на купальщицу со вскинутыми руками, она снилась ему – эта утка с яркими, как белые лилии, пахами – и тянула его на озеро, в камыш, в прикрытие.

Подъехал Богданов, остервенело ругая его.

– Чего тебя, черта, вынесло? Сказано было – не трогайся с места. Охотничек!.. Что? – тише заговорил он, заметив Кирилла, застывшего в лодке, глядящего в одну сторону поблескивающими глазами.

– Как же это я, а? Как же это? – бормотал Кирилл.

– Ушла? А ты не баловался бы... а то бормочет чего-то и спичкой тоже. Что за игра на охоте!

– Завтра поедем. Непременно завтра, – решительно заявил Кирилл.

В следующую ночь, о чем немало жалел Кирилл, им не пришлось сидеть в камышах: события в Полдомасове сорвали их с болота «Брусничный мох», куда они приехали для установки торфяных машин и осмотра барачков.

Вести о событиях в Полдомасове шли с разных сторон и были противоречивы. Одни утверждали, что полдомасовцы поднялись сплошняком, двинулись на соседние села, всколыхнули их и направились на Илим-город, намереваясь соединиться с полком Красной Армии и всем вместе пойти на Москву, чтобы там предъявить Совнаркому свои мужичьи требования. Говорили: во главе движения стали Плакущев, Илья Гурьянов, Петр Кульков. Но Петра Кулькова Кирилл только вчера поздно вечером видел за шестьдесят километров от Полдомасова, на станции Нессельроде, и это одно уже опровергало первую версию.

Вскоре пришли новые вести, более похожие на правду: полдомасовцы действительно поднялись, разгромили колхозы, убили бывшего председателя колхоза Алешина, развели лошадей по домам, тем и ограничились, однако всюду на перекрестках дорог выставили дозоры – мужиков с кольями, вилами, решив никого не впускать и не выпускать из села, а во главе движения стал ворсе не Плакущев, и не Илья Гурьянов, и не Петр Кульков, а Яшка Чухляв.

– Этот откуда вынырнул? Шантрапа! Откуда, спрашиваю? – крикнул Кирилл, наступая на Шлёнку.

Таким его Шлёнка увидел впервые и, пугаясь, что Кирилл может ударить его, деланно смеясь, пятаясь, проговорил:

– А я-то откуда знаю? Во-та! Ты присядь... присядь на сыру землю, остынь нижним местом.

– Нет, я все-таки не понимаю, чего Шилов путается с ним: давно б надо отправить. Фу, вскипело как все во мне. Ну, ладно. – И Кирилл снова засиял улыбкой. – Я на тебя в шутку, в шутку. – Он помял Шлёнку за плечи. – И вообще – экий страх: герой Яшка! А тебе говорю, – он повернулся к Богданову, – в следующий раз я утку непременно убью, вот увидишь.

– Я доволен, страсть новая в тебе появилась. Теперь ты навеки охотник. И то, что ты подметил

там, и есть диалектика природы, братец мой. Ну, дуй. – Богданов помахал рукой, когда машина с Кириллом соскользнула с бугра в низину, унося этого скрытного человека. – Приезжай скорее. Сядем в камыш! – крикнул он вдогонку и, повернувшись к Шлёнке, спросил: – За что он терпеть не может Яшку Чухлява?

– Обозлился. Он злой и памятный: Яшка трепался много, когда Кирилла Сенафонтыча судили. Он такой, улыбается все, а я иной раз боюсь его такого: за улыбкой-то злость несусветная. Порода такая у них, у Ждаркиных: все с улыбочкой делают. Бывало, на кулачки пойдут, впереди дедушку Артамона выставят, и все улыбаются, ровно мед собираются пить, а вдарят – головы летят. Раз, помню, в кулачном бою Кирилл Сенафонтыч с Никитой Гурьяновым – со своим дядей – встретился, хотел его на кулак поддеть, промахнулся да как в ворота бабахнет! Ворота с петель слетели, а из кулака кровь дрызнула, как из прирезанного барана. Кирилл Сенафонтыч сжал кулак да так с улыбочкой, мягко говорит: «Тряпицу бы мне, жилу перетянуть». Вот они – какая порода.

– Интересная порода, – согласился Богданов, торопко шагая впереди Шлёнки к баракам.

2

В иной год откуда-то издалека поднимаются неумные ветры и гонят через Каспий, через пустынные песчаники мгlistые туманы – суховей, – тогда поля начинают черстветь, реки мелеют, выпячивая тинистые дны, деревья раньше срока сбрасывают листву, и всюду ползет скользкий червь – он ползет по дорогам, забивая колеи, грудится в овражках, тяжелыми серыми кистями висит на суках объединенного дуба, а земля, покрытая старческими морщинами, звенит и стонет, будто древняя старуха, проклиная свою затоптанную жизнь.

В такую годину где-либо за гуменниками появляются новые могилки – без крестов, без убранства, без насыпей, без слез, а весной опустошаются улицы, заколачиваются избы тех, кто не превозмог, кто пал под ударами палача-голода, – и гуляет по ободранным, дырявым крышам сизый ветер, сносит с сараев остатки соломы, гложет за околицей почерневшие кости буланок, карюх, остроухих жеребят и скулит, плачет, пробиваясь в щели покошенных изб.

В такую годину Илья Максимович молотил старые, побуревшие клады ржи и ссыпал сухое зерно в амбары, дожидаясь того дня, когда мужик начнет пухнуть. Да, ждал. Не так, как другие. Другие ждали, моля бога о такой године, другие трясали в такую годину мужиков, особо непокорных, особо тех, кто норовил стать в ряд с владельцами кладей, Илья Максимович не делал того, – он жалел людей... и, чего греха таить, после такой години рос, приобретал иную осанку. Но не его в этом вина: закон такой – сильному подчиняйся, перед сильным клони голову. Воробей и тот боится ястреба: а мир поделен, в миру люди – воробьи, соколы, ястреба, орлы могучие. Сумеешь – расти до орла, не сумеешь – ползай тараканом.

Но вот поднялся иной суховей, невиданный, небывалый. И дождь перепадает, а прохлада окутывает землю, зеленеют листвою дубы и березы, а мужики в тоске с очумелыми глазами, а подчас с буйным озорством, сжав сердце, вонзают нож в горло своей кормилице – корове, гонят со двора лошадь, бьют наповал свиней, овец. Вся Россия поднялась. Все мужичье царство объедается мясом. Мясо едят люди от мала до велика. Мясом обжираются псы, спущенные с цепей, присмирившие, сытые...

Недавно Илья Максимович видел, как Митька Спириин прикончил свою телицу. Телице шел только третий год, и была она игрива и молода, как девица на выданье. Митька долго ходил около нее, называл самыми ласковыми кличками: «Нежданочка», «Красавочка», «Буренушка», а потом, зажмуря глаза, изо всей силы всадил ей топор в белое пятно между рогами. Телица лягнулась на навозную кучу. У Митьки брызнули слезы. Елена взревела, елозя около телицы, вздрагивающей, захлебывающейся в теплой парной крови.

– Кормилица-а! Ба-атюшки-и-и, ды-ы, ба-атюш-ки-и-и! – душилась Елена собственным криком, разнося по улице режущее «и».

– Чего плачешь, Митя? – спросил Плакущев.

– Телица ведь, Илья Максимович... жалко: на весеннем выгуле обошлась. Как теленка выкидывать буду?

– А зачем тюкнул? – намеренно донимал Плакущев. – За такие ведь дела, бывало, мужика народ – в насмешку до гробовой доски.

– А уведут – не насмешка? Уйди! Чего бороду через плетень пустил? Уйди с глаз моих долой!

Ну!

– Ты что меня-то? Я-то тут что? Эх, человек, душой бедный! – тихо проговорил Плакущев и, покачивая рукой слабый кол плетня, усмехаясь, добавил про себя: – Вот так и жизнь качается. Телица живет – жалко: уведут. Зарезал – жалко. Такой он мужик. Что его – то кровно его, то мило. А-а, тарантул жив, не унять тарантулят. Никакими силами не унять, – и, видя в поступке Митьки, в делах тех, кто по ночам украдкой, не сдирая шкур, рубил топором коров, овец, свиней, засаливая мясо, – видя в этом подтверждение своего, наливался силой.

«Были дни, когда уходили, бежали в Турцию, Персию, глухую Сибирь. Зверем жили, огнем палили. Пугачев гулял. Пугачев, что ли, барина вешал? Мужик барина вешал, барчуков, как гнид, уничтожал. И теперь вот поднялась Русь мужицкая – великая, от конца до конца нет краю. С ней пойдем. Детей своих будем есть, себя – вот так, по кусочку, до последней капли, а не сдадим. Стена за нами!»

Так хотел он говорить и теперь, шагая по опытному полю с агрономом Борисовым, Кульковым Петром и Гурьяновым Ильей, злясь на непутевые, извилистые мысли Борисова, и казалось ему – Борисов, сгорбленный, в черном костюме, походит на грача, прыгающего у межи, а Кульков Петр – на дворняжку.

«Экий выюн-ползун!» – ругнул про себя агронома Плакущев и, слушая его, сжал кулак с намерением бросить Борисову в лицо самое колкое. Вот он, Плакущев, давно покинул свое хозяйство, потерял семью, размотал самое дорогое – дочь Зинку пустил по рукам, и каждую минуту его гложет одна и та же мысль: «А ты, агроно-мишка! Какую жертву ты несешь! Ты трясешься над теплым углом, над чистыми скатертями, над дородной белотелой женой и тюлевыми занавесками. Ты плачешь над потерянным, как Митька над телицей». Так хотел сказать, но не в его обычае говорить прямо – пусть через другое о его думах узнает агроном Борисов. Вот кустик пепельной полыни. Плакущев срывает кустик и разминает его на ладони.

– Этой мерзости не полагается у вас в поле быть? – с дрожью прерывает он Борисова. – А вишь, и она есть. – Он истер полынок и бросил его в сторону, на ветер. – Так вот и нас могут на мелкие части – и по ветру. Обязательно могут.

Борисов взъерошился и стал походить не на грача, а на разъяренного кабана в камышах.

– Здорово сказано – могут, могут развеять, а могут и не осилить, если...

– И я, – резко перебил Плакущев, – то и говорю: переломают нас, как полынь, бросят. Да ведь я ее бросил с семенами. И дай срок, тут полынь какая попрет! Вот дождичек выпадет – полынь в сажень будет, – и остановился, погрозил пальцем. – Они нас ломают, а семена остаются. Переломай полынь, брось в землю – коммунист не вырастет, полынь хлынет. В них, что ль, нет полынка! Ого! И в них мужичье семя сидит. «И в тебе», – хотел было добавить он, но вовремя сдержался, заканчивая тихо: – Вера у меня такая.

Борисов весь сморщился, моржевые усы его запрыгали, глаза налились, руки он вскинул, из-под черных обшлагов всплеснулись белые ладони.

– Вера – маяк наш. Да ведь и они не дураки. Противопоставьте. Этот их... недавно выступал против обезлички. Толкуйте его так: он против колхоза, ибо в колхозе – спросите мужика – где его земли, лошадь, корова, хомут? А Бритов и кур всех собрал. Баба за курицу глаза выдерет. Не стесняйтесь клеветы: в политической борьбе для нас клевета первое оружие.

– Чую – за соломинку надо хвататься, коль ко дну идешь. Ложь – соломинка. А вот утешали вы нас иностранными войсками. Отчет можем потребовать? – спросил Плакущев.

– А вы ждете сложа руки?

– Ежели бы сложа, то были бы они у нас беленькие, пухленькие, как у барыньки, – подчеркнул Плакущев, косясь на ладони Борисова.

У Борисова снова дернулись усы.

– Ну, хватит, – оборвал Илья Гурьянов. – Перед боем плакать – наверняка проиграть. Натек-ка. – Он подал карту Борисову.

И все на миг пали на колени.

– Полдомасово – наша твердыня. Отсюда – на Алай, – Борисов повел по карте соломинкой. – Затем – на Никольское, и кругом – на Широкий Буерак всеми силами... А там, – он задержал соломинку на Москве, – к этому времени хлынут полчища, великие силы.

– Угу, – Плакущев первый поднялся с земли, вспоминая тот день, когда они, вот так же втроем – Плакущев, Чухляв Егор Степанович и Пчелкин – склонились над воззванием Карасюка. После

Илья Максимович не раз бил себя кулаком в высокий лоб, браня: «За гнилой сучок ухватился... сорвался, дурак».

«А теперь? Что ж, теперь – нам петля или им петля», – решил он и выпрямился.

– Пока, – Борисов протянул руку. – Старая агрономия умерла, да здравствует старая агрономия!

– Всякий воробей по-своему чирикает, – заметил Плакущев, когда Борисов скрылся в конторе опытной станции. – Руку стал подавать, заноза! А бывало, все в перчатках ходил. Деньги и те через бумажку принимал: брезговал, заразы боялся, сволота поганая.

– Всяко бывает, всяко, – согласился Кульков и заюлил перед Плакущевым.

«Да и ты всю революцию на тормозах скачешь», – подумал о Плакущеве Илья Гурьянов.

Такое мимолетное совещание было несколько дней тому назад, а сегодня Плакущев, побывав в ряде сел, лесными тропами, через болота, иногда утопая по колено в тине, снова пробрался в Полдомасово и задержался на участке Кулькова Ивана – брата Кулькова Петра.

Иван Кульков прожил в отшибе от села на участке около пятнадцати лет, редко появлялся на людях, мало говорил, весь оброс волосами и, широкоплечий, с кривыми ногами, напоминал бурого медведя: когда он поднимался и начинал ходить по избе, то под ним трещали половицы; а ступал он на пятки, выворачивая кривые, сильные ноги, – и всем своим видом: нечесаными волосами, неуклюжестью, как и резким надрывистым басом, приводил Плакущева в трепет.

– Мне кака-никака власть – власть, – гремел он, – только землю от меня не отпущай. Я за землю не знай чего... глотку перехвачу! Вот! Волк я. А меня – в колхоз. Руки там подняли. Бритов баил, руки подняли и, стало быть, мою кобылу свели. Я не подымал. Живу вот и живу. А кобылу отдай.

«Экая несуразица выросла!» – дивился Плакущев, осматривая Ивана, стараясь хоть чуточку растолковать ему ту линию, какую надобно вести, и сравнивал его с младшим братом, "Петром Кульковым. Петр весь подобранный, аккуратный, мягкий, вежливый, и не напрасно его в шутку зовут «Петей Сладчайшим», а этот – весь из земли.

– Силой-то теперь, Иваша, ничего не возьмешь, – говорил он, глядя в голубые, удивительно свежие, детские глаза Ивана. – Силой-то теперь ничего не возьмешь, – и терялся, не находя подходящего слова, которым можно было бы вразумить Ивана.

– Силай? Эка! Силай! – Иван замотал большой головой. – Силай! Намеднись вот случай выпал – сын Петьки, Панкратка... Он ведь, Петька, хоть и в колхоз пошел, да ведь это он все хитрит... а так мы вместе. Намеднись Панкратка заноровился: «Слышь, не хочу жилы тянуть». Бунт настоящий. А я вон взял оглоблю, взгрел его по спине раз пяток. А ты – «силой ничего не возьмешь». А вон – пашет, гляди, – он показал в окно.

Недалеко от избы по полю ходили запряженные в двухлемешные плуги «Сакк» три тройки лошадей. Первую тройку вел Панкрат, и по тому, как он шагал – сутулый, сосредоточенный, – было видно: он затаил в себе злобу, как таят ее обиженные дети. Следом за ним вели лошадей бабы – жена Панкрата, тощая, измызганная, и вдова-молодайка, дочь Ивана. Носились слухи: Иван придушил мужа своей дочери. Года два тому назад зять Сергей, взятый когда-то во двор Кульковых, решил выделиться. Иван долго тянул, потом договорился, вместе с Сергеем поехали в волость подписывать отдельный акт... и тут по дороге пропал Сергей. Было это в весенний разлив, и шел слух, что Иван придушил зятя и бросил в бурную муть реки.

Вспомнив это, Плакущев пристально посмотрел на Ивана и удивился его огромным ладоням. Они лежали на коленях, обхватывая их узловатыми длинными пальцами, и были настолько велики и тяжелы, что казалось – кто-то ладони Ивану приставил нарочно.

«Этими лапами и задавить человека может», – подумал Плакущев и отвернулся к окну.

За окном, во дворе, возилась вся семья Кульковых, выгружали из зимних ям картофель, пололи грядки на огороде и делали все натужно, сумрачно – без радости.

– Да у нас свой колхоз, – с восхищением, свистя, заговорил Иван. – Двадцать восемь своих. А Бритов – «в колхоз!» Не пойду. «Уведем, слышь, коней». Уводи. Колом вон по башке.

– Ругаетесь? – спросил Плакущев, чувствуя в себе все ту же щемящую неясную тоску.

– Ругаться стали. Это так... Внутри у себя ругаться стали. А что? Целковый жалко на сторону пустить. Да и Петька говорит: принять ежели кого со стороны, могут прикрыть за наем чужого труда. Племяшей собрали, сирот. У них отцы-матери в голодный год на могилки отправились. Ну, чай, крест носим! – загремел Иван, тараща глаза. – Вот: из жалости держим. Да все нехватка рук. Вот

беда-дела.

– А народ у вас тощей, – заметил Плакущев, отыскивая причину щемящей тоски.

– Тощеватый. Покою нет... Лошадь и та край знает. А у нас – лето в поле, а зимой делов по уши, да еще... – Иван намекнул на то, что Петр зимой отправляется с сыновьями на Северный Кавказ, закупает там волов на мясо, гонит их в Москву, сдает часть кооперации, а большую – перекупщикам. – А теперича, – зашептал он, – Петька такое дело придумал: лошадей бьет не есть числа, в Москву мясо везет, а оттуда хлебец печеный гонит вагонами в те места, где нужда в нем. И как только ухитряется! Пролаза, каках свет мало видел.

– Ты об этом помалкивай, пожалуйста, – Плакущев даже перепугался такой откровенности Ивана.

– Да ведь я только тебе. И большую деньгу на днях Петька приволок – червонцев мешок. У меня аж охота к ним пропала: много больно. Рупь я вон вижу – цену, червонец цену, а ежели мешок их, так у меня внутри бумажки, мол. И ты, чай, поди, мешок загреб? Нет? – спросил он, заметив, как Плакущев сердито замотал головой... – Ну-у? А я ведь думал, он с тобой вместе. Я ведь дурак дураком в таких делах... А вот и курица. Дорогие нонче куры, – добавил он, глядя, как старуха вынула из печки курицу и поставила на стол. – Садись, гость дорогой, – пригласил Иван и, разорвав несгибающимися пальцами за ножки курицу, будто воробья, положил ее перед Плакущевым. – Ешь. Петьку жду. Телеграм прислал со станции – выехал. И за это я его ругаю: денег ведь телеграм стоит. Целковых полтора, поди! – гаркнул он, и Плакущев снова Дрогнул.

– Ну и голова же ты! – засмеялся он, чтобы скрыть свой страх перед Иваном, перед его огромными ладонями, перед его басом и перед удивительно детскими голубыми глазами в зарослях волос, перед всем им – нечесаным, покрытым землей! – Ешь. Чего на меня глядишь? Чай, я не невеста! Ешь, – и подвинул курицу.

– Это тебе. Нам курицу не полагается: свои увидят, тогда пропадай. Мы мясо...

– Да что ты? – удивился Плакущев. – Неужто уж хозяину и нельзя послаще поесть?

– Мы мясо, – продолжал Иван, – в большой праздник едим... да и то я всегда норовлю коровью голову купить: она сходнее... А вот и наша агитаторка явилась. – Он поднялся навстречу жене Петра. – Петька где? Приехал аль что?

Тонкая, сухая, с перетянутой талией, как оса, Пелагея, жена Петра, присела на лавку и, ни к кому не обращаясь, возбужденно проговорила:

– А на селе чего делается!

– Что так? – Плакущев вытер губы и, не в силах сдержать дрожь, крепко вцепился руками в крышку стола, посмотрел в упор на Пелагею, – она напомнила ему монашку из монастыря Лаврентия на реке Иргизе, куда в былые годы он заезжал для «отдыха души». Там встречались вот такие тонкие, изворотливые, злые в постели. – Что так? – переспросил он, отрывая глаза от густых вздрагивающих ресниц Пелагеи.

– Бабы развоевались – удержу нет: Бритов коров на мясо забрал.

– Тебе в мир надо идти... в мир, – Плакущев повернулся к Ивану. – В миру ум свой показать, в миру. Понимаешь? Вот за мной и за ней иди. – Он дотронулся до плеча Пелагеи и оторвал руку, точно обжегшись. – В миру, – и, отодвинув от себя начатую курицу, вышел из избы, чувствуя в себе все ту же тоску.

Тут, на воле, перед ним ярко всплыло прошлое: Волга, купеческие пароходы, монастырь на реке Иргизе, енотовая шуба, рысаки, и вот он сам шагает по улице Широкого Буерака – он, Илья Максимович Плакущев, старшина.

– Да... в мир надо идти... в мир всех звать, доколь сил хватит, – прошептал он, направляясь в Полдомасово. «Коль щенок кидается на мать свою – грызет его мать; коль сын поднялся на отца – уничтожай сына, чтобы содому-гомору не было. Тот, кто вертеп на земле создает, ему пощады нету». И никогда Плакущев с такой злобой не думал о Кирилле Ждаркине, как вот теперь – в минуты щемящей тоски.

3

В Алае в райкоме партии о событиях в Полдомасове знали не больше того, что уже знал Кирилл Ждаркин. В райкоме он застал Шилова и нескольких членов партии – растерянных, сумрачных. Шиллов сидел на своем обычном месте – за столом у окна, – смотрел на базарную

площадь, на буреющую лужайку и шептал, как старичок, отживший свой век.

– Ты чего колдуешь? Эй, властитель!

– Да ведь смотри, что творится, – Шилов встрепенулся, поворачиваясь к Кириллу. – А в Никольском, говорят, секретаря комсомола убили, в Городне милиционера живьем в землю закопали.

Лицо Шилова одрябло – щеки повисли, нос вспух, стал похож на лежалую репу, а глаза ввалились, ушли под лохматые брови.

«Старость, что ль, его одолевает?» – с неприязнью подумал Кирилл.

– Экий ты! Говорят, а ты и уши развесил. Надо проверить.

– Тебе шутка, тебе шутка: твое дело – знай паши, – перебил его Шилов и заерзал на стуле. – А мне хвост из края наломают: не было еще в моем районе, чтоб мужик с дубьем поднимался. Не было! – Он решительно рубнул рукой. – Да и планы. Все планы к чертям полетят.

Сказав это, он болезненно улыбнулся, понимая, что говорит чушь и тревожит его совсем другое. Он только три дня тому назад послал докладную з-аписку в крайком, уверяя: «В районе все идет благополучно, колхозная волна перехлестнула все проценты, массы заражены энтузиазмом, мы на всех парах катим к социализму», – такую приписку он сделал в конце доклада, а теперь – на-ка вот тебе: в Полдомасове поднялись мужики, в Коло-яре бабы развели лошадей из таборов... В Городне, в Никольском!.. И в самом деле, разве мог Шилов предугадать, разве есть на свете человек, который не прикрасил бы? «Проценты, на всех парах! Энтузиазм! – глядя в окно, издевался он над собой и вздыхал: – Толкнул же меня леший сделать эту приписку... сердце чуяло – не надо...»

– Экая у тебя печаль... экая, – догадавшись о страданиях Шилова, усмехаясь, погоревал Кирилл и предложил держать наготове всех членов партии, комсомольцев, актив, а сам отдал распоряжение оторвать от каждой бригады по два трактора и во главе с Захаром Катаевым послать их на помощь тем, кто уже работал на полдомасовских полях.

– Хорошо... Гожа! – согласился Захар, скрывая от Кирилла, что хотя его и радует такое доверие, но в то же время он побаивается гнилого угла, как он назвал Полдомасово. Он знал, что там столкнется с матерыми староверами, кротами-отрубщиками, с бывшими торгашами-аршинниками, обошедшими всю старую Русь с узелками за плечами. – Хорошо! Гожа! Раз надо – значит, надо, – согласился он. И в ночь перелесками, лесными дорогами, кратчайшим путем повел тракторы, назначив старшим бригадиром Феню Панову. Наутро, когда полдомасовцы еще спали, тракторы уже работали на полях, а Захар, сев в машину, разъезжал по таборам, расставляя трактористов-комсомольцев.

Кирилл в эту ночь по прямому проводу связался с Богдановым, передал ему смутные сведения, рекомендовав остаться на болоте, и даже пошутил: «Посиди в камышах... только мою утку не трогай», – сам же из директора МТС превратился в военкома. Призвав к себе Епиху Чанцева и Шлёнку, он расспросил их о Полдомасове, затем Епиху и Анчурку Кудеярову отправил в полдомасовские края, предложив Анчурке посадить Епиху в коляску, возить по улицам и под видом нищих выведать все, что творится на селе.

Но наутро Шлёнка привел к нему десятка полтора стариков, старух, обряженных в лохмотья, с сумками за плечами. Они хлынули со стороны Полдомасова и, проповедуя Христа, разносили тревожные вести о том, что в долину Паника, в верховьях реки Алая, на аэроплане спустился знатный человек из-за границы. Он зовет всех измаянных в долину – там будет оделять землей и счастьем.

«Люди там, стало быть, бывалые», – решил Кирилл и с этой минуты замкнулся, не доверяя своего основного плана даже Шлёнке.

– Садись, – сказал он Шилову, ведя его за рукав к автомобилю.

– Ты куда меня? Я ведь все-таки секретарь райкома, а ты член ВКП(б).

– И еще член ЦИКа, – пошутил Кирилл.

– А у тебя, между прочим, пушка есть? – спросил Шилов и осмотрел свой наган.

Тревога росла и у Кирилла. Он только старался скрыть ее. Проезжая улицей Алая, он заметил: у дворов как-то по-особенному толпятся мужики. Конечно, среди них уже есть представители Полдомасова. И если движение не удастся перехватить, то они двинутся за полдомасовцами, – тогда волна перехлестнется на другие села, тогда сорвется уборочная кампания...

– Галки полетели! – крикнул кто-то из толпы, когда машина сделала крутой поворот и выскочила из села.

– Не народ, а жуть! – заметил Шилов. – Слышал, злоба какая? У нас в селе нахал на нахале.

Они долго молчали.

«Опять срыв... так каждое лето», – Кирилл злился, глядя на разбросанные в редкой ржице, почерневшие от дождей кучки прошлогоднего иевымоленного хлеба.

– А ведь тут хлеб будет, – вдруг прервал молчание Шилов. – Право же слово! Смотри, рожь какая поперла.

– Еще бы не быть: вагоны хлеба оставили. Чье это поле?

– Полдомасовское тут вклинивается в колоярское.

– Это нам надо на носу зарубить, – резко бросил Кирилл и снова посмотрел на почерневшие кучки хлеба, памятники прошлогодней уборки, и перед ним ярко всплыли дикие лошади.

Они появились неожиданно и неизвестно откуда – пегие, буланые, гнедые – целый табун. Их видели то на болоте «Брусничный мох», то они спускались на водопой к Волге, то мчались, взвихривая пыль, полями, на скакивая на домашних лошадей, уводя их с собой, а иногда прорывались километров за шестьдесят под Илим-городом, вытаптывая овсы и люцерну.

Вначале говорили, что это собрались лошади тех, кто погиб во время бурана. В эту зиму буран действительно свирепствовал несколько дней. Но потом, когда заметили, что лошади при виде человека всхрапывают и, прядая ушами, несутся сломя голову прочь, прячась среди болот, – решили: лошади дикие.

– Дичь прет. Персия! – кричал на базаре Маркел Быков. – Скоро и народ в дикаря превратится: без штанов уже ходим.

Слова Маркела Быкова легли на взмятую мужицкую почву, всколыхнули жителей, и только тут Шилов догадался послать людей на разведку.

– Да это же наши лошади, товарищи. Какие там дикие! Сами вы дикие, – мягко смеялся Петр Кульков, заделавшись председателем полдомасовского колхоза «Красная поляна». – До организации колхоза у нас было четыреста восемьдесят шесть лошадей... Подсчитали, решили лишних свести на базар, а сотенку пустить на волю, пускай отгуляются... А вы скажите – дива какая: то пятьсот не убились, а теперь сотня лишних оказалось, да сотни две продали. Умницы у нас в центре сидят: предсказали, какая выгода от колхоза, ежели просто сложить все крестьянское добро в кучу.

– Да ведь посевы жрут. Ты их загони, а то ноги переломаем, – начал со всех концов получать предупреждения Кульков.

– Вот еще наказание! Ладно. Загоним.

Так по полям, болотам скакали верховые за дикими конями. Раз удалось их загнать. Лошади стали задами в ряд, навалились на изгородь, изгородь с треском полетела во все стороны, а лошади снова кинулись на болота, наводя панику на окрестных жителей.

И все это сделал Кульков...

...У Петра Кулькова, между прочим, две жены. Одна – Настасья, толстая, неповоротливая; вторая – Пелагея, тонкая, шустрая, как оса. Первую он приобрел, будучи еще лесничим, на второй женился совсем недавно, после неожиданной кончины Кузьмы Наждакова. Кузьма замерз в зимний буран, возвращаясь с Петром Кульковым из Широкого Буерака, где они в течение недели гуляли, разъезжая по кумовьям. Он замерз, оставя Пелагее крепкое хозяйство, чистокровного быка Буяна и полсотни овец шлёнской породы. Пелагея у Кулькова объявилась в те дни, когда он выступил ярым защитником колхозов и приобрел от некоторых работников района славу «активиста, истинного советского работника».

– Как же это ты? – спрашивал, удивляясь, Шилов. – Две жены имеешь? И не царапаются?

– Нет. Я над ними долго подготовку вел исподтишка. Говорю: почему петух много кур имеет и куры не ругаются? Ведь не сотворил же господь наш бог так, чтоб на каждого петуха курица? Грех, так и овце грех и курице грех – тварь она господняя.

– Хи-хи-хи! – закатывается Шилов. – А ты... А ты, ангелочек, говорят, с родной дочерью живешь? Правда – нет ли?

– Это, конечно, ябеда. Но мысль я такую развивал. Вот, допустим, у вас есть свой сад. Кто первое яблочко с яблони кушает? Посторонний человек или хозяин? Я так думаю: хозяин. А дочь? Ты ее кормил, поил, ухаживал за ней почище, чем за яблоней. А яблочко созрело – посторонний человек его кушает. Нет, по всем законам природы тебе первое яблочко.

– Ха-ха-ха! – заливался Шилов. – Ну... и пошляк же ты!.. Образцовый пошляк! – И, вытирая слезы, хлопал Кулькова по плечу. – Ну, валяй, валяй! В колхозе образумишься.

Кульков смущенно терся у стола.

– Да уж чего говорить – темнота.

И те, кто хихикал над Кульковым, даже не заметили, как он начал спаивать своих односельчан, кидая на затравку пачками червонцы, крича в полдомасовекой пивной:

– Червяки эти нас заели. Есть один умнейший человек, большой башкан – Илья Максимович Плакушев, старшина бывший. Тот сказал: «Отряхнемся от всего и, как младенцы перед купелью, двинемся в колхоз...»

– Пропить? Сожрать? – донимали его пьяные мужики.

– Отряхнись, как душа велит.

И полдомасовцы, глядя на Кулькова – человека хитрого, пронырливого, видящего «на три сажени под землей», – спешно приступили к ликвидации своего хозяйства, угоня лошадей на базар, коров под нож, и разом, в один день, двинулись в колхоз.

– Сто процентов с лишним, – хвалился Кульков в райкоме. – Знамя красное нам. Мы за знамя в огонь полезем...

– ...Гнило... гнило у тебя в районе, товарищ Шилов, – сказал Кирилл. – Что Кулькову за лошадей сделали?...

– Судили. Три месяца принудиловки приварили с отработкой в колхозе. Да и как осудишь? Хозяйственно поступил.

– В этом и беда: думать ты стал последнее время не тем концом. По-другому бы думал – нашел бы, за что приварить Кулькову.

– Зря ты на него, ангелочек... Право же слово... Эй, Бритов! Бритов! – закричал Шилов и попросил Кирилла захватить человека, шагающего по тропе вдоль шоссе. – Спасение наше... секретарь полдомасовской ячейки. Садись, Бритов, садись.

– Полдомасовский? – спросил Кирилл.

– Нет. Присланный.

Бритов, обозленный, с воспаленными глазами, рябой, как вафля, сел рядом с Шиловым и заговорил резко:

– Настроение у нас, товарищ Шилов, адское, паническое!

– Постой. Ты по порядку. Где был, что у вас там творится? Кто на кого пошел? По порядку, ангелочек.

– Я ездил в край на совещание колхозов. А что творится у нас там, конкретно не знаю. Возможно, что и восстали. Вполне возможно!

– А как же вот ты идешь один туда? Ты по порядку, пожалуйста, ангелочек.

– Они меня боятся, как овцы. Когда колхоз создавал, – как шутнул – загремели пятками. На отруба хотят. Мы им покажем отруба, – проговорил Бритов и потянулся к Кириллу. – Что ты говоришь, товарищ?

– Я говорю, это кулак хочет на отруба.

– Хе, сказанул! Ты что, с луны свалился? Мы всех кулаков давно к ногтю.

– Чудак! Так может и бедняк и середняк сказать, но мыслишку-то ему подбросил другой. Погоди, не торопись, – остановил Кирилл. – Кулак на селе – маяк. Маяк в бушующем море: миллионы мелких хозяйчиков устремлены к этому маяку, как рыбаки, застигнутые бурей. Большинство из них разбиваются вдребезги и все-таки стремятся, потому что ничего лучшего не знают. Обманчивый маяк! Потушить его надо и зажечь наш – колхозный, – говорил Кирилл, слово в слово повторяя то, что несколько дней назад сказал ему Богданов.

– Еще не знаю, кто чудак. «Маяк»! Нашел какой-то маяк, – Бритов нервно засмеялся.

Шилов легонько толкнул его в бок, предупреждая:

– Эй, помалкивай: член ЦИКа.

Кирилл, стараясь не обращать внимания на насмешку, продолжал более повышенным тоном:

– Вот почему вовремя надо было ликвидировать эти маяки, как ликвидировали мы их в Широком Буераке.

– Это так, – более спокойным тоном произнес Бритов. – Так, товарищ. А церковь есть маяк?

– Маяк.

– Ну, вот правда. Мы церковь на клуб повернули. А корова есть маяк? Баба за коровий хвост уцепилась. Куры есть маяк? Мы кур собрали, инкубаторы заложили, сразу тридцать тысяч цыплят вывели – в один присест. Вот колхозная клушка.

– Это ладьи, на которых миллионы стремятся к маякам, – ответил Кирилл, еще не зная, к чему клонит Бритов.

– Действительно. Раз надо тушить маяк, стало быть надо и ладьи разбить. Так, не так ли?

– Убрать, а не разбить, – поправил Кирилл.

– А они, мужики, сами разбивают. Они всю рабочую страну хотят на голодный паек посадить.

Кирилл задал вопрос:

– Ау вас этих маяков много?

– Кулаков? Сплошь, – решительно ответил Бритов, забыв, что говорил раньше.

– Эх, хватил! Это, видно, и взбудоражило село: всех под одну гребенку замели.

– Вы суньтесь, суньтесь только, – чуть не плача от досады, проговорил Бритов: он еще не знал, почему с таким трудом сколоченный им колхоз – колхоз, о котором трубили все газеты, как о примерном, – почему он теперь разваливается с такой неудержимой быстротой. – Вы суньтесь, суньтесь только, – он показал рукой на село. – Одно лицо, один язык.

4

Полдомасово лежало на правом берегу реки Алая, в стороне от железных дорог, на отшибе от тракта, спускаясь южной стороной к поймам и болотам. Поймы и болота, заросшие кудрявым кустарником, камышом, тянулись девять – пятнадцать километров и замыкались вдали дремучим, всегда синим, сосновым бором. С другой стороны села распластались жирные черноземные степи, когда-то усыпанные поместьями мелких землевладельцев. Еще в былые времена, скупив у прогоревшего полоумного барина Сутягина земли, хуторяне разбросались по степи, изрезав ее канавами, плетнями, утыкав избами, гуменниками. Потом хутора были сметены полдомасовцами и владельцы разогнаны по своим краям – в далекую Белоруссию, Украину, Подмоскovie, оттуда они когда-то шли таборами, хватая землю, корчюя пни, выжигая огнем порубки. И теперь еще кое-где после хуторян торчат остатки былого, не разобранные руками человека, раздираемые ветром, морозами, ливнем скелеты печей из белой глины. Они торчат в степи, как древние могильники, заросшие полынком, лопухой жирной лебедой, торчат эти памятники столыпинской реформы, движения миллионов ищущих, мечущихся, гонимых лютой нуждой, жаждой, – памятники горя, слез, тоски беспросветной.

Кирилл впервые попал в полдомасовские края. Всматриваясь в степи, он никак не мог понять, почему вот эти скелеты печей нагоняют на него тоску. Может быть, он за этими белыми развалинами видел себя, корчующего пни на Гнилом болоте, себя, Кирилла Ксенофоновича Ждаркина, стремящегося в одиночку завладеть миром и все больше утопающего в житейской трясине? Может быть, он боялся, как бы снова не пришлось вернуться туда – к одинокому дворику, к своей конюшне, к своим загончикам, и там снова класть печи из белой глины, носить посконные штаны, отращивать бороду?

Возможно, эти развалины смутно напоминали ему прежнего Кирилла Ждаркина, как кандалы напоминают борцу-каторжанину пешие этапы. Ясно же он видел за этими полуразрушенными трубами другое: Русь, огромные пространства страны, усыпанные сгорбленными избами, изрезанные колеистыми дорогами, а по дорогам идут обутые в лапти, в деревянные колодки люди государства русского, подданные православного царя белого. За ними, за этими белыми скелетами печей он видел полчища «пушечного мяса», миллионы, пробужденные треском канонад, гибель сотен тысяч на «славном поле брани» за «царя-батюшку».

И вот поднялись затоптанные люди... Поднялись, выпрямились. И годы... годы суровой, напряженной борьбы. По всей стране ползла вошь – страну косил тиф. Вся страна превратилась в поле битвы, каждый уголок был полит кровью, каждая пядь земли бралась в остервенелом бою. Гибли, умирали славные, не выдерживали слабые, бежали, прятались в лесных трущобах. Стонала, распадалась, разваливалась страна под ударами голода, эпидемий, свинцового града... и, несмотря ни на что, победили... А теперь? Может быть, теперь вернуться к этим белесым памятникам, восстановить еще не разрушенные трубы хуторов и пустить по колеистым дорогам нагую Русь... Или... еще один напряженный прыжок – и тогда навсегда покончить с «маяками в бушующем море»...

– Я как-то спрашивал Богданова: почему он здесь, а не в Москве? Теперь я понимаю: надо ломать, перестраивать страну снизу. И может быть, ты, Бритов, прав. Они могут посадить рабочую

страну на голодный паек – вот те, кто разогнал владельцев хуторов, но в ком еще бьется сила хуторянина.

– А я иной раз покруче думаю: огнем все спалить, – хмуро откликнулся Бритов.

– Обозленный ты человек, – ответил Кирилл и перевел взгляд на реку Алай.

Ни тропочек, ни дорог через поймы и болота не было видно. Только местами, окружая озера, стелились залитые солнцем ковры камыша, трав, мелкого перепуганного кустарника да выпячивались торфяные массивы.

Увидев озера, Кирилл ярко представил себе купающуюся утку.

– Фу, черт! – сказал он. – Как это я промахнулся?

– Где промахнулся? В наши дни промахнуться легко. Я вот тож... – Шилов подошел к нему. – Буза там. – Он показал на село. – Ехать ли?

Напрямик село Полдомасово казалось совсем близко: в улицах были видны разноцветные одеяния баб, толпы людей, а вон кто-то мчится верхом на лошади. «Это, очевидно, вестовой оттуда... они там укрываются в болотах», – решил Кирилл и посмотрел на Шилова.

У Шилова хлопали веки, как у мальчика, который что-то хочет скрыть от взрослого; картуз сполз на затылок, оголяя высокий красивый лоб.

– Непременно ехать. Смелые люди, что ль, перевелись в Союзе? – И Кирилл первым сел в автомобиль.

– Форсить тут нельзя, – проворчал Шилов.

– Форсить тут действительно нельзя, – неопределенно кинул Кирилл.

Шилов толкнул Кирилла в спину.

– У тебя наготове, наготове... пушка?...

Машина въехала в Полдомасово. Кирилл через стекло глянул в даль улиц. Улицы были забиты народом. Машина неслась, горланя в рожок, пугая кур, ребятишек, приостанавливала движение людей. А вот пьяный мужик. Он раскорячился на дороге, развел руки и собирается поймать машину, как ловят на дворе петуха. Шофер делает крутой поворот и мчится мимо.

– Ай, стервозина какая... укатила! – кричит мужик.

У Кирилла задрожали руки, дрожь прошла по всему телу. Такая дрожь бывает у человека, который собирается совершить прыжок с большой высоты: до момента прыжка он волнуется, старается не думать о прыжке, но вот уже взобрался на площадку – надо прыгать, – и все тело сжимается, дрожит, отказываясь подчиниться воле. И Кирилл сцепил зубы, встряхнулся, напряженно всматриваясь в толпы, стараясь по движению, по лицам вскрыть настроение людей.

– Я хочу – без вас. Езжайте прямо, в поле... через часок вернитесь, а меня сбросьте вон там, – проговорил он, показывая на толпу у каменного двухэтажного дома.

– Вы остерегайтесь... оглядывайтесь, – предупредил Бритов. – У нас не народ, а жуть...

5

Люди толпились у каменного двухэтажного дома, сидели на ярусах сосновых бревен и на приветствие Кирилла ответили сдержанно, с холодком, а кто-то даже проворчал:

– Выпрыгнул, как петух.

– Чего бездельничаете? – насторожившись, спросил Кирилл.

– День отдыха.

– Какой?

– Воскресенье... то-бишь суббота, – ответил, смеясь, паренек.

– Нам давно воскресенье, – пробормотал старик настолько тощий, что кожа висела на нем, как халат на колу. – Чай, за нас трактора... а мы – та-ра-ра и в коммунизм без порток. – Это был владелец постоянного двора Евстигней Силантьев, но Кирилл вовсе не знал этого.

После слов Евстигнея Силантьева сдержанность мужиков прорвалась хохотом. Хохот вспыхнул сначала около Евстигнея, потом, как пламя на солому, перекинулся, охватив всю толпу, понесся, сливаясь с выкриками:

– Хо! Молодчина старик!

– Вдарь его!

– Вот это цопнул!

– Ай да Козел!

В выкриках были одобрение и легкая издевка, такая, какая бывает над деревенским балагуром. Кирилл сам было хотел засмеяться и даже протянул руку, чтобы похлопать по плечу Евстигнея, но из толпы выделился Иван Кульков. Опираясь на толстый суковатый кол, он стал рядом с Кириллом, заслоняя его своим огромным телом, и, покачиваясь, забасил:

– Постой-ка, господин хороший аль товарищ. Ты скажи, на кой пес трактор? Лошадь мы на навозе держим, а тут хлеб идет: керосин – хлеб, тракторист – хлеб, куда ни глянь – хлеб, а я на корочке живи.

– А это они нашу кровь умеючи сосут, – подкинул Евстигней и, туго запахивая полы пиджака, словно ему стало нестерпимо холодно, завертелся перед мужиками на тоненьких ножках. – Кровь. Кровь. По всем жилам. Факт!

«Факт! Факт!» Где это я его видел? Фу... Среди чужого народа, как в темном бору, – подумал Кирилл, рассматривая Евстигнея, и по его одеянию определил, что он из голи перекатной. – Забуддыга. За полбутылки глотку дерет. Осадить его», – и резко бросил, давая ответ и Ивану Кулькову:

– Это ты врешь. Трактора меньше хлеба едят, чем лошади.

Евстигней встрепенулся, распахнул полы пиджака и, обкладывая Кирилла матерщиной, метнулся к нему, как скворчиха на kota у гнезда.

– Ты что с нами грубишь? А-а! Чтоб язык у тебя отсох! Пахать мы не умеем? Учить нас приехал! Намеднись вон ребята ради смеху Бритову записку послали: «Товарищ Бритов, лошади с голоду умирают, отпусти, пожалуйста, два десятка кизяков». Так что вы думаете?... – Евстигней подождал и, обводя всех глазками, выпалил: – Отпустил! Только приписку сделал: «Отпустить полтора десятка кизяков на прокорм лошадей». Вот радетьель! Факт!

Кирилл знал, что рассказ этот – выдумка: такой рассказ пронесся по всему району, и мужики это хорошо знают, но вот смеются, будто такое действительно произошло у них на селе. Они смеются, сотрясаясь телами, разиня рот, оскалив крепкие почерневшие зубы, смеются, встряхивая головами, стриженными в кужало, щетинясь зарослями волос на лицах.

«Экие рожи!» – И, сдерживая себя, Кирилл проговорил, глядя сверху вниз на Евстигнея:

– И это ты врешь.

– Ай, «врешь»! Граждане дорогие. «Врешь!» – взвизгнул Евстигней и затоптался перед Кириллом, норовя с тычка ударить его в грудь кулаком, но до груди достать не мог; а улыбка на лице Кирилла обескуражила его, и он повернулся к мужикам, замахал руками, словно пугая кого-то.

Мужики оборвали хохот, нахмурились, и все двинулись на Кирилла, сжимая его в тесном кругу, а Иван Кульков попятился и, опираясь на суковатый кол, тихо зашевелил губами. Рядом с ним из толпы вынырнул Яшка Чухляв. Глубокий, копытом, шрам на его щеке казался совсем свежим, а глаза – серые, с непомерно большими зрачками – светились искорками смеха. Выхватив из-за голенища сапожный нож, он начал водить лезвием по ладони – жесткой, как пятка пастуха.

– И ты здесь? – в упор глядя на него, спросил Кирилл.

– И я здесь, – ответил Яшка и начал заходить Кириллу с затылка.

– А-а-а, – протянул Кирилл, настороженно оглядываясь. Отовсюду на него смотрят хмурые, озлобленные лица, а вон на приступке каменного двухэтажного дома сидит маленький, обросший черной, как лак, бороденкой человек. Он сидит, подтянув колени к подбородку, и молча наблюдает за всеми. Стараясь не упустить из виду этого человечка, Кирилл, улыбаясь, повернулся к Яшке и тут вдруг почувствовал, что от такой улыбки лицо у него стало глупое, как у пойманного воришки.

«Что за игра!» – ругнул он себя и, шагнув к Яшке, сунул руку в карман, процедил:

– Брось ножик... Ты-ы!

Яшка быстро скрылся за спины мужиков, а в глазах Евстигнея блеснул страх: казалось – вот он сейчас закричит, кинется, а за ним метнется и вся толпа, тогда на площади останется Кирилл один и будет громко и нервно смеяться вслед тем, кто в диком страхе шархнулся от него.

Но так ему хотелось. Толпа же стояла в напряженном оцепенении. Возможно, она в следующую секунду попятилась бы от него, возможно и кинулась бы в разные стороны, но тут снова выбрался наперед Иван Кульков и, подойдя вплотную к Кириллу, захрипел:

– Чего буянишь? Ты должен перед народом на колени... землю лизать: народ тебе жрать дает, а ты его... А?! Сказать мы о том не можем, значит, а? Молчать, а? У народа язык отняли, а?

– Вот факт, – не дожидаясь ответа Кирилла, Евстигней вскинул над собой руку, показывая новенький, надетый на палец наперсток. – Вот глядите, при Николашке золотая цена была ему

семишник, а ноне в кооперативе купил – пять целковых. Факт. Защищайте, бабы, советскую власть. Наперсток – пять пудов ржи.

Иван Кульков весь встряхнулся, как лохматая собака, и пошел на Кирилла, а рядом снова вынырнул Яшка Чухляв и, бледнея, потянулся к голенищу. Толпа же загудела, как гудит в бору наступающая буря.

Гул поднялся из задних рядов, затем он пополз на Кирилла, сковывая его, как сковывает реку неожиданный крепкий мороз...

– Дать ему по загривку, – внятно, негромко проговорил кто-то. И все на миг смолкли.

«Тут? Глупо как!» – дрогнуло все в Кирилле, и он, уж не в силах отогнать от себя страшную мысль, растерялся.

– Хоть на пузе солому жгите, а в колхоз не пойдем! – прорезал гул пронзительный женский крик. – Не за то наши мужья кровь проливали!

«Ага! Красноармейка», – спохватился Кирилл и, не отдавая себе отчета, видя, как поднимается неумная волна гнева, крикнул:

– Именно за то и воевали! Ежели бы твой муж жив был, он непременно бы пошел в колхоз!

Странно. Все заулыбались, повернулись в сторону каменного дома, где на приступке сидел маленький человек, подтянув колени к подбородку. И Кирилл решил: это и есть главный вожак. Вот он поднялся, расправил свое невзрачное тельце и, расталкивая мужиков, направился в центр.

«Вот с кем, оказывается, доведется сцепиться. Мал он, неказист. Такие они и бывают. Ну что ж, попробуем!» – И Кирилл сам невольно шагнул навстречу.

– Да я жив, – сказал маленький человек. – Ты кричал: «Ежели бы твой муж жив был». Жив я. Вот он. Да-а, – и потрогал шапчонку, как это делают brave кавалеристы. – А ты не Кирилл ли Сенафонтыч Ждаркин будешь?

– Он, – ответил Кирилл.

– Бона! Вон какой ты стал. А ведь мы с тобой под Перекопом дрались. Помнишь, вестовой у тебя был, Гурок Василий? Я это, истинный бог.

– Гурок! Да нет. Что ты... Оброс как! А? Гурок! Жук! – не зная, что сказать, Кирилл вертел перед собой Гурка, рассматривая его, как рассматривают самую нужную вещь, найденную где-то в подвале. – Корка на тебе... и борода. Ой, какая борода. А нос? Нос все тот же, «истинный бог». Гляди-ка.

– «Гляди-ка», – передразнил Гурок. – Во что «гляди-ка»? Мне ведь не видать. Оброс – это так, – он потрогал рыженькую бороденку. – Да ведь ее можно бритвой, истинный бог. – Он добродушно улыбнулся.

Вмешательство Гурка расстроило ряды полдомасовцев: они узнали, что этот задиристый человек не кто иной, как Кирилл Ждаркин, тот самый Кирилл, о котором они много слышали за последние годы, с именем которого связаны буйные попойки, тракторные колонны, колхозы... И толпа, казавшаяся до этого единой, раскололась.

– Ну, ухач! Смело ведешь себя. – Печник Якунин, улыбаясь, обошел кругом, осматривая Кирилла, и, став рядом, вытер фартуком лицо.

– А я – Гришка Звенкин, местный комсомол в единственном числе, – проговорил тот самый паренек, который вначале крикнул о дне отдыха, и протянул руку. – Вон кому хотели бока намять. Здорово!

– Чего ж тут здорового. Бока хотели намять, а он – «здорово».

– Нет. Я говорю – здорово: здравствуй, значит.

– Ну, здравствуй, здравствуй. – Кирилл поздоровался, отыскивая Гурка.

Гурка трепали совсем неподалеку. На него налетал тот же Евстигней Силантьев, Гурок отбивался, кричал что есть мочи:

– Ты мельницу потерял, рысаков. Теперь в обратную все хочешь. Нет, шалишь, Мигунчик проклятый!

– Гурка подкупили! – с визгом крикнул кто-то и быстро, мелькая спиной со вздернутыми лопатками, кинулся в толпу.

Голос и спина показались Кириллу слишком знакомыми, подозрительным показалось ему и то, что человек, выкрикнув, скрылся в толпе, и он туманно, больше догадываясь, решил: это – Илья Гурьянов.

– Стоп! Стоп! – Кирилл рванулся было за человеком, но вовремя спохватился и, видя, как на

площадь выкатила машина, кинулся к ней.

Из машины ему навстречу выпрыгнули Феня Панова, Стеша, Шилов и Бритов.

Стешу он не сразу узнал – она была в кожаном костюме, в высоких тугих, аккуратных башмаках, а голову ее плотно облегал кожанка летчика.

– Чего это ты кричишь? – спросила она, подходя к нему, насмешливо улыбаясь.

– Так себе. Дельце одно, – оторопело ответил Кирилл и повернулся.

С крыльца каменного дома призывал агитатор:

– В коммуны! Всё в коммуны! Всё, как есть, собрать в одну кучу. Очистимся, отряхнем прах с наших ног, как велел нам Христос и великий учитель Ленин, – в коммуны!

– Кто это такую чушь несет? – спросил Кирилл у Бритова, еще не разглядев за головами полдомасовцев агитатора.

– О-о! Это наш пламенный язык. Пророк двадцатого века.

У Кирилла стиснулись челюсти: с крыльца каменного дома говорил юродивый монах.

– Да-а! – Кирилл совсем деланно улыбнулся и с силой втолкнул Стешу, а за ней Феню и Гурка в автомобиль – Вы останетесь здесь, – сказал он Шилову и Бритову. – А мы?... Мы скоро будем.

– Бона ты какой стал... озона! – не переставая восхищаться Кириллом, бормотал Гурок. – Комиссаром держал себя. А я вот зубами иной раз скриплю, а поделывать ничего нельзя: гнут всех через коленку, истинный бог.

– Вот что, – перебил Кирилл. – Мне кажется – вся шайка собралась у вас тут... и Илья Гурьянов и Плакушев. Вы знаете, кто этот юродивый? Правая рука Плакушева.

– Да ну тебя! – запротестовал Гурок. – Он же у Бритова первый человек: на ячейке всякий раз торчит, беспартийный коммунист, слышь.

– Где твой дворец? – спросил Кирилл.

– Вон, – Гурок показал на маленькую, недавно выстроенную избенку, разукрашенную вензелями под карнизом. – «Мир – хижинам, война – дворцам», – добавил он. – Баба моя вот за избу и держится. Да и мне, признаться, жалко сдавать ее на конюшню.

– А кто этого требует? Что, и ты уж поглупел?

– Поглупел! Бритов на каждом собрании долбит – избы, слышь, на конюшни все сволокем, а потом дом многоэтажный построим.

Звено пятое

1

Одиноким матерым волк, опустив морду в землю, напрягал мускулы короткой шеи, бежал мягко, неслышно ступая по коврам мха. Но спина у него необычно вскидывалась, пушистый хвост, пущенный по ветру, дергался: старый вожак, прославившийся ночными набегами, однажды попал задней ногой в капкан Никиты Гурьянова; капкан он утащил и, забившись в трущобу, отгрыз ногу... И теперь он держал курс на запах мяса, овечьего пота, – туда, к клетям, по знакомым, извилистым тропам, по которым хаживал не раз, увлакивая на спине простодушного ягненка. Добежав до Зеленого логова, на повороте с лесных троп он задержался и, втягивая в ноздри человеческий запах, трепеща, припал к земле, готовясь к прыжку. Старый вожак давно потерял удаль и в эту ночь, гонимый страхом, не мог удержаться на одном месте, часто выскакивал на загривки болот, припадал к земле, высматривая, вынюхивая, тихо повизгивая.

В эту ночь, тревожную, взбудораженную всеми событиями предыдущих лет, люди шли через поймы, болота, шли, таясь во тьме, пугая в своих владениях матерого треного волка; люди шли в Зеленое логово – штаб Плакушева. А отсюда, вооруженные самодельными пиками, обрезками заржавленных винтовок, топорами, вилами, неизмеримой лютой злобой, переправлялись на лодках через реку Алай в Полдомасово, укрывались там в ригах, дырявых овинах, ожидая всеобщего сигнала – гудящего набата.

– Выходов у нас нет, – напутствовал Илья Максимович – Я думал-передумал... в кишках болит. Ни сердцем, ни головой не приемлю. Что делают с веревкой, коль она узлом в дыру не лезет и узел не развяжешь? Отрубают! Отрубать будем. За себя, за детей наших, малюток. Был Минин-Пожарский. В Москве, на Красной, памятник ему. Там стоит и в умах народа держится. Пускай

наши дети помянут нас. Так будет.

А провожая своих сверстников во главе с Маркелом Быковым, сказал им уверенно и спокойно:

– Нам вместе лет не счесть, а из слез наших реки потекли... Теперь реки кровью политы. Да-а. Жизнь ставится на кон... орел или решка. Это знайте. Ну... с богом, что ль.

И всю ночь, вплоть до зари, шли люди, как идут волки, выставив вперед морды на запах мяса, овечьего пота. В такие ночи волки попадают в капканы, зарешеченные ямы, а люди – лезут на огонь, подставляют грудь под пулеметы.

– Да, орел или решка, – еще раз сокрушенно прошептал Плакушев, когда последняя лодка скрылась в камышах, и, войдя в логово, обратился к Илье Гурьянову и Петру Кулькову: – Идите и вы... Власти моей подчиняйтесь, коль доля на меня пала команду вести. Я же приду, коль час мой пробьет. А он близок. Знаю, у тебя, Илья Никитыч, не все по-доброму ко мне лежит. Забыться надобно: не знай, кто жив будет, кто червей кормить. Ну... на победу!

И долго следил он за тем, как лодка с Ильей Гурьяновым и Петром Кульковым, крадучись, шныряла в кустарнике, камыше, петляя водяными прогалами. Затем он выволок из далекого угла Яшку Чухлява, говорящему: – То тебе понять надо – мир легко потерять: отбейся от ста«! Рази я не пошел бы с ними? Да вот, душа не лежит, уши мои не слышат, ум мой не приемлет. Собака и та, коя смелость имеет, гордость, собака и та в почете; цену ей хозяин знает. Наш хозяин – земля-матушка. Эх, люди! Одно помни – не ходи по земле раскорякой – того она не любит...

А Гришка Звенкин в эту ночь спал крепко, безмятежно, до одури, как спят перед праздником в жатву, вымывшись накануне в бане. Вчера, познакомившись с Кириллом Ждаркиным, он по пути забежал к Нюрке Бирюковой, поделился с нею своими тайнами, намекая, что и впредь будет с ней делиться:

– Ежели ты того, значит, как с другом жизни.

– Ой, Гришка! Чего болтаешь? – Нюрка вспыхнула и отвернулась, рдея, будто от пламени.

И Гришка ушел радостный, довольный собой, Нюркой, всем миром и особо Кириллом Ждаркиным, тем, как тот держался перед полдомасовцами; и, шагая к своему двору, он старался шагать так же, как шагает Кирилл: твердо ступая на землю, чтоб влажная от дождей земля зыбилась.

– В Колояре горит, – сказала ему мать утром, когда солнце еще не золотилось в лужах, а на школьной крыше только что еще просыпались галки.

– А тебе что? В Колояре горит, а она стонет. Мать, чего, говорю, спать не даешь?

За окнами гудел набат. Он бухал, ревел, словно колокола висели под потолком избы, и Гришка втиснулся в постель, кутаясь в рваное одеяло, стараясь заснуть, отогнать от себя страх, который всегда при гуде набата поднимался в нем, как волна от бури, отчего ему всегда хотелось бежать или крепко уснуть, чтобы потом проснуться и сказать: «А ведь ничего не было: втемяшилось мне».

Но набат гудел, то отбегая куда-то вдаль, то снова врываясь, стряхивая сон, поднимая в Гришке страх, привитый еще в детстве... и вот снова, как и всегда при гуде набата, перед ним всплыло детство. Отец хватает его, малыша, с постели, бежит с ним по задам, бросает в кустарник на берегу реки Алая. Гришка от обиды хочет заплакать, но его пугают какие-то необыкновенные люди. Они, залитые отблесками пламени, спускают в воду сундуки, сбрую, загоняют лошадей, коров, а на берегу воют, причитают, падают на песок бабы – лохматые, растрепанные. В черном небе носятся раскаленные головешки и гудит набат... Наутро отец, сидя на пепелище, держит Гришку на коленях и молчит, а мать копошится возле дотлевающих остатков. В улице вместо изб торчат обгорелые остовы печей, похожие на «вздыбленных пегих лошадей... Отец тогда так и не вышел из землянки. Его по весне положили в длинный деревянный ящик, унесли за гуменник, сказав Гришке:

– Батка на море плавать поехал.

И с того дня в Гришку вселился страх – трепетный, тревожный, заставляющий бояться набата, чужого шороха во дворе, чужого человека, судьбы, о которой так часто говорили взрослые. И однажды, проснувшись ночью от возни в избенке, он увидел лохматого человека. Человек гонялся за матерью, хватал ее огромными руками, срывая с нее самотканную, морковного цвета, рубашку. Мать, извиваясь, вскакивала на постель, кидалась в чулан, умоляя, выставляла вперед слабые руки, а человек, тяжело ступая на новенькие половицы, вывертывая пятки, хватал ее и тянул в угол.

«Вот она, судьба», – догадался Гришка и закричал пронзительно:

– Ма-аманя-я! Ой! Маманюшка-а!

Мать стащила его с полатей. Грудь у нее вздымается, из-под уха сползает капелька крови, и

пахнет от матери чужим духом, кислым, как от предбанника, а косматый человек сидит на лавке, свесив голову, опустив длинные руки, касаясь пальцами новеньких половиц, и вздрагивает.

– Сынка... Гришенька, – успокаивает мать. – Да это же дядя Ваня Кульков. Подсобить нам пришел избенку достроить. Дядя Ваня. Ваня – гляди-ка.

Потом Гришка чаще стал видеть дядю Ваню. Перед сто приходом мать тормозилась, не находя себе места, часто заглядывала в зеркало и, заметя, что Гришка наблюдает за ней, вздыхала:

– Спи, Гришка, а то волк заест, – и тихо шептала: – Грех на моей душе.

Вскоре приходил дядя Ваня, ставил на стол бутылку и, распивая, глухо бубнил:

– Нет в мире зверя злее человека!

«Значит, и у него судьба», – думал Гришка, жалея уже его. Но когда дядя Ваня тянулся к нему, Гришка кусался, бросал в лицо ему валенки, щепки и визжал, как поросенок, а дядя Ваня, отступив, снова садился за стол.

– Учи сына, Татьяна. Учи уважать, – и смотрит на мать большими голубыми глазами. – Вот за это и должна ты мне отплатить, – добавляет он, туша лампу, беря мать за маленькие, вздрагивающие плечи.

Гришка снова принимается визжать, стучаясь головой о полати.

– Ты, Ваня, не буди его, когда приходишь... не буди, – чуть спустя шепчет мать, уговаривая дядю Ваню.

«Судьба. Она кого хошь в бараний рог согнет», – решает Гришка, повторяя слова взрослых, и сам сжимается, замирая на полатах, слыша, как мать начинает стонать там, в темноте на полу:

– Ваня... Да что ты! Умру я так... задохнусь. Ну, завтра придешь... еще придешь. Милай! Вань!

Утром мать лежит на лавке – серая, почерневшая, смотрит в потолок упрямо, долго. Гришка сползает с полатей, трется около нее, как котенок около печки, затем прикладывается щекой к ее щеке и грозит:

– Вот скоро вырасту я большой... Вырасту.

– Скорей бы, Гришенька... Только до той поры я истлею, повяну, как репей от мороза... Глупый ты... Уйди! – Она сердито отталкивает его и, закрыв глаза, что-то шепчет.

– Чудной пожар, Гришка... И всю ночь кто-то по селу шатался. Вчера в улице колоярских я видела... Надрызгались и шатаются. Зачем они? А поутру крестик мелом у нас на калитке оказался.

– Крестик, говоришь? Вот гады: жить не дают, – Гришка вскочил с постели и припал к окну.

Гул набата плыл со стороны Колояра, – мать не ошиблась; но такой же, только с хрипотой – в Гродне колокол надтреснут – плыл со стороны Гродни.

– Ты, мать, ныть любишь. Говорила – в комсомол не ходи, а вчера товарищ Ждаркин обещал в эмтеэс устроить.

– Один ты у меня... и отец беречь велел...

– «Беречь, беречь!»! – передразнил Гришка и выскочил из избы.

Во дворе пожарного сарая на привязи стояла бурая вислобрюхая, с лохматыми ногами кобыла, отобранная несколько дней тому назад у Ивана Кулькова, о чем мать не знала. Лошадь грызла землю и чавкала.

– Экая обжористая! Ну, поедем!

Сев на лошадь, Гришка направился в центр села к каменному двухэтажному дому, предполагая, что там уже собрались все коммунисты. Потом, после всех событий этого дня, он ярче всего вспомнил, что, выезжая со двора, он думал о Нюрке, о том, какой у нее упругий рот с тонкими губами. Ни у одной девки на селе нет такого рта, как у Нюрки, а когда она смеется, то вся вздрагивает, жметесь бочком, приподнимая плечо.

Из-за угла вывернулся Иван Кульков. Опираясь на дубовый суковатый погнутой кол, он перегородил дорогу, глядя на Гришку голубыми глазами.

– Не ездь. Убьем! И кобылу добром отдай.

«Такой же черт... как и тогда... и глазищи такие же». Гришка, сдерживая дрожь, распахнул полы пиджака, показывая обрез винтовки.

– А это видал? По башке не хочешь?

– И пушка вывалится, как хворостина: народ сильней пушек. Там чужие собрались, – заторопился Иван, – а ты свой. Своей крови проливать не хочу: отдай кобылу.

– А я из тебя давно охоту имею кровь выпустить, как из барана. Сторонись! – И Гришка помчался мимо, прыгая на бурой кобыле, боясь, как бы Иван не ударил ее колом по ногам.

2

На верху каменного дома в комнате ячейки за столом, окружив Шилова и Бритова, сидели коммунисты. Было их одиннадцать человек, и обсуждали они, несмотря на раннюю весну, почему-то вопрос о посеве озимых.

«Перепугались», – решил Гришка и, чтоб дать знать о себе, проговорил:

– А я баб видал... сотнями прутся. У зубастых собрались ночью еще, видно, а теперь я еду, а они вываливаются на улицу толпой.

– Ну, уж и сотни. Две бабы попались, а он – сотни. Панику нагоняешь. – Шилов брезгливо скривил губы. – Что ж, – заговорил он чуть спустя, – ежели понапрут? Тогда одно остается – скажем, воля, мол, ваша. Хотите – в колхоз, а не хотите – как хотите.

– Такой воли у нас нет. – Бритов сорвался и забегал, кружась около стола. – Воля! А ежели они на отруба полезут? Воля!

– Экий ты. – Шилов передернулся, отстраняясь от Бритова, будто от огня. – Торопыга. Партия дала два пути: выбирай – кто в колхоз, кто индивидуально.

– Ого! «Выбирай»! Тут я против тебя попрю. Что товарищ Сталин сказал?

– Колхозы – добровольно, вот что сказал. – Шилов насупился, давая знать, что он вовсе не намерен спорить. – Людей надо уговорить, – добавил он.

– Нет, – не отступал Бритов. – Он сказал: в колхозах наше спасение, и мужику спасение от нищеты там же... И еще – может крах всего пролетарского государства наступить, ежели мы колхозы не создадим. А по твоей дорожке сто лет до социализма не доберешься. А я сам хочу в коммунизме жить и всем велю. – Бритов заговорил горячо, раздувая ноздри.

Коммунисты знали Бритова как человека грубого, нетерпеливого, гигантомана: он все делал в больших масштабах. Недавно он организовал птицеводческую ферму и сразу заложил в инкубаторы тридцать тысяч яиц; решив укрупнить колхозы, он слил восемнадцать колхозов в один, назвав его «Разбегом», конюшню он размахнул на тысячу голов. Материала на такую конюшню не хватило, и теперь за гуменниками зияют ямы. Таким его знали и часто исподтишка потешались над ним.

А вот теперь он показался им совсем другим – человеком, который хочет во что бы то ни стало жить при коммунизме. И не потому ли он так торопко все делает, не потому ли с такой яростью обрушивается на каждого, кто обзаводится своим хозяйством? А разве Алешин не хочет жить в коммунизме? Вот он смотрит на Бритова и тянется, готовый вскочить и закричать так же, как кричит Бритов: ведь он уже давно бьется с полдомасовцами, получил даже от них кличку «Идейник».

– Это действительно так, – согласился Алешин.

– Что за новое дело? – Шилов повернулся к нему: он никак не ожидал, что Алешин поддержит Бритова. – Тебе надо больше прислушиваться к партийной воле как кандидату.

– А есть такие, кто не торопится. В теплый уголок забились, доклады пишат... Им на город наплевать, – резко бросил Бритов.

Шилов, суровым взглядом окидывая с ног до головы Бритова, процедил:

– Во-он ты какой... Я извиняюсь!.. Я тебя за такую агитацию к парответственности привлеку, ангелочек.

– Привлекай. Го! Перед всем миром скажу – в коммунизме хочу жить. А ты окоровился. – Бритов кинулся к окну. – Вот идут. Твои союзнички идут. Вот я их сейчас уговорю.

К каменному двухэтажному дому шли бабы. Они двигались из переулков, улиц, заполняли площадь, наседали на передних, давили их к парадному крыльцу, галдели, как галдят перепуганные галки на ветлах. Бритов высунулся в окно, вслушался и, ничего не понимая, быстро сбежал вниз, крикнул:

– Чего орете? Не понимаю я. Ну, вот ты, Кулькова Пелагея, – больше всех тебе надо, глотку дерешь. Чего тебе?

Увидав перед собой Бритова, бабы на миг смолкли и даже застеснялись.

– Эх, бабы! Красавицы вы мои! Что всполошились? И ты тут, Татьяна? – Он уставился на жену Гурка. – Экая неугомонная.

Бабы молчали, некоторые из них даже попятнулись, а кто-то проговорил:

– Рябой, рябой, а баб любит.

– Они, эдакие-то исковерканные, слаще любят, – подхватила Татьяна, жена Гурка, и залилась злым смехом.

– Это действительно так, баб я люблю! Мне моя баба письмо прислала. «Слышь, повешусь с тоски: долго не едешь». А я вот тут с вами вожусь.

– А на чем повесишься? – спросила Татьяна. – На шее аль на суку?

– От тебя, от такого, на шее у другого повесишься...

– Пра!

– Ты коров отдай, – перебила всех Татьяна, подтыкая концы косынки. – А он – о бабе своей!

– Коров? А сколько коров-то взяли? Восемь... А вас, поди, человек триста прикатило.

– Ты все стадо заберешь.

– Куда мне его?

– Ну, тогда мы и спокойны, – почти шепотом проговорила жена Гурка, осматривая мужиков, стоящих у изб, в переулках.

– А еще чего? – спросил Бритов.

– Выпусти арестованных, – вперед выступила Пелагея Кулькова и завизжала, подпрыгивая: – Бабоньки, не верьте. Ульстит.

– А-а, вон ты чего захотела! Власть заменить...

– Выпусти. Не то разнесем, – угрожающе проговорила Пелагея, вздрагивая густыми черными ресницами. – Выпусти, – и потянулась к Бритову, намереваясь стащить его с крыльца.

– Как! Как ты сказала?... «Разнесем»? Ах ты лахудра! – Бритов сунул вперед руку, и Пелагея не успела моргнуть, как он, ловко схватив ее за волосы на затылке, толкнул к себе за спину.

Толпа дрогнула, затопталась, как топчется конь перед неожиданной пропастью, потом шарахнулась, вскинув сотни шершавых ладоней, и, смятая друг друга, оглушая площадь неистовым криком, бабы кинулись врассыпную, туда – к мужикам.

– А-а! Суки. Покатили! – Бритов потряс наганом.

И в этот миг, точно они только того и ждали, мужики, стоявшие у изб, в переулке, стеной двинулись на каменный двухэтажный дом.

На церквешке ударили в набат.

– Выпусти бабу! Выпусти, рябой черт! – с визгом выкрикнул Шилов.

Шилов вытолкал Пелагею Кулькову из коридора, взбежал наверх, крепко прикрутил за собой дверь веревкой и чуть не плача затоптался перед Бритовым.

– Тебе, рябому черту, что велено? Уговорить? А ты? Черт рябой! Ря-ябо-ой! Вот теперь и гляди... вот и гляди...

Со всех сторон к каменному дому бежали вооруженные вилами, топорами, самодельными пиками, кольями мужики. Впереди всех несся Маркел Быков. Он споткнулся, упал. Иван Кульков перескочил через него и, размахивая колом, со всей силой двинул плечом в дверь парадного крыльца, намереваясь высадить ее, и заревел от ушиба, как раненый зверь. Затем он закачался на кривых ногах, подскочил, ударил колом в верхнее окно. Стекольные брызги со звоном осыпали коммунистов.

«Убьют», – подумал Гришка Звенкин, чувствуя, как у него почему-то начало леденеть во рту.

– Давай его! Давай рябого черта!.. На кол его давай! – кричал Иван Кульков, разрезая гул толпы.

Перед Бритовым вертелся Шилов.

– Уговорил... Уговорил. Не выпустил. А они вон выпустили. – Он показал в окно на Илью Гурьянова и Петра Кулькова, бегущих от кооперативного подвала, куда недавно, перехватив на реке, посадил их Бритов. – Уговорил! Выкинуть вон тебя им, как собаку... В коммунизме хочешь жить. Вот и поживешь. Ну, кто говорить с народом умеет? Алешин! Ты ступай.

– Гриш, – шептал Алешин, глядя в окно на толпу. – Возьми у меня деньги... кооперативные... полторы тыщи.

– На кой мне их! – И, глядя в окно, Гришка онемел, уже понимая, почему так настойчиво сует ему Алешин деньги.

– Ты младенец еще... тебя не тронут, – шептал Алешин.

Шилов оторвал его от Гришки и толкнул к окну:

– Говори! Тебя послушают. Скажи – мануфактуры везем... шесть вагонов.

Алешин встал у окна и, задышавшись, только и успел проговорить: «Товарищи граждане», как кирпич со свистом ударил его в лицо, и он, обливаясь кровью, свалился у подоконника.

– Убили-и! – глухо завыл он, трогая переносицу, не находя на лице носа: под пальцами было что-то трепетное, живое, мягкое. Безумец, с ужасом подумал: «Уродом сделали... безносый... совсем бы уж...» – и забился на полу, не слыша, как сыплется на него штукатурка.

И выстрел... Это Гришка, заряжая обрез, второпях спустил курок. Пуля ударила в пол, рикошетом отлетела, застряв в перекладине.

– Кто стрелял? – бледнея, прошептал Шилов и, уже зная, что стрелял Гришка, проговорил: – Ведь так ты убить мог.

– Невзначай я, дядя Шилов. – И Гришка заплакал.

– Оружие на стол... на стол, на стол, на стол! – скомандовал Шилов. – Именем райкома – на стол... Что, буржуи это для вас, а?

Коммунисты нехотя бросили наганы, а бросив, отошли в один угол. Только Бритов, глядя на Шилова, процедил:

– Убьют. Знаю. Стрелять надо. В крепости сидим. Кто сюда войдет? – Он показал на узкий проход двери. – Давайте один всех задержу.

– На стол наган! Ты уж настрелялся – хватит.

– Бегут... бегут, – обрадовался Гришка.

От каменного дома, слыша выстрел, поспешно отваливала толпа, а на площади, совсем недалеко от парадного крыльца, стоял человек спиной к каменному дому и, вздернув лопатки, звал мужиков:

– Не бегай, эй! Сам военкомиссар не велел стрелять. На штурм возьмем. Туда-а! – и, повернувшись, кинулся к парадному крыльцу.

Коммунисты, ничего не понимая, переглянулись. Они, очевидно, так же недоуменно застыли бы, если бы на месте человека, призывающего взять на штурм дом, увидели Бритова-или Шилова.

– Пойдите-ка... Это ж никак... – первым заговорил Шилов и высунулся в окно. – Яшка! Яшенька Чухляв. Товарищ! – позвал он. – И ты на нас? Да что это ты? Иди к нам... Тебя пустим.

– Ну? – Яшка встряхнул головой, глядя вверх на Шилова. – Пустишь? Погляжу, как ты пустишь.

– Яшку надо наострить, – зашептал Шилов, обращаясь к коммунистам. – Понимаете? Через него повлиять. Как же это он, сукин сын, к ним переключался?

– Теперь все крысы поднимутся, – буркнул Бритов. – Стрелять надо. Гляди, от одного выстрела побежали.

– Стрелять? Стрелок. А, Яша... входи, входи.

Взбегая по узкой лесенке, Яшка подметил – лесенка настолько узка, что, если стать одному в проходе, можно задержать целую толпу.

«Да ведь Шилов на то не пойдет, – решил он. – Бритову бы команду дали!» – и, представ перед Шиловым, выставил вперед ногу.

– Ну?

– Яша! Ты что ж это против нас попер? А я хлопотал, чтобы в партии тебя восстановили. А ты – вон чего!

– Обозлили вы меня.

– Обозлился! Так надо живьем в могилу лезть? Ведь тебя все равно достучают.

– Говори, чего надо, – оборвал Яшка.

– Уломай, чтоб по добру разошлись. Отряд ведь идет. Ежели, нас ухлопают, тогда и их всех перетюкают, как курят.

Яшка долго стоял, рассматривая коммунистов, а они рассматривали его, и у многих в глазах дрожала сдержанная злоба, такая же, какая бывает у арестованных к провокатору.

– А вы меня потом в расход пустите, а? – наконец, тихо заговорил он.

– Даю честное коммунистическое: о тебе молчок. – Шилов протянул руку.

Яшка снова долго молчал, потом весь подобрался и, чтобы испытать коммунаров, улыбаясь, предложил:

– Ну, давайте оружие... пушки ваши. А то ведь они мне не поверят. Народ сильнее пушек.

– Ну-у! Много запрашиваешь. – Шилов хотел цыкнуть, сдержался и, заметя улыбку на лице Яшки, глянул ему в глаза.

Яшкины глаза с огромными черными зрачками смотрели прямо, тая в себе вымученную грусть, и казались такими доверчивыми, что у Шилова разом пропало всякое подозрение.

– Что? – заговорил он. – Партийная совесть проснулась? Ну, бери. Только помни: дрогнешь – я вот обрез оставлю и тебе эту пулю в башку всажу. Иди! – закончил он, вешая на согнутую руку Яшки в кобурах наганы.

У Яшки в глазах пошли круги. Он вовсе не ожидал, что Шилов согласится на его предложение, и, видя, как вешают ему наганы на руку, закачался, твердя про себя: «Вот теперь по-честному буду глядеть... Плакущев говорил – у меня с ними языка нет. Врет – есть язык», – и тут же вспомнил о Стеше. Он только вчера видел ее, хотел подойти, рассказать все, что говорит Плакущев, и не мог: Кирилл увез Стешу. «А теперь, пожалуй, еще ладнее будет. Теперь я выслужил», – и, выпрямившись, твердо проговорил:

– Будьте покойны, товарищи. Я вас сейчас выпущу... или – через мой труп.

Но, сбежав вниз, увидав перед собой огромную хмурую толпу, он понял – она не послушает его, отбросит, как щепку, и, робея, крикнул совсем не то, что хотел:

– Вот они где у меня! – и показал согнутую, увешанную наганами руку. – Берите голенькими!

– А-а! Яшка! – Шилов рванулся, и второй выстрел грохнул из каменного дома.

И больше выстрелов не было.

3

Одинокий треногий волк, изгнанный из стаи за потерянную удачу, остановился на глухой тропе, поднял узкую, длинную морду и завыл – протяжно, волнисто переходя на хрипоту: тоскуя по стае, он хотел отбить зорю, чтобы потом, как всегда, отправиться на покой. Но сегодня он сорвался с тропы и напрямик, через густые заросли поляны, распластываясь, помчался к далеким загривам сосен, как однажды мчался он от злых собак, уводя их за синеющие перевалы к торфяным болотам... Сделав огромный круг, он вернулся к Зеленому логову и опять понесся к загривам сосен.

В это утро, казалось, вся земля была объята пламенем, истекала кровью. Казалось, горели не только избы, гуменники, скотина, – горели люди: так хлестал набат, гоня, подбрасывая обезумевших полдомасовцев, толкая их на то, на что они до этого не решились бы ни под какими пытками; а набат бил, будоража каждого тревогой, заставляющей пахаря бросать в поле неубранный хлеб и – выть, как воеет отбившийся от стаи волк.

Илья Гурьянов хорошо знал силу набатного призыва. Вырвав веревку из рук сторожа, он сам, размахивая тяжелым языком колокола, бил направо и налево по медному черепу, – бил, чувствуя, как волосы у него дыбятся, а по телу бегают дрожь – мелкая, знобкая, лютая.

– Бей-бей-бей! – кричал он и толкал сторожа.

Сторож ударяет в мелкие колокола, и к густому, волнистому набату приплетаются тонкие голоса; они, как осы, жалят людей... и люди, уже не в силах сдержать себя, выскакивают из калиток, ворот, несутся от гуменников – из риг, полуразрушенных овинов, с реки – из зарослей камыша, по пути выламывают из плетней дубовые колья, поблескивают топорами, вилами, бегут, подпрыгивая, точно подгоняемые кнутами, бегут, наседая на белый двухэтажный каменный дом. И вот – дом от ударов брызнул кирпичной пылью, яркими осколками стекол, штукатуркой, а наверху замелькали мужичьи спины, окровавленные колья, топоры; через черные зевы окон выпорхнули листы книг, – они взвились выше крыш, сверкая на утреннем солнце своей белизной, как чайки.

– Ага! – сорвалось у Ильи. – Ага!

Из окна вместе с исковерканной черной рамой нырнуло человеческое тело. Люди заметили: у падающего голова раздавлена, точно ее прищемили дверью, а правая рука болтается на сухожилье.

– Держите вояку... Бритова! – крикнул кто-то из окна.

Следом за Бритовым в другое окно скользнуло изуродованное вилами тело Алешина, а из парадного крыльца вырвался Шилов. Зажав ладонями голову, будто по ней все время били хлыстом, он кинулся от дома, сшибая на пути одиночек, крича одно и то же:

– Товарищи! Товарищи! Батюшки! Товарищи!..

Иван Кульков со всего разбегу поддел его на кол, как медведя, и отбросил к каменному дому; а люди, на миг оцепенев, дрогнули, затем, отряхиваясь от брызг крови – одни, чтобы скрыть свою трусость, другие с остервенелой злобой, – кинулись рубить все, что попадалось на пути. Люди рубили парадное крыльцо каменного дома, точно желая уничтожить следы Бритова, Шилова,

Алехина – всех, с кем расправились там, наверху. Люди били, разносили вдребезги цементные бочки, сложенные во дворе кооператива. Цементная пыль дрожала на улице, белила крыши домов, полдомасовцев – разъяренных мужиков, баб. Бабы кинулись на ферму, забирали там в мешки Цыплят, уволакивали их к себе в курятник и тут, высыпая задушенных, остервенело ругаясь, снова кидались на птичник, ловя горластых петухов, ералашных кур. Люди металась по селу, выгоняя на улицу тех, кто в бессильной злобе перед диким буйством толпы дрожал, забившись куда-либо в темный угол.

Печник Якунин три раза забегал к себе под сарай. Первый раз его вытолкнули, и он, второпях надевая пиджачишко, ничего не понимая, не спрашивая, вместе со всеми кинулся на площадь, но, добежав до первого переулка, свернул на гуменники, с гуменников – к себе под сарай; потоптался и снова метнулся на площадь, не находя места, пристанища, и теперь, третий раз выскочив со двора, нарвался на Гурка.

– А я не пойду. Не пойду. Режьте меня – не пойду. – Упираясь ногами в землю, Гурок старался вырваться из цепких рук своих же соседей. – Не пойду. Кровь за что проливал? Кровь!

– Гурок... Милай! Гурок, – начал уговаривать Якунин. – Да ведь и мы... и мы проливали... Что она нам – мачеха? Власть – мачеха нам? Рази мы... Ты иди... Всем так уж всем.

– Ну!.. Пустите! Пустите, говорю. Контры! – рвался Гурок. От натуги у него глаза налились кровью, в животе поднялась тошнота, словно кто ему на грудь надавил коленкой. – Пустите! – хрипел он. – Пустите... контры!..

Татьяна!.. Наган!

– Чего с ним канителитесь? – Из толпы вынырнул Яшка Чухляв и опустил перед собой, касаясь одним концом земли, короткий дубовый кол, словно измеряя его длину, затем взмахнул и, ухнув, изо всей силы ударил вдоль от лба к затылку по голове Гурка.

– Что-о ты-ы! – Гурок икнул и, упав в ноги Якунину, зацарапал пальцами землю.

Якунин с омерзением сбросил с коленки шлепок вязкого мозга и, весь трясясь, кинулся на Яшку.

– Здря! – сказал он, не выговорив «зря». – Чей будешь?

– Колоярский, – оробев, соврал Яшка, готовясь ударить и Якунина.

– Колоярский? – Якунин передохнул и быстро затараторил, путаясь, не находя слов: – Колоярский... Колом... действовать научился. Колом, – и, положив ладонь на грудь, зачесал ею, точно внутри у него все разрывалось. – Чужому народу волю свою... бараны, – и, склонив голову, начал дергать челюсть так, будто в нее неожиданно вонзилась заноза.

Такого его, Якунина, втиснули в круг и, подталкивая, срывая с него куртку печника, боясь и ненавидя его, как свидетеля расправы с Турком, потянули за собой, навстречу бабам.

Бабы шли из церквешки, неся иконы, хоругви, горланя за Пелагеей Кульковой: «С нами бог и вся сила его». Бабы, мужики, ребятишки, иконы, хоругви – все смешалось в один поток, а вокруг буйствовали, рвали на части колхозное добро, уводили лошадей, растаскивали плужки, телеги, колеса, хомуты, ломали загороди, разбивали стекла в кооперативе, горланили пьяные разудалые песни. А на колокольне стоял Илья Гурьянов и вместе со сторожем бил в колокола, не давая опомниться, остановиться тем, кто носился там, на земле, – на земле, которая, казалось, истекала кровью, жгла подошвы.

В этом буйном потоке потерял голову даже Якунин: он рубил топором железные обручи керосиновых бочек, приступки, двери кооператива, рубил, жмурясь от страха, ожидая – вот кто-нибудь всадит ему топор в спину, тогда на спине хрястнет позвоночник со скрипом, как череп Гурка. И Якунин рубил сплеча, дрожал, мотая подбородком. Таким он и упал, закатываясь под крыльцо кооператива, уже не слыша, как на церквешке смолк набат, не видя, как поднялись люди, сбились в одну лавину и, колыхая хоругвями, иконами, поблескивая потными лицами, очумелыми глазами, двинулись на окраину, направляясь в долину Паники, гонимые – одни ужасом, другие – лютой злобой.

– А я дальше гумна не пойду, – сказал Иван Кульков, шагая посередине улицы, одной рукой опираясь на дубовый кол, другой ведя в поводу бурую вислобрюхую кобылу. – Пахать надобно, а они – не знай чего, – и повернул к своему участку, вихляя ногами, точно они у него увязали в тине.

В другую сторону – через болото, топи – в татарское село Зимницы шел Илья Максимович Плакущев.

– Дело свершилось, – шептал он. – Свершилось. – И, чувствуя в себе все ту же шемящую тоску,

он, не оглядываясь, шагал к далеким загривам сосен по глухим тропам и был похож на треногого волка.

А на углу каменного дома сидела, не в силах подняться наверх, скорченная мать.

– Гриша, Гришенька... – тихо звала она.

В этот час и появился в Полдомасове Захар Катаев. Он шел задами, около гумен, и в одной риге сквозь дырявый плетень заметил спину человека.

– Экий! Скрылся. Наш, видно, – проговорил он и, обойдя ригу, осторожно приотворил дверь.

В углу за соломой сидел человек, крепко прижимая к груди ребенка – беловолосого, кудрявого, и смотря через очки на Захара ничего не видящими глазами, как сова днем. Стекло очков было надтреснуто, отчего человек казался кривым на левый глаз.

«Для защиты своей ребенком прикрылся», – подумал Захар, и по тому, как человек снова пугливо прижал ребенка к себе, пряча за него голову, окончательно убедился в своем предположении. «Факт, – сказал он про себя. – Всяк человек в таких делах чем-ничем, а прикрывается... а этот, вишь ты, тонко придумал – ребенком».

– Чего дитей стращаешь? – заговорил он. – Вставай... Я от Кирилла Сенафонтыча Ждаркина буду.

Человек растерялся и, туго улыбаясь, зашептал, невольно подделываясь под язык Захара:

– А я агроном... местный... Борисов буду.

– Ага! Этого нам и надо. Иди-ка, ребенка матери отдай, а сам гуляй со мной.

Вместе с Борисовым они покинули ригу. Агроном все старался оправдаться перед Захаром, заявляя, что ребенка он прихватил случайно. Вчера вечером в суматохе он ушел к своему знакомому, а ночью, идя уже к себе, услышал, как мужики договаривались убить его, агронома Борисова; тогда он свернул на зады, забился в ригу и только тут спохватился, что у него на руках ребенок, но нести домой его уже было поздно: занималась заря, а в Колояре ударил набат. И чем горячее он говорил, желая оправдаться перед Захаром, тем больше выдавал себя и, чувствуя это, начал путаться.

– Да что же это ты! – перебил его Захар. – Чай, каждый боится. – Он повернулся к Борисову, видя, как у того дергаются губы, а через разбитое стекло очков смотрит здоровый глаз. – Земля еще таких людей не родила, кои прямо в рот смерти лезут. Всяк как-никак, а вертится, коль на него напрут. Я вот – и то не я, а житель Илим-города, Матвей Кузьмичев... Дите-то, знамо, не надо бы трогать, – добавил он чуть погодя. – Что это оно у тебя, обмаралось? Со страху аль жал ты его?

– В самом деле, – спохватился Борисов и еще больше смутился.

– А вот еще один, – обрадовался Захар, что нашелся случай больше не говорить о ребенке, и потащил из-под кооператива за ноги человека. – Тоже спрятался, как ты. Ты спрятался, а сел перед дырой... спину не знай откуда видно.

Якунин некоторое время стоял перед Захаром молча, протирая глаза, ничего не понимая: его ошарашила тишина, наступившая на селе, и ему даже трудно было понять – вот ласковое солнышко пригревает улицы, по которым только что носились мужики, бабы, а в лучах солнца взвихриваются галки, рядом же с ним стоит агроном Борисов, обтирая ребенка беленьким платочком, и еще кто-то чужой, бородатый, точно старый пень на болоте, заросший мхами. Где-то видел его Якунин. А может быть, он никогда его и не видел, может быть – этот лохматый мужик ему просто приснился, мало ли бывает таких снов. И что ему надо? Что он стоит и рассматривает Якунина?

– А-а, – догадался Якунин и, вскрикнув: «Ой!» – кинулся прочь, прихватив с собой топор.

– Куда ты? Куда? – Захар дернул его за рукав. – Куда помчался на рысях?

– Чей будешь? – хрипя, спросил Якунин.

– Я от Кирилла Сенафонтыча Ждаркина буду, и не с пустыми руками. Что, настряпал, а теперь давай бог ноги? – не выпуская Якунина, Захар вынул из кармана наган, неумело вертя его. – Видал, каким словом будем говорить теперь? Гляжу, у тебя за спиной немало лет. Как на то решился – народное добро рубить?

Якунин, отводя глаза от нагана, присел на крыльцо и воткнул топор в перекладину.

– Стыд есть? Совесть есть? – донимал Захар. – У тебя ежели бы предбанник порубили, ты бы что... а тут – сплеча валял, а?

Якунин, наконец, поднял голову:

– Не я рубил.

– Не ты?... Тетка?

– Не я... Страх мой.

– Страх? А Гурок вон, говорят, в землю ногами Уперся и умер.

– У Гурка весь хвост – он да баба.

– Хвост длинный привесили? Хвост виноват? Да-а-а! – протянул Захар и, показывая на задние порядки улицы, где от риги к риге перебежали люди, спросил: – Что за народ там бегаёт?

Якунин поднялся и начал выпрямляться, как выпрямляется освобожденный из-под свалившейся глыбы дубок.

– Активисты... как мыши из норы побежали... Не я, стало быть, один под крыльцо забился.

– Ага! Беги, зови их на болото... Там вон – у березовой опушки тракторы стоят. Топор-то возьми с собой – пригодится. А мы с агрономом пройдемся. Мне печку надо у него переложить. – Захар подмигнул, и вышло это у него так здорово, что Якунин рассмеялся.

– А ты человек, видно, не лыком шит, – проговорил он и направился к ригам.

Каменный двухэтажный дом был весь оббит и сразу постарел. Окна с выломанными рамами походили на черные разинутые беззубые рты, парадное крыльцо изрублено, свалено, а поодаль лежали три трупа, затоптанных в грязь. Захар узнал только Алешина по затасканной солдатской куртке.

– Эх! Не удержался! А любил жить! – Захар обнажил голову и некоторое время стоял над трупом, затем, глянув на крыльцо, спросил: – А это что за кочка?

– Мать Григория Звенкина, комсомольца, – проговорил Борисов шепелявя.

– Мать? Матерям да женам тяжело будет. Жива еще – вишь, дрожит.

Захар поднялся наверх.

Поломанные, опрокинутые, с вывернутыми ножками столы, брызги крови на стенах, оббитая штукатурка и трупы, стянутые в один угол, исковерканные, испорченные вилами, изрубленные топорами, кинули Захара в озноб, а когда он в другом углу увидел маленькую фигурку, повернутую лицом к стене, сидящую на корточках, как иногда сидит куренок, укрываясь от дождя, – весь позеленел.

– Ножками от столов били, – произнес он. – А этот – младенец, видно, совсем. Видишь, короче всех. Его ножкой по затылку стукнули.

– Гришка Звенкин... комсомолец, – еще больше шепелявя, пояснил Борисов, укрывая сынишку, стараясь не показывать ему всего.

– Ну, вот! – чуть спустя заговорил Захар. – А ты, поди думаешь, убивать человека нельзя. Конечно, нельзя. Разве на человека рука поднимется. Да ведь вот поднялась... ужожили. И бить их надо теперь, как вошь гляди, чего с мальчонкой сделали! – Захар потревожил Гришку и отпрыгнул.

Гришка завозился, вытянул руки и, приподнимаясь, закричал:

– Ма-аманя-я!.. Мама-анюшка!

Захар метнулся к нему:

– Что ты, что ты?... Не бить тебя... не бить!

Гришка стремглав кинулся мимо, скатился вниз по лестнице и, прижимая ладони к затылку, крича пронзительно: «Ма-ма-ня-я!» – помчался улицей. Мать от крика дрогнула и кинулась за ним. На повороте в переулок Гришка со всего разбегу упал. Мать догнала его и, падая рядом, обнимая, заголосила, спугивая тишину улицы.

– Этот не жилец. Напрасная радость матери. Пойдем. Ребенка отнеси и приходи. А то народ сейчас сбежится, – проговорил Захар и быстрым шагом сошел вниз.

У березовой опушки на бугре толпились трактористы, посторонние люди.

– В чем дело? – спросил Захар. – Зачем позицию покинули?

Ему объяснили: там, внизу, на берегу реки под каменной глыбой скрылся человек. Вышел он из березовой рощи, на руке у него навешены, как крендели, наганы. На зов он ничего не ответил, а когда хотели его задержать, он спрятался под глыбу, пригрозил:

– Не подходи, стрелять буду.

«А ведь это он, – догадался Захар и чуть не бегом пустился к глыбе, но, пробежав несколько шагов, остановился. – А ежели не он? Тогда пропадать мне: издырявит пулями...» Вернуться? Десятки глаз смотрели с бугра в спину Захара, и они толкали его туда, на берег. «Пойду», – сказал он и двинулся вперед. Пройдя еще несколько шагов, он отметил – глыба лежала над самой водой, походила па огромную раковину. Захар хриповато позвал:

– Яков Чухляв! Яшка... Я Захар Катаев буду! Выходи.

Из-под глыбы долго никто не отзывался.

– Выходи! – громче крикнул Захар. – Все равно вытащим: век в норе сидеть не будешь.

– Не подходи, стрелять буду, – отозвался Яшка.

– У тебя, стервеца, силов не хватит грудь мою продырявить, – зло проговорил Захар. – А я тебя, стервец, оберегал... А ты, видно, и Коле Пырякину голову свернул. – Захар крупным шагом приближался к глыбе, видя перед собой только черное дуло нагана.

4

Иной раз из гнилого угла, откуда в засуху мужики ждут наплыва туч, срывается сиверка. Резкая, жгучая, колкая, как толченное стекло, – она день-два лепит со всех сторон, тогда за мерзлыми окнами хат жмутся ребятишки, прислушиваясь к песням ветров, и мычат в щелистых хлебах исхудалые коровы. Сиверка гонит по степи белые сугробы, играя, треплет молодой осинник – оголенный, скрипучий... И едет по полю мужичонка на буланом меринке, кутается в чапан, стучит лаптями – жесткими, мерзлыми, забегая вперед, отыскивая дорогу... А сиверка, завывая, потешается над мужичонкой, над хатами, над поселками, над поездами. Поезда останавливаются, как сбитые с ног богатыри, и дышат паром на глухих перегонах. Десятки, сотни, тысячи поездов замирают в снегах, и стучит телеграф, бегут приказы от столба к столбу через степи, через дремучие леса, через топкие болота, поднимают приказы людей, двигают навстречу сиверке, снежным буранам... И только матерому трехногому волку простор в сиверку. Он рыщет по гуменникам, переползает через засыпанные бураном сараи и потешается в клетях.

Вот и теперь разыгралась сиверка – метель мужицкая. Поднялась она неожиданно, загуляла по болотам, по большим дорогам, – нет ей удержу: ясно небо, светит солнышко, а останавливаются поезда; ходит по лесу ветер, мягкий, ласковый, как добрая мать, а не пройтись, не посбирать ягод – под каждым кустом, за каждым пнем кроется сиверка, метелица мужицкая.

Эх, столкнуться бы лицом к лицу, помериться бы силой в широкой степи, не из-за угла, а с глазу на глаз, вытрясти бы из тщедушного тельца последнюю силенку, развеять бы ее по ветру, как развеивает жгучую, колкую крупу сиверка!

«Вот он и предлагает тебе... На тебя Плакущев армию с рогатинами выслал, как на медведя... Померяйся!» – Кирилл хмурится, стоя перед телеграфным аппаратом, думая о Плакущеве, о мужицкой сиверке.

По прямому проводу из края ему только что передали, что всю ответственность возложили на него, причем никакого отряда из Красной Армии ему не дадут, он «должен своими силами утихомирить полдомасовцев», в выборе же средств его никто не ограничивает.

– Оружие применять можно? – спросил он и долго ждал, напряженно всматриваясь в аппарат.

– Ты отвечаешь за все, – уклонился секретарь крайкома Жарков, добавляя: – Подобные же волнения вспыхнули в некоторых других районах страны, особо на юге, где вовремя не смогли расчлнить деревню и, вопреки всем указаниям партии, сломя голову кинулись коллективизировать мужика, отбирая у него даже курицу. Жму руку. Пока.

Кирилл вышел с телеграфа, совсем не зная, что делать. Ему было известно: в Полдомасове перебиты все коммунисты, движение растет, ширится, оно уже охватило ряд сел, мужики и бабы толпами идут на Широкий Буерак.

– Да... прут... стереть хотят, – прошептал он и остановился, впервые ярко отмечая, что телеграф помещается в бывшем доме Плакущева, в том самом доме, где когда-то Кирилл гулял разудалую свадьбу, женись на Зинке, в том самом дворе, откуда когда-то давно на раскрашенных санках вывез к венцу его и Зинку Плакущев. Санки были запряжены парой откормленных коней. Плакущев сидел впереди, загораживая широкой спиной молодых, осторожно выводя со двора коней, – так осторожно, что даже Никита Гурьянов и тот недовольно проворчал:

– Что ты, Илья Максимыч, будто с кулагой едешь? Чай, оторви. Удаль покажи. Не невольника везешь, а гляди, какого зятка выхватил из села! Я б такого на горбу к венцу донес. Пра!

– Все к своему время, – ответил Плакущев и, выехав со двора, натянул вожжи – кони рванулись, отбивая четкий шаг, и, распластаваясь над скрипучими дорогами, понеслись, взметывая снежную пыль.

Казалось, даже сизая борода Плакущева, перекинутая ветром за плечо, – из снежной пыли, а у Зинки горели щеки, она жалась под бок Кириллу и будто кричала: «Посмотрите. Позавидуйте. А-а!

Глаза от зависти лопнут».

Тогда...

Только четыре года тому назад Плакущев каждое утро выходил вот из этой калитки, направлялся к домику Кирилла, садился на приступках и, глядя на своего зятя, на чистый двор, на рысака – серого, в яблоках, привязанного у стойки сарая, – учил, как надо жить, «чтоб на карачках перед сильными не елозить».

«Эх, хотя бы десятка два кавалеристов... я бы ему прописал! – подумал Кирилл и, заметя, что идет слишком медленно – так может выдать свои мысли, вскинул голову. – Ну, раз нельзя, значит нельзя... им там виднее. Хрена два им там виднее! – спохватился он. – Фу, черт... на фронте и то легче было».

В конторе МТС его ждал, спешно вернувшись с болот, Богданов.

– Что, разбушевалося синее море? Этого надо было ждать. Что думаешь делать? – заговорил он, поднимаясь навстречу Кириллу.

– Плясать.

– У тебя и тут шуточки.

– А что ж мне – реветь?! Я бы половину их перест... – Кирилл запнулся. – Я бы... Видишь ли, Феня там осталась... Чего ты бледнеешь?

– Зачем оставил? Молодая, неопытная.

– Дело не в том – молодая, неопытная. Еще какая опытная! Хотя и Стеша там, – с расстановкой проговорил Кирилл, наблюдая за тем, как Богданов поведет себя при вести о Стеше. – Гурка, у которого я их оставил, убили, – добавил он с намерением взорвать неожиданной вестью Богданова и посмотреть на него – на этого, казалось, всегда уравновешенного человека.

Богданов потускнел. Лицо у него застыло, как застывает у человека, не спавшего подряд несколько ночей; тяжелые веки опустились, губы крепко стиснулись, а через высокий лоб легла глубокая борозда, выдавая тяжелые думы.

«Что ж делать, что делать?» Кирилл стоял перед окном, напряженно всматривался в ту сторону, откуда вот-вот должны были хлынуть потоки крестьян, обезумевших, разгоряченных, пыльных, слепых в своей необузданной ярости. Вот они спускаются с гор, топчут по пути зеленые травы, поля, ломают, коверкают плетни, загороди выворачивая дубовые колья, режут, как огромное перепуганное стадо.

– Саранча... как саранча, – прошептал он и отшатнулся от подоконника: перед ним ярко забилась тень на озере, вспыхнула борьба тьмы со светом зари, и как-то неожиданно просто прояснилось полдомасовское событие.

Победила тьма. Она нагрянула на коммунистов, всполошилась в мужике, пробудив в нем необузданную ярость, и она, эта звериная ярость, раскроила череп Гурку, свалила топором торопкого Бритова, неугомонного Алешина и этого... Шилова... А он, Кирилл, удрал, обессилил свет, передал мужика в руки Плакущева. «Да-а-а... Человек – это много. О душах говорил Богданов... В душе мужика и свет и тьма... что пробудишь». И тут Кирилл впервые понял могучий ум партии, и стало ему стыдно за свой поступок, за невольное бегство из Полдомасова, за свою непоправимую ошибку. Чувствуя, как на него наваливается новая вина, вина за полдомасовские дела, вина за убийство коммунистов, за Стешу, за Феню, за Гурку, вина за срыв уборочной кампании, он, стараясь по старой мужицкой привычке стряхнуть с себя вину, не думать о ней, притвориться глухим, слепым, ничего не понимающим, повернулся к Богданову. И тут Богданов, впервые увидел – глаза у Кирилла вовсе не улыбочивые, они напоминают глаза змеи, выглядывающей из-под куста.

В контору, перекидывая больные ноги через порог, вполз Епиха Чанцев.

– Здорово – живем-поживаем!

– Епишка! Черт полосатый! – Кирилл со всего разбегу подхватил Епиху на руки и посадил за стат. – Ну, рассказывай... главный наш наблюдатель.

– Чего рассказывать? Тебе, поди, все сорока на хвосте принесла? Что ж, коммунистов всех потюкали... Дурни – башку мужикам под кол подставили... наганчики свои отдали! – Епиха заерзал на столе, готовый взорваться.

– Так, так. Еще?

– Плакущев там, Илья Гурьянов – два. Яшка Чухляв. Ну, этого молодчика Захар залапал, к трактору привязал, а меня вот к тебе послал.

– А Стеша, Феня?

– Их не видать, и моя лошадь запропала.

– Кто это?

– Да Анчурка. Она ведь меня на коляске возила и запропала. Какая ведь шутоломная!.. Народ двинулся на коммунистов, а она бросила меня – да в толпу. Народ на Колояр повалил, а Захар Полдомасово забрал со своим отрядом, товарищ начальник. Выпить бы... а то ноги страх ломит. Имею на то право законное?

– Я через полчаса буду! – Кирилл вышел из конторы и, с разбегу вскочив на рыженького жеребчика, помчался улицей за околицу по направлению к «Брускам».

Степан Огнев сидел в коляске у крайнего окна, через которое было видно всю коммуны, поля, далекий Гремучий дол.

– Ш-шыто? – выдавил он, с трудом ворочая язык, осматривая в полуоборот Кирилла.

«За советом пришел, дядя Степа», – написал на клочке бумаги Кирилл и подал Степану, улавливая какой-то странный блеск в его глазах.

Степан начертил на обратной стороне клочка:

«Когда я, мы были, и у мужика было, и государства была сыта... а теперь – резолюции, аплодисменты и ура. На-ка!»

Кирилл, прищурился глазами, чуть задержался у двери, затем круто повернулся, бросил:

– Мертвяк!

Через несколько минут, выскочив из пределов коммуны, он уже мчался на рыженьком жеребчике Угрюме по лесным, глухим тропам – мягким, зыбким. Жеребчик шел галопом, всхрапывал, отбивал шаг – надавал от ударов нависших ветвей... А у Кирилла созрел план, как созревает в последнюю минуту сочный плод на дереве.

5

Саврасый конь гулял на выгуле. От сочной травы тело его наливалось, как огурец от избыточной влаги, и конь радовался своей лошадиной радостью: брыкался, неуклюже вскидывая ноги, вертел хвостом, высоко задирая его метелкой, и звонко ржал по ночам, слыша, как отворяет дверь хозяин, несет пахучий корм. Хозяин обязательно потреплет савраске гриву и скажет:

– Поправляйся маненько, скоро жать.

Такого саврасого коня и проследил на выгуле треногий матерый волк. Он появился совсем недалеко, из ложбинки, и чуточку задержался у березняка. Конь со всех ног шарахнулся, но волк вовсе не кинулся за ним. Виляя хвостом, он отошел в сторону, прилег на бугре, точно желая погреться на солнце; конь, трясясь всем телом, долго глядел на косматую, подернутую сединой спину. Волк поднялся, тихо повизгивая, будто пугаясь, шмыгнул в лес. Через несколько минут он снова появился, зайдя с другой стороны, и конь опять метнулся, но не так, как в первый раз: шарахнувшись в сторону, он круто повернулся и, готовясь ударом копыт сбить седого, пошел на него, очеря широкие, в зелени, зубы. Конь готов был драться, а волк снова, поджав хвост, нырнул в чащу. Тогда саврасый поднял голову и, довольный собой, легонько заржал, а в следующий раз, завидя волка, он только брезгливо фыркнул, ударил копытом и чуть-чуть повел ухом... И вот по земле, плотно припадая, срастаясь с травой, неслышно, точно змея, волк пополз на саврасого коня. Казалось, ни один мускул у него не действует, сверлят только злые, вздрагивающие глаза да шныряют в ту и другую сторону острые уши.

И вдруг прыжок, точно неожиданный порыв урагана: волк вцепился в хвост коня, уперся в землю, конь рванулся, волк отпустил глупую саврасую лошадь, и она со всего разбегу сунула морду в землю, а острые клыки матерого вонзились в мякоть горла...

Так молодецки, не впервые за свои набеги, матерый треногий волк зарезал саврасого коня на лугу около Широкого Буерака и, чтобы скрыть следы своих деяний, сытый, довольный, ушел в долину Паника.

Долина реки Алая Паника, прозванная так за топи, болота, обманчивые зыбуны, полыхала кострами. Костры разбросались всюду – по берегам болот, на сопках, У подножья горы Аяки, освещая обугленные входы пещер. Жили тут когда-то беглые солдаты, занимаясь грабежом, набегами на проезжих купцов, глуша их кольями. Жили потом и строители скитов, разогнанные с поволжских гор, люди упрямые, суровые, молчаливые, именовавшиеся «кулугурами». Настигнутые

стражей, они, попрятав богатства в озера, под руководством своего наставника Ермолая Плаксы, как величали его за слезы, пролитые за гонимый народ, забились в пещеру у горы Аяки, обложились сухим камышом и с криком: «Тот, кто поднимает меч на ближнего своего, обретет царство небесное!», кромсая друг друга ножами, сожгли себя. А о Ермолае Плаксе спустя много времени рассказывали, будто его сила небесная выкинула из пламени и он ушел, забрав с собой богатство, в глубь лесов, к Синему озеру. И снова созвал туда народ суровый, гонимый за веру, преданный ему, Ермолаю... Во всяком случае, еще от той поры уцелел род Плакущевых: Илья Максимович Плакущев является дальним отпрыском Ермолая Плаксы. Из рассказов стариков он знает: прадеды его жили у Синего озера, в глубине долины Паника, занимались рыболовством, пчеловодством, охотой, долго чуждались мира, людей стриженных, бритых, не давали сыновей в солдаты, – пойманные стражей, умирали под розгами молча, не показывая путей и троп на Синее озеро, а ежели кто проникал к ним, то весть о нем гасла, как гаснет упавшая с неба звездочка.

– Хорошо. Жили хорошо-о: кровь свою оберегали, не поганили, – слушая рассказы стариков, с гордостью сожалел Плакущев.

Сюда, в долину Паника, и стянулись все те, кто не остался, не задержался на гуменниках, кто нес с собой топоры, вилы, обрезы винтовок, гранаты, сохраненные со времен гражданской войны, и те, кого гнали страхом. Сюда же тянулись подводы с хлебом, мясом, вином, награбленным имуществом.

Мародерство началось в тот же день, как только полдомасовцы вышли из села. Перед тем толпу задержал у опушки Илья Гурьянов. Взобравшись на дерево, распластывая руки, похожий на распятие, он прокричал:

– Православные христиане! Нас советская власть в банку вбила. Правильно я говорю?

– Правильно-о-о! – прокатилось в ответ.

– Граждане мужики! Коммунисты – жулики, грабители. Правильно я говорю?

– Правильно-о!

– Граждане – наши жены, наши матери, наши дочери! Кто обругал храм господен?

Коммунисты. Правильно я говорю?

– Правильно-о-о! – прокатилась оглушающая волна.

И так, взвинчивая, накачивая, бередя больное, под конец и сам весь раскаленный, он вытянул руку по направлению к совхозу:

– Чье там добро? На наших костях построено! Правильно я говорю?

Люди метнулись на совхоз, растащили его до основания, а дотом шли деревушками, селами, громили колхозы, коммуны, избивали коммунистов, колхозников, забирали их имущество и, навьючивая его на себя, тащили в долину Паника, тащили, точно убегая от пожара, и теперь долина была завалена узлами, сундуками, швейными машинами, самоварами. Как ни странно, но каждое утро где-то горланил петух, мычали встревоженные, непривычные к болотной сырости коровы, плакали ребятишки, и, как всегда, ругались бабы. Появились и погоны. Маркел Быков выволол своего племянника, скрывавшегося около пяти лет на задах, в землянке. Обросший бородой, пахнущий гнилью, в рыжем полушубке, с эполетами на плечах, он смешил мужиков, баб, а Маркел им гордился.

– Вот сокола-ястреба уберег. Он им теперь пропишет, почем сотня гребешков! Васька! Крутись! – шипел он на племянника, когда тот от долгого сидения в землянке вдруг засыпал на ходу.

– Жеребец без яиц племянник твой, – бросил как-то Илья Гурьянов.

– Какой-никакой, а жеребец. Чин имеет, – огрызнулся Маркел.

И с этого часу возненавидел Илью.

– На престол себя хочет ввести... этот, Гурьянов, шибздик, – таинственно шептал он. – А нам царя не надобно. Теперь военные господа страну поведут. Понимаете, мекаете? Илюшка Гурьянов на престол хочет себя да Бухарина какого-то. А нам и его не надо, – шепотом передавал он, группируя около себя людей, выпячивая наперед племянника – сонливого, недовольного светом, ярким солнцем, говором, гомоном.

Песни, плач, стон, скрип телег, мычание коров, ржание лошадей утихали только поздно ночью, и долина полыхала кострами, болота пыхтели, а Илья Гурьянов сидел на своем обычном месте – у подножия горы Аяки, рядом с обугленными жерлами пещер, перед костром.

Так сидел он и теперь, опустив голову на ладони, глядя, как сыч, на долину.

«Говорят, так Батый шел», – и он вздрагивает: ему все время чудится, где-то далеко по лесным

тропам скачет кавалерия. После дождя влажный лист делает тропы мягкими, зыбкими, и лошади скачут по ним, точно на резиновых копытах. Илья припадает ухом к земле, напряженно, долго слушает, стараясь уловить звон копыт, а земля пыхтит, сочится ручьями, напевая свои песни полей, широких карт усадеб, обнесенных ветлами, высокими заборами, и в Илье пробуждается кровь отца, Никиты: перед ним встают откормленные за зиму кони, кони рвутся со двора, унося в поле телеги на шинованных колесах, в телегах блестят отвалы плугов. Илья с остервенением отрывается от земли и снова смотрит на долину. Вот он, наконец, добился – люди поднялись, превратили свой гнев в действие, собрались в долине Паника, признав его, Илью Гурьянова, своим вождем. Да! Вождь. Он идет за страдание, за море слез, пролитых мужиком-хлеборобом. «Идеалы народа», – вспомнились ему слова агронома Борисова. «Народ... идеалы, – передразнил он. – Все за нее идут – за землю, за радость свою».

В полночь долина мертва. Только кое-где у костров появляются раскоряченные фигуры – это дозорные поддерживают огонь. И Илья, глядя на одного из дозорных, думает:

«Вот он, видно, еще круче тоскует по земле... она и загнала его сюда... Может, он потому и не спит, надеется – мы вернем ему его добро, а может быть, боится, как бы не выдал его сосед, друг, брат. Выдаст, покинет, как покинули нас Плакущев, Борисов».

– «Идеалы», – зло прошептал он, со страхом вглядываясь во тьму, пугаясь куста, шороха, самого себя.

Он не спит уже третью ночь, ждет – вот-вот нагрянут на него из-за гор. Нагрянет Кирилл Ждаркин. Долина Паника со вчерашнего вечера окружена, все пути отрезаны, кроме одного – к Синему озеру, по непроходимым тропам, болотам. Узнав о том, что долина окружена, люди, как воришки, побежали в разные стороны, нарываясь на пикеты Шлётки, Захара Катаева. Кто-то ведет работу там, внизу, кто-то неуловимый поднимает пачками людей. Только сегодня утром вдруг вырвались из повиновения Пеллагее Кульковой бабы и, свернув хоругви, попрятав в кусты иконы, лесными тропами ударились к своим избам. Слышать, их перехватили на косогорьях к Полдомасову. Эта весть как кнут ударила по долине, и все притихли: мужик силен, когда идет скопом, – тогда он рубит топором, и трус, когда зажат, – тогда он готов на все, лишь бы спасти свою шкуру. И Илье ярко вспомнилось, как вчера утром прикончили на перекрестке дорог, около Большого озера, матерого треногого волка. Напившись лошадиной крови, удрав из Широкого Буерака, треногий шел на покой в трущобное логово и на полпути натолкнулся на вооруженный вилами пикет. Сначала он кинулся было вспять, но мужики уже знали его повадки, криками всполошили остальные пикеты, и волк был окружен... И вот он – гордыня, хитрец, бесстрашный одиночка, бывший матерый вожак стаи – растерялся, поджал хвост под самое брюхо, как трусишка, и нарвался на вилы Никиты Гурьянова.

– А ты говорил, не надо тебе сюда идти. Видишь, какого козыря убил, – утешал Никиту Маркел Быков.

– Он у меня, поганец, лошадь ведь зарезал в прошлое лето. Да ведь она, земля-то, сохнет... и хлеб на уборку идет... Ну, я пошел, – с грустью добавил Никита, взваливая себе на спину волка.

– Куда? – остановил его Маркел.

– Куда? Чай, домой.

...Илья тихо рассмеялся: ему показалось – и в нем и в тех, кто в низине, есть что-то такое от треногого волка.

Ему бы вот самому надо сойти в долину, разузнать хорошенько, что там творится, но спуститься он не решается: боится незнакомых мужицких глаз, скрытого упрека от тех, кого силой вытолкали из изб, чужого голоса, того, как бы мужики не превратили его в жертву, как бы не отбросили, как отбросили чудака Яшку Чухлява. А главное – другое: Илья не знает, что ему делать. Ну, хорошо, – вот собрались, согнали людей, сколько их там – пять, десять тысяч, а дальше что?

– А-а! – отозвался он: ему показалось, кто-то зовет его из тьмы.

– Начальник! Подь-ка сюда. Подь!

Илья поднялся и, держа наперевес винтовку, пошел на зов во тьму, уверенный, что его зовет вестовой Федька.

– Федька!

– Я! – ответил голос из тьмы.

Что-то тупое ударило в висок. Илья еле удержался на ногах, затем второй удар в макушку, такой же тупой, сбил его с ног, и он, падая, не успел даже вскрикнуть: кто-то сунул тряпку ему в рот,

затем чьи-то руки, торопко опутав веревкой, подняли его с земли и понесли прочь от костра. Через силу, весь напрягаясь, он открыл глаза. Несли его Шлёнка и еще какие-то люди, а у костра, где за несколько секунд перед этим сидел Илья, маячил незнакомый человек. Он сидел спиной к пещере, подбрасывал хворост в костер, на время гася пламя. При повороте его большая борода заиграла искорками.

Таким он и запомнился Илье.

Человек недолго посидел у костра. Затем, сдерживая смех, осмотрелся и поднялся. Его огромная тень вскинулась, переломилась на выступах пещеры, заколыхалась и поплыла: человек спустился с подножия Аяки в долину Паника. Шел он уверенно, колеся около болот, обходя водяные прогалы, и вскоре совсем скрылся из глаз, а на его место кто-то новый сел у костра.

Высокого человека с большой седой бородой позже видели у других костров. Он заговаривал с дозорными, сообщая им пароль, будил в шалашах мужиков и, смеясь, произносил только несколько слов:

– Как поживаете на новых фатерах?

По большой бороде многие в нем сначала признали Плакущева, но молодые, искрящиеся смехом глаза, высокие загнутые на коленях охотничьи сапоги вводили их в смущение. Четыре же бомбы, привешенные к поясу, нагоняли страх, и люди, стараясь как можно скорее отвязаться от этого ночного посетителя, кутались в чапаны и засыпали.

– Почивайте, почивайте! – говорил он и шел дальше, словно проверял дозоры.

6

Никита Гурьянов тосковал. Он второй день сидел на берегу озера, водил лозинкой по зеленой мути и смотрел в одну сторону – туда, за гору Аяку. Треногого волка он ободрал в то же утро, сокрушаясь, что второпях вилами пропорол ему хребтину, чем и попортил шкуру. Теперь шкура висела, распяленная на рогатине, около его телеги, а туша лежала у топи, сунувшись головой в воду, испуская зловоние. Никита сидел на берегу и тосковал.

– Микита, – уговаривал его Маркел Быков, – ты что это? Так ведь и ума рехнуться можно. Вставай. Аль ступай в глубину куда. К Синему озеру ступай: глядеть тут на тебя – в могилку хочется. Понятно, нет?

– Скоро, что ль, домой? – спрашивал Никита, не отрывая взгляда от горы Аяки.

– Домой? Как маленький. Светопреставление идет, а он домой.

– Домой! – огрызнулся Никита, щелкая зубами, как волк.

– Эх, пес! – Маркел отлетел от него и, разыскав вестового Ильи Гурьянова, подчеркивая, проговорил: – Передайте, пожалуйста, начальнику нашему – с ума, мол, может один тут спятить. Принять меры. Чего он там сидит, как Стенька Разин? А вы шуруйте! шуруйте! – обращался он к людям. – Нос не вешайте. О нас заграница узнала. Нате-ка! Вот Илья Максимович с минуты на минуту заграничные войска подведет, – и бегал по таборам, зорким глазом отбирал тех, на кого можно положиться, с кем можно будет пойти на огонь. – Нам водь... эх вы, золотые мои, нам ведь мир принадлежит. Своровали его у нас. Кто мир-землю расчистил, пня на пне не оставил? Мы, мужики! Кто татар – триста с лишним лет нашим государством владели, – кто татар разогнал? Мы, мужики! Кто землю заселил – дома вон какие воздвиг, фабрики, заводы, мосты железные, корабли! Мы, мужики! То и говорю: кто мир у нас уворовал – вниз башкой его!

И носился, ободрял, обнадеживая, журил, встряхивая людей, и, казалось, попал он на свое место, и было ему все ясно, понятно, и хотел он свои мысли вбить в тех, кто, раскисая, сидел у телег, как сидел на берегу Никита Гурьянов. И дрожал, видя, как на время ободренные, приподнятые люди при каждой вести оттуда – из-за гор – снова закисали, как закисает в непроточной воде рыба.

– Да, граждане! – срывался он. – Сколько нас? Миллионы неисчислимы, как песок морской... Плевками забьем. Соберемся, плюнем враз – и море образуем. Вот вед, чего. То и понять, вразуметь надо каждому, как говорил Илья Максимович Плакущев. Сила ведь мы. Сила!

– Домо-ой-ой! Домо-ой, – тянул Никита Гурьянов.

– Укокошить его ночью, а то от него дурь и на других перекинется. Ночью... и труп его поганый в озеро спустить, – приказал Маркел племяннику.

И вот в тот самый час, когда волки отбивают утреннюю зорю, по долине ураганом пронеслась весть:

– Пропал Илья Гурьянов!

Возможно, ежели бы не эта весть, никто бы и не вспомнил о ночном посетителе – человеке огромного роста с широкой бородой и четырьмя бомбами за поясом. Весть хлестнула по долине, подняла всех на ноги, опрокинула наземь доводы Маркела Быкова. Люди раскололись, многие двинулись на загорья, натываясь там на пикеты Шлэнки, Захара Катаева: людей всполошили записочки, разбросанные всюду, написанные одной рукой.

«Уходите по-доброму. Вояки! Ж... вы, а не вояки. Нонче я был у вас, а завтра к вечеру бить будем. Кирилл Ждаркин».

Больше всех о записочках кричала Анчурка Кудеярова. Она носилась от табора к табору и по-гусиному гоготала:

– А-ма-а! Чего будет? Пес этот, Кирилл Ждаркин, нонче тут был. Своими глазищами видала. Так он и с ружьем придет. Перебьет всех насмерть. На какоу гибель затащили нас, бросили, а сами улепетывают?

Петр Кульков решил было прикончить ее, но нарвался на баб. Бабы окружили Анчурку, как своего жожака, и, обозленные, издерганные, кинулись на Петра Кулькова.

– Я ничего... я так... я не коммунист, волю народа не попираю, – отступил Петр и начал следить за Анчуркой.

Раз он настиг ее у топи, сбил с ног и, путая веревкой, задирая платье на голову, превращая ее в куль, прошипел:

– Это ты, птицеводница? Вот казнию я тебе за язык твой длинный какоу придумал: пускай мухи тебя обгложут, – и толкнул Анчурку Кудеярову в яму.

Ее вскоре кто-то вытащил и развязал.

А к вечеру выкрали и Петра Кулькова. Он шел тропой, убегая к Синему озеру. На повороте к сосновому бору на него неожиданно наскочила Анчурка Кудеярова. Он ловким ударом сбил ее с ног, вскочил на нее верхом, стискивая горло. В это время из кустарника вывернулись Стеша и Феня. Стеша изо всей силы ударила его ручкой нагана по затылку. Очнулся он, уже стоя на ногах, с прикрученными назад руками.

– Я ведь, товарищи дорогие, – быстро, как ни в чем не бывало заговорил он, – я ведь выдавать иду. Все подготовлено к сдаче.

– Трогайся. – Стеша толкнула его, наводя в лицо дуло нагана. – Иди. Не нести же тебя, гадину такую.

– Выдавать иду. Выдавать.

– Эх, мерзавец какоу! – произнесла, удивляясь, Стеша.

И той же тропой три женщины повели его в глубь лесов, по направлению к Полдомасову.

– Ага! – сказал Захар, встретив их. – Этого гуся нам и надо! Привяжите-ка его к трактору.

К тракторам уже были привязаны Илья Гурьянов, Яшка Чухляв и еще несколько человек, не известных Стеше. Они были привязаны к колесам так, что при первом движении трактора колеса должны были размять их спины острыми шипами. Только Яшка был привязан совсем по-иному: от его рук веревки тянулись к коленям, согнув его всего, а концы были прикручены к колесу трактора, и Яшка походил на подшибленного галчонка, кружащегося на привязи около кола. Недалеко от тракторов на поляне сидели никем, казалось, не охраняемые мужики. Эти были все те, кого поймали при бегстве из долины. Захар многих отпустил по домам, а этих отобрал, свел на поляну, и они сидели тут, опустив головы.

Стеша задохнулась, тело у нее окаменело, и она, напрягая силы, толчком рванула Петра Кулькова, злясь уже на себя. При виде Яшки в ней всегда поднимался страх, и в памяти вставали те дни, когда она целиком принадлежала ему – мужу Яшке Чухляву, когда он, пьяный, кем-то разобитый, вваливался к ней в постель, и она начинала дрожать, жаться, боясь неудобным словом, ненужным движением распалить его, делая все мягко, подчиненно, несмотря на то что пьяный перегар был ей противен.

Вот и теперь в ней поднялся такой же страх – трусливый, похожий на страх побитой собачонки.

– Стешка! – позвал Яшка, моля глазами, глядя на нее снизу.

Привязывая Петра Кулькова, Стеша, растерявшись, прихлестнула к трактору и свою руку.

– Это ты к чему? – не догадавшись вначале, спросила Анчурка и, увидав неподалеку на привязи Яшку, спохватилась, не давая даже об этом знать Стеше: – Устала? Которую ночь уж не

спишь. Мне ничего, я привычна: бывало, Петька мой загуляет неделю – неделю меня колотит... вот и привыкла не спать.

А Стеша, уже не в силах сдержать себя, обняла Анчурку и, глядя в ее глаза, вспомнила про свою дочку Аннушку. У Аннушки подбородок крутой, с разрезом, как у Яшки. У Аннушки на спине два родимых пятнышка, похожие на листики вишенника, такие же, как у Яшки. Вот она, Аннушка, маленькая, сидит на берегу Волги – меловом, ярком в своей белизне, залитом солнцем, а Стеша полощется в воде, зовет к себе Яшку. Ох, как прыгал он! Со всего разбегу, взмахнув вверх, он бултыхался в воду и, вынырнув, мчался к Стеше. Яшка! Отец! А теперь вон он – на привязи. Если бы его увидела Аннушка! Ах, Аннушка! Она закричала бы, всплеснула бы ручонками, кинулась бы к нему, стала бы просить, биться около него. Она ведь еще ничего не знает и поэтому всякий раз спрашивает Стешу: «А когда папа плиедет?»

– Чую... про жизнь окаянную жалеешь. Милая, Стешка... ты ее песком сотри, ежели она на памяти у тебя, – тихо проговорила Анчурка и, прижимая к себе Стешу, чуть приподняла ее.

– Стешка! – еще раз позвал Яшка.

– Не слышу. Не слышу, говорю. Ну! – Стеша шагнула к Яшке, выхватывая наган.

– Степанида Степановна, уйди-ка отсюда. Ступай, приляг маленько аль за другое дело возмись, а семейные дела потом разберутся, – грубо вмешался Захар и отвел Стешу в сторону. – Нонче, через часок, поди, наступать будем. Вот к чему готовься, – и ласково погладил голову Стешу. – Тяжело? А там матерям, сыновьям, дочерям, поди-ка, ой, как тяжело. А он ведь, Яшка, стервец, первый дверь открыл, нож в спину воткнул.

– Знаю, – ответила Стеша. и убежала.

Общее наступление началось ровно в одиннадцать часов ночи.

Отряд Шлэнки залег со стороны Широкого Буерака, отрезав долину от большой дороги, а Захар Катаев стоял за горой Аякой, перегородив путь на Полдомасово. Помимо этого, самостоятельные, ни с кем не связанные группы разбросались в лесу, подстерегая беглецов из долины, и долина была оцеплена со всех сторон. Остался открытым только один путь – на Синее озеро, через разлив реки Алая. Река Алай тут разливалась по болотам, топям, озерам на десятки километров, и обычно к Синему озеру добирались только на лодках, и то не всякий: надо было знать водяные тропы, чтобы неожиданно не попасть в зыбь или заросшие водорослями омуты.

Шлэнка стянул коммунаров из коммуны «Бруски», актив колхозов, а Захар Катаев составил свои отряды из трактористов и из людей, которых силой затянули в долину. Они бежали к нему одиночками, пачками, он группировал их на стоянке, заставив агронома Борисова вести перепись, а печнику Якунину отобрал человек двадцать смельчаков, послав их на разведку и главным образом затем, чтобы поймать Маркела Быкова.

– Ваше дело, ребята, под командой товарища Якунина живым или мертвым словить и доставить этого шута горохового, – сказал он.

Агроном Борисов в течение этих дней не отставал от Захара. Он ходил за ним, моргал, пугался. Захар, стараясь подбодрить его, давал ему какую-либо работу, однако к тракторам не подпускал, чувствуя к нему недоверие.

Борисов все жаловался. Теперь ему трудно будет жить в Полдомасове, ибо полдомасовские мужики, узнав, что он был в отряде Захара Катаева, выживут его, и ему непременно придется удирать с опытной сельскохозяйственной станции. А этого делать ему вовсе не хочется: он в Полдомасове развел показательную пасеку.

– Скоро качать буду, Захар Вавилыч, приходите теплый мед пить.

– Экая тряпица! – Захар начинал уже злиться.

И вот ровно в одиннадцать часов от Кирилла было получено распоряжение – наступать.

Люди в долине под командой Маркела Быкова ровно в одиннадцать часов слышали шум со стороны Широкого Буерака. Вначале всем показалось – в лесу, за горой, поднимается буря: шум несся приглушенно, ворчливо, как это бывает в лесу при приближении урагана. Но вскоре с гор яснее стали доноситься отдельные человеческие выкрики, потом выкрики слились в один гул, гул перехлестнул в громогласный гомон: казалось, тьма ночи раскрыла свою черную пасть и орет тысячеголосой глоткой... И всем стало ясно – со стороны Широкого Буерака по мелкому кустарнику с горы бегут люди.

Сторонники Маркела Быкова дрогнули, поползли в разные стороны, прячась в кустарнике, удирая по тропам.

– Мужики-и! – звонко крикнул Маркел и, освещенный пламенем костра, потряс кулаками. – Мир завоевать хотели. Червячье поганое! Чтоб жены от вас отвернулись, чтобы дети ваши родные не признавали вас!.. Кто с нами – поклянемся перед пещерой, – он показал рукой на пещеру в горе Аяке, – перед костями наших прадедов, кои умереть сумели... себя живьем сожгли, а врагу не дались... Не сдадимся, вот что я говорю, и пойду, седину свою сложу за вас, говенники!

И первый шагнул во тьму, навстречу оглушающему человеческому реву, а за ним – одни, выхватив топоры, вилы, обрезы винтовок, скрежеща зубами, готовые кинуться на огонь; другие – прибито, трусливо, как волки, попавшие в кольцо, – двинулись навстречу гомону, улюлюкая, звеня топорами, вилами.

Первый бой завязался с отрядом Шлётки на подступах к большой дороге. Люди во тьме остервенело кинулись друг на друга, рвали бороды, распарывали животы вилами, рубились топорами, бились дубинками, кулаками и раздирающими воплями, звоном железа оглашали тихие озера, вспугивая дичь.

В течение нескольких минут отряд Шлётки был опрокинут, отброшен к болоту, загнан в топь. Тогда люди под командой Маркела Быкова, встряхивая головами, метнулись на гору к большой дороге. Но на возвышенности их залпом из берданок встретил отряд печника Якунина, затем из-за каждого куста, из-за каждой кочки выскочили люди, вооруженные самодельными пиками. Пики были длинные, отточенные, пыряли людей, бегущих в гору, издали, молча, без шума... шум оставался позади, у болота. Стычка с отрядом Якунина для Маркела явилась неожиданностью. Он схватился за голову и первый растерялся. И как это все вышло – он сам не знает: отвага его людей с молниеносной быстротой была опрокинута; они неслись сломя голову по направлению к горе Аяке, желая во что бы то ни стало прорваться к Полдомасову, к своим избам, к своим гумнам: там есть где спрятаться. Маркел хотел крикнуть, позвать народ, но кто-то пырнул его пикой в спину, и он, чувствуя, как горячая струя крови поползла, приклеивая рубашку к телу, сам кинулся догонять своих людей.

– Зря бежите... Зря... в рот смерти... в рот, – шептал он слыша, как кто-то гонится за ним, хватая за шиворот. у него появилось желание круто повернуться, наотмашь ударить преследователя, но страх уже сковал его, – страх последнего одиночки, оставшегося в хвосте толпы. И кто-то ударил его кулаком в затылок. Он со всего разбегу сунулся лицом в грязь, а тот, кто за ним гнался, притиснул его коленкой.

– Кто! Кто смеет! – хрипло вырвалось у него.

– Я... Якунин...

– А-а-а!

Обида, злость подбросили Маркела; он вывернул лицо из вязкой сырости, хотел сбросить с себя Якунина – и замер: в долине вдруг все стихло, – даже слышно было, где-то на болоте прокричал селезень, – а со стороны горы Аяки зашныряли прожекторы тракторов. Длинные полосы света, перекрещиваясь, шарили по долине, стягиваясь на людях. Люди стояли у подножия горы, вытянув вверх руки, точно собираясь вспорхнуть в темь неба, а с горы от тракторов спускался человек – бородатый, широкоплечий, на коротких ногах.

«Захарка Катаев», – мелькнуло у Маркела, и он – чудно! – вспомнил, как когда-то давно, еще в дни молодости, на ярмарке выходил один на один против Захарки в кулачном любовном бою, и, побив друг друга в кровь, они забирались в трактир, пили несколько дней, как самые настоящие закадычные друзья. А теперь – вот он, Захар Катаев, идет от тракторов и, расправляя грудь, командует:

– В воду! Лезь в воду!

А люди стоят, подняв руки, как истуканы.

– В воду! – еще раз прокричал Захар. – Стрелять будем!

В толпе кто-то завыл – придавленно, приглушенно. А со стороны болота, со стороны горы Аяки, со стороны большой дороги на толпу двинулись отряды, вооруженные берданками, пиками... Они ураганом ринулись на людей с поднятыми руками, сбили их, и Маркел увидел, как крайние, освещенные прожекторами, нехотя, точно боясь промочить ноги, сунулись в воду. На них наперли, сбили, и они метнулись, как стадо овец, в реку... и река, задирая полушубки, понесла их по течению к Синему озеру...

– Бра-а!.. братики-и-и! – завизжал в смертельном страхе Маркел, извиваясь под Якуниным, словно уж.

– Все... Ровно в полдвенадцатого, как по расписанию, – не без гордости проговорил Кирилл Ждаркин, с макушки горы от лесной сторожки наблюдая за боем, видя, как река понесла людей к круговоротам, к зыбунам, заросшим водорослями. – Ты, Стешка? – Он обернулся к Стеше. – Поди скажи, пожалуйста, Захару, пускай ведет сюда пойманных. До утра надо закончить с ними... Ничего, – добавил он, чтобы успокоить Стешу, – рабочий класс врага бьет без слез. А у этих руки в крови... Так ты ступай, а я маленько... – Кирилл не договорил: сон моментально сковал его, сидящего на рыжем жеребчике.

На обратном пути Стеша снова натолкнулась на Яшку. Он уже был привязан к повозке, крутился около нее, ползал, как обезьяна. Стеша хотела пройти мимо, не глядя на него. Яшка позвал ее, позвал тихим, мягким голосом, таким же, каким зовет Аннушка.

– Уходи, – прошептала она и топором перерубила веревку. – Уходи и... и не являйся! Своими вот руками придушу. Понял?... Ну-у! – И она рванулась, когда Яшка кинулся ей в ноги.

Звено шестое

1

По песчаной, прибитой весенними дождями дороге машина шла быстро, шурша, сбрасывая с себя ошметки грязи, ловко изворачиваясь около луж, рытвин, уносясь в вихре от слякотного большака в сторону болот, дымных омутов, – и Стеша почти не управляла ею. Она привычно, умело, цепкими руками вела машину, жадно глотая горьковатый, пряный запах сосен, и украдкой поглядывала в висящее перед ней сигнальное зеркальце. в зеркальце она видела убегающие сосны. Они росли вблизи, сплошной стеной обгорелых стволов уходили вглубь, свисали над дорогой зелеными лапами, хлестали ими по кузову, и машина, точно живая, извиваясь под ударами, нарушая дрему бора, неслась со скоростью семидесяти километров.

И Стеше было радостно и легко: она чувствовала себя такой, какая она есть, – женщиной-шофером Двадцати четырех лет, мир перед которой открыт, доступен в своей простоте и ясности. И в то же время ей почему-то иногда казалось, будто ходит она по берегу реки – травянистому, прохладному, – ходит нагая, подставляя лучам солнца свое упругое, ничем не оскверненное тело, оберегая его. Странно, но ей так часто казалось. Может быть, потому, что она не могла забыть прошлого. Прошрое всегда стояло перед ней, как предостерегающие красные флажки на пороховых заводах, и сдерживало ее, заставляло быть осторожней. А ей хотелось бегать, прыгать, как в детстве, петь во весь голос и иногда поозоровать: дразнить людей своей независимостью, тем, что вот она – первая женщина-шофер в округе, ни перед кем не содрогается, никому не дает отчета в своих поступках, не жмется, не ползает, как раньше перед Яшкой. Ибо теперь мир перед ней стал прост, доступен, и она стояла перед ним, сознавая себя сильной, свободной, независимой, такой, какой она сейчас есть. Это радовало ее и в то же время заставляло быть осторожной, предусмотрительной и даже расчетливой...

Но горьковатый запах сосен дурманил ее, и ей хотелось со всего разбега загнать машину в чащу бора, ближе к ковровым мхам, пахнущим кисловатой прелью, и поозоровать.

Поозоровать!..

Но разве это возможно, когда рядом с ней сидит Богданов?

О, и этому лохматику хочется поозоровать. Вся его обособленность, сумрачность – все это чужое, со стороны. Ведь Стеша хорошо знает, почему он всегда в автомобиле садится рядом с ней и при всяком удобном случае начинает рассказывать, тайком уча ее. Да, за эти месяцы она окрепла, выросла около него, поняла этого чудаковатого человека. И не напрасно всякий раз, когда она видит, как он шагает по площадке, – согнутый, обремененный делами, – ей хочется подойти к нему, погладить его голову – погладить нежно, ласково, как гладит она голову маленькой Аннушки... А сейчас ей хочется вывести его из машины, крикнуть: «А ну, лохматик, догоняй». И побежит. Да кто за ней не побежит – за женщиной-шофером, голос у которой мягок, бодр, призывен? Кирилл Ждаркин? Директор! Вот он сидит в кузове и все о чем-то думает. Лоб у него хмурится, покрылся морщинками. Даже под глазами появились морщинки, веером раскинувшиеся вниз, а глаза прикрыты, точно он непомерно утомлен. Кажется, он совсем забылся: машина кидает его,

подбрасывает, а он, вцепившись рукой в петлю, весь отдался себе... И Стеша, наблюдая за ним в зеркальце, осторожно ведет машину, оберегая Кирилла – утомлен* ного, с закрытыми глазами, без улыбки.

«Вот если бы он был таким... хотя бы со мной. Я отдала бы ему все, все», – думает она, рассматривая его в зеркальце, и начинает жалеть его: ей хочется остановить машину и криком «Кирия!» разбудить его от думы, но она сдерживается, зная, что пробуждение подарит ей улыбку – мягкую, нежную и расчетливую, а Кирилл заговорит с ней, ударяя на «ть» – «надыть», «пойтить», – заговорит тем языком, каким он говорит, когда начинает перед кем-нибудь из городских больших людей разыгрывать из себя мужика.

– Ненавижу, ненавижу, – тихо шепчет она, чтобы окончательно утвердить в себе ненависть к Кириллу, и смеется сама не зная чему.

Машина сделала резкий скачок, вильнула, точно всеми колесами попала в масло, и зарылась, буксуя в торфяном иле.

Стеша оторвалась от лица Кирилла и только тут заметила, что они давно оставили позади Шелудивые топи, а сосновый бор сменился плешинками, зыбунами, заросшими карликовыми березками, сухим малинником, и только рядом с машиной на изволоке, гривой внедряясь в болото, стоят могучие, перевитые сосны, годов которым не счесть.

Стеша нажала на рычаг, дала задний ход. Машина встрепенулась, завывала, разбрасывая во все стороны дряблый торфяной ил, потом захрапела, утопая, как лошадь в болоте.

– Дальше не пойдет, – заявила Стеша и, выскочив из автомобиля, открыла перед Кириллом дверцу. «Вот, вот, – подумала она, следя за ним, – он сейчас, как всегда, смахнет с лица хмурь, улыбнется».

Очнувшись от крика, Кирилл, действительно улыбаясь, заглянул в стекло дверцы, чуточку задержался, проведя рукой по лицу, выправляя его, и, согнувшись, выпрыгнул, потянувшись, потрескивая застывшими суставами.

– А я плавал в прошлое. Хорошо иногда вспомнить прошлое. Жизнь у нас... захватывает. А? – сказал он, глядя поверх Стеши, молниеносно перебирая все, что пронеслось перед ним за то время, пока он сидел в автомобиле: таранас с потерянными задними колесами, буйная попойка в Широком Буераке, Москва, ЦКК, академия, бои в долине Паника, движение людей в округе, то, как люди после боев несколько дней ковали пики, острили вилы, где-то откапывали заржавленные винтовки и, казалось, ни о чем не хотели знать, кроме как о втором наступлении...

И было Кириллу временами тяжело, «паршиво», как шептал он, и хотелось ему все вернуть, чтобы начать сызнова, уже с накопленными силами, знанием дела, без срывов – отвратительных, за которые он наедине часто бичевал себя жестоко, безжалостно, скрывая это от людей, улыбаясь на людях. Многое он жалел, как жалел упущенную утку на болоте, – утку, которая часто преследовала его, когда он находился наедине с собой.

– Жизнь, говорю, у нас... захватывает. А? – проговорил он еще раз.

Стеша промолчала.

Солнце сходило с гор.

Они стояли на изволоке около торфяного массива «Брусничный мох», а внизу, убегая вдаль уступами, скалистыми отрогами, утопая в трясинах, болотах, замыкаясь на далеком горизонте цепью зубчатых гор – караваном подоблачных верблюдов, – внизу далеко раскинулось урочище «Чертов угол», заросшее березняком, сосенками, малинником, осокой и серебристыми коврами мха.

Над урочищем плавали утренние густые сумерки, тени, а в самой низине, там, где реки сливались в одно русло притока Волги – тихой Атаки, лежали, припав к берегам, белые туманы, пышные, как вата. Они лежали тихо, не Шелохнувшись, и издали напоминали глубокие снега.

Солнце сходило с гор.

Его еще совсем не было видно, оно еще где-то пряталось за выступами бора, но дали урочища – замкнутая зубчатая цепь гор, верхушки отдаленных выступов, – высокие дали уже горели огнями. Яркие краски солнца, лучистые ливни, спускались, сгоняя тени, утренний полумрак, тревожа белые туманы.

Утро било в разгоряченное лицо Стеши.

И Кирилл – он стоял затылком к солнцу – только тут, впервые заметил, что у Стеши большие, тяжелые зеленоватые глаза, а лицо упрямое, сжатое, усеянное мелкими крапинками, сливающимися в один матовый покров. Может быть, таким его сделала коричневатая кожанка летчика, плотно

обтянувшая лоб Стеша, выделяя тонкие волнистые брови, зеленоватые глаза и нос с чуть-чуть оттопыренными, трепещущими розоватыми ноздрями. А губы у нее все такие же – полуоткрытые, с сизыми ободками по краям, жадные, готовые брызнуть кровью.

«Какие у тебя губы, Стеша! – чуть было не вырвалось у Кирилла. – Фу, фу, что это я было ляпнул». И, громко вздыхая, проговорил:

– Надо и Богданова толкнуть. Жалеешь его?

Стеша поймала на лице Кирилла еле заметную суровость и, догадываясь о его думах, тихо рассмеялась, поднимая правую бровь.

– Богданова? Вон он!

Она показала на Богданова и, зная, что Кирилл рассматривает ее всю, одетую в черные шоферские шаровары, кожаную куртку, – ничуть не стыдясь его, наоборот, намеренно дразня, покачиваясь на мускулистых ногах в высоких, с застёжками, полусапожках, перепрыгнула через канаву и остановилась в полуобороте, ловя его взгляд.

– У-у! – крикнул он, неожиданно пойманный, удивляясь той робости, какая появляется у него – и с каждым разом все больше – перед Стешей. – Богданов – гусь! – крикнул он, намекая на то, что тот неспроста садится в автомобиле рядом со Стешей. – Гусь, говорю, – повторил он и пошел на Стешу, намеренно ступая так, что под его шагом захлюпала влажная, устланная прутьями земля. – Куда завезла? Знаешь, у нас каждая минута на счету!

– Теперь уж и не знай, куда тебе «пойтить», – Стеша легко перемахнула через лужицу и убежала к Богданову.

– Вот шутовка, – бросил вслед Кирилл и сам, не замечая того, начал прыгать через лужи, настигая ее.

Богданов, глядя на овражек, перерезающий дорогу, гудел:

– Форд, Стеша, нам советовал сначала дороги построить, а потом машины заводить. А мы – наоборот.

– У нас все наоборот.

– Верно! Иной ученый скажет нелепость и десятки лет держит в плену умы миллионов, – добавил Богданов.

– Это как же: ученый – и нелепость?

– А вот, например, один ученый профессор утверждал – да где! – в Берлинском университете! – что дождь зависит от луны. «Смотрите, – говорил он, – когда луна прячется за тучу – идет дождь, как только луна начинает гулять по чистому небу – дождя нет». И этому чудаку верили.

– Чего это вы записываете? – Стеша через его плечо – она была выше его ростом – заглянула в книжечку.

– Узелки завязываю, – пошутил Богданов. – Когда я говорю с тобой, Стешка, у меня хорошие мысли рождаются.

– А вы их мне скажите... ведь я виновница?

– Не всякую мысль надо выбалтывать сразу.

«Живет с ней, тихоня, – Кирилл вспыхнул от неожиданного открытия и весь передернулся. – Ну да... они держат себя так, как люди, знающие друг друга до конца», – и он, боясь, что у него сейчас может с языка сорваться какая-нибудь резкость, отвернулся, хотел сбалагурить, но грубо прохрипел:

– Раскалякались... время подходящее.

Стеша выпрямилась, окинула его взглядом с ног до головы и, убегая к машине, проговорила:

– Хозяин!

– Ты чего ее? – Богданов насупился.

– Ничего.

– Ничего?

– Аб-со-лютно ничего, – засмеялся Кирилл. – А ты что взъерошился?

– Ах ты, «дилектор»! – в тон ему ответил Богданов, рассматривая перед собой овражек, откуда таранились рогульки хвороста, поломанные оси, оглобли. – Легче, товарищ «дилектор», на автомобиле Волгу переплыть, чем этот овражек, – он засмеялся, напоминая Кириллу о дне, когда тот, получив назначение принять тракторную станцию и не имея еще канцелярии, от руки написал приказ, подмахнув его: «Дилектор К. Ждаркин». Директор, а не дилектор, – поправил его тогда

Богданов.

– Ну, директор... пускай будет так, – согласился Кирилл.

С тех пор Богданов и зовет его «дилектором».

...Стеша, зная, что Кирилл не терпит издевки, – слыша смех Богданова, в упор посмотрела на Кирилла, ожидая, что он нахмурится. А тот улыбался так же, как улыбался, когда судили его, и в тот день, когда получил назначение на должность директора тракторной станции, как улыбался он, валясь ото сна там – на горе, у лесной сторожки, как улыбался и потом, когда Яшку Чухлява нашли с отрезанной головой на полотне железной дороги. Все лицо его было сковано улыбкой – застывшей, приторной, расчетливой, как улыбка осеннего солнца.

– Светит, а не греет. Ненавижу, – еле слышно прошептала она, чувствуя все свое бессилие перед Кириллом, перед его улыбкой. – Ненавижу, – и мир глянул на нее другой стороной.

2

Ночь была темная, с отблеском, как начисто вымытое гудронированное шоссе. В такую ночь, по уверению знатоков чертячьих историй, по лесу бродят анюттики. На заре они застывают пнями на далеких топких болотах, строят свои хитрые планы, а ночью шатаются по лесам, кричат филином, по-ребячьи плачут, прикидываются кошкой, волком, подкарауливают запоздалого путника и прodelывают над ним разные каверзы.

В такую ночь, недалеко от дороги, у машины возились Богданов, Кирилл Ждаркин и Стеша. Машина, увязшая в болотном иле, заляпанная, стояла на старом месте, и они кружились около нее с самого утра, подкладывая вывернутые с корнем сосенки, изо всех сил тянули ее на дорогу, а машина только поскрипывала, кричала, глубже погружалась в болотный ил.

– Да-а, – протянул Богданов. – Вот денек попусту и вычеркнули.

– Запыхтел. – Кирилл хотел было круто выругаться, но смолчал, злясь на себя за то, что согласился ехать с Богдановым. – У него, видишь ли ты, прорыв... А у меня, черт возьми, все-де по маслу идет. По маслу. Так намаслят, что потом покатишься без задержки. И черт – этот овраг!.. – Кирилл злился, зная, что он теперь не успеет к началу весенней посевной кампании, что вместо него кто-то другой даст распоряжение о выходе тракторов в поле.

– Но ведь если бы я поехала прямо, я утопила бы машину, – не то спрашивая совета, не то оправдываясь проговорила Стеша, глотая слезы от усталости и досады.

– Я тебя, Стешенька, не виню, – мягко ответил Кирилл.

Стеша быстро вскинула на него глаза. Он стоял рядом с ней, касаясь ее плеча. Но в темноте лица его не было видно, и оно представилось ей таким же, как и всегда, – улыбчивым.

– Еще бы! «Не виню». На меня надо все свалить. Тут черт ногу сломит! – грубо выкрикнула она и спохватилась: – Ох, простите, пожалуйста. Я скоро не знаю, что сделаю... я заплачу.

– Вот еще... вот еще, – растерянно начал успокаивать ее Богданов. – Конечно, ты тут ни при чем. На строительстве нас ждут, неладное там, сама знаешь. А Кириллу на поле надо выезжать, это верно. А мы вот тут болтаемся, – с досадой закончил он.

– Вот, вот и... валите все на меня.

– Успокой! – Кирилл качнулся в сторону. – Кто-то едет.

Они уже в сотый раз останавливались, всматривались в сторону урочища, ожидая, что оттуда кто-нибудь подъедет им на помощь, прицепят машину к лошадям, выволокут ее из тины. Пустяковое дело. На это потребуется полчаса. Но из урочища никто не появлялся, и это раздражало, томило их.

Нелепость положения Богданов сознавал яснее всех и знал: стоит только ему сделать какой-нибудь неверный шаг, проговориться, выболтать неосторожное слово, как взметнется Кирилл, взорвется Стеша, – и тогда вряд ли удержится их крепкая дружба.

– А где теперь Плакушев? – задал он вопрос, желая отвлечь внимание Кирилла и Стеши от того нелепого положения, в которое они попали.

С упоминанием о Плакушове всплыла лесная сторожка далеко от долины Паника и ночь, почти такая же темная – лакированная. За столом в сторожке сидят Богданов, Кирилл Ждаркин, Захар Катаев, Шлэнка, Гришка Звенкин, а чуть поодаль – Стеша, ожидающая над собой суда за Яшку.

Первым в сторожку ввели Илью Гурьянова. Он вышел на свет, как из подвала, протер глаза, осмотрелся, стараясь не глядеть на людей, и на вопрос: «Сколько вам лет?» – ответил:

– Лета тут ни при чем.

– С какой целью вы организовали восстание?

Илья чуть-чуть улыбнулся.

– Глупый вопрос. Глупее в жизни не слышал.

– Вы, может быть, закурите? – Богданов подвинул ему папиросы.

– Не балываюсь. Спасибо, товарищ Богданов.

– Почему же вы не хотите отвечать по-деловому?

– По-деловому задавайте вопросы.

– Этот вопрос деловой – с какой целью вы подняли кулачье?

Илья снова смолк, затем, подумав, сказал:

– Не обольщайте себя... Кулачье!.. За нами шли массы... Хлеборобы.

– Но они же вам и вложили, – вмешался Кирилл. – Ты что ж думаешь, мы вот впятером тебя поколотили?

Илья посмотрел на Кирилла и дрогнул.

«Убьет», – подумал он и свернулся, не отвечая ни на один вопрос.

– Та-ак, – проговорил Кирилл. – Приведите-ка Маркела Быкова.

Маркел не вошел, а вполз, словно у него были перебиты колени, и, поднимаясь, часто закрестился, зашепелявил. Увидав за столом Кирилла Ждаркина, кинулся ему в ноги:

– Кирилл Сенафонтыч. Да что ж это, а? Умертвить меня хотите? А? Людей в воду, захлебнулись. А меня?... Седину мою?

– Факт, – пошутил Кирилл.

– Смутили, смутили меня, – затараторил Маркел.

– Петра Кулькова, – отдал распоряжение Кирилл.

Петр Кульков вошел, как на гулянку. Заложив руку за борт пиджака, он, раскланявшись со всеми, взял папиросу, закурил, брезгливо осматривая валяющегося на полу Маркела, и, усмехаясь, сквозь зубы процедил:

– Зачем вам валяться, Маркел Петрович? Я вам в долине не раз сказывал – давайте сматывать удочки, народ в обратную сторону вести: далеко зашли.

– Ты? – удивленно, с пригнусом вскрикнул Маркел и поднялся. – Ты? Ах ты кривой беркут!

– С какой целью вы организовали восстание? – спросил Богданов, обращаясь к Петру Кулькову.

– Мы? Я тоись? Ко мне этот вопрос не подходит.

– Как – не подходит? Да ведь ты...

Кульков перебил Кирилла:

– Я прошу вас по закону со мной... Почему я вас – на «вы», а вы меня – на «ты»? Откровенно я вам говорю: пошел в долину исключительно с той целью, чтобы разложить народ. Вы знаете, я в восемнадцатом году в Полдомасове советскую власть утвердил. Да, я.

– Вишь ты, беркут кривой! – Маркел Быков – уставился на него и снова кинулся к Кириллу: – Батюшка, милай... мы ведь с тобой... Ах, ты-ы! Да что же это я? Как сказать? А... Я ведь... Братики! Я ведь сроду человека пальцем не тронул.

Гришка Звенкин сидел в углу. Из-под марли на голове еще сочилась кровь, глаза были трепетные, как у подшибленного галчонка, и весь он дергался, часто прикладывая ладонь ко лбу, нагибался к Стеше, жалуясь.

– Мутится у меня все... Я бы сейчас, знаешь чего – уснул бы.

– Ступай поспи, – посоветовала Стеша.

– Нельзя... Свидетель я.

– А ну, расскажите, товарищ Звенкин, – обратился к нему Кирилл.

Гриша рассказал. Когда полдомасовцы ворвались на второй этаж каменного дома, Гриша метнулся к окну, хотел выпрыгнуть, в это время кто-то ножкой от стула Ударил по затылку, и он свернулся, присел в углу, как куренок... Потом поднялся гам, рев, стоны, потом все стихло, комнаты опустели... Гришка, пристывший в углу, сквозь струи крови увидел, как в комнату вошел Маркел Быков, вооруженный деревянным рубчатым бельевым вальком. Убитые коммунисты уже были стянуты в одно место. И Маркел Быков, обходя их, бил вальком по головам, раздрабливая черепа.

– А мы накануне мешок с семенами люцерны привезли, – говорил Гриша. – Тут в углу мешок поставили. Маркел-гад вошел и давай – побьет-побьет вальком, потом к мешку приложится, горстью

семена загребет – и в карман и опять коммунистов вальком примется бить. Побьет-побьет – и к мешку... Может, мне все это чудится... Не ручаюсь.

На лице Кирилла заиграла улыбка, а Маркел кинулся к Грише:

– И врет! И врет! Я? Чтоб я на такое дерьмо, на семена польстился!

– А ну, выверни карманы! – резко бросил ему Кирилл. – Вот сюда... на стол.

На стол из кармана Маркела Быкова выкатилось несколько золотистых горошин люцерны. Горошины закружились, заметались, словно желая скрыться от человеческих глаз, а Маркел упал на пол, как сраженный пулей.

– Дайте, я его. Ну, дайте, – потребовал Гриша, выхватывая наган.

– Стоп! С наганом в сторонку, – отстранил его Богданов. – Что вы скажете? – Он повернулся к Илье Гурьянову.

– Гадина! Убивать умел, умей умирать.

– Ага. А что, вы думаете, с вами надо сделать? – спросил его Богданов.

Илья долго смотрел себе в ноги.

– Я ведь хорошо знаю – слезами вас не проймешь... Да и не в вас дело. – И снова смолк, потом весь дернулся и сказал тихо, еле внятно: – Расстрелять!

– Ну, а что вы будете делать, ежели останетесь жить? – задал вопрос Богданов.

Захар ждал – Илья скажет: «Буду исправляться, заглаживать свою вину».

Шлэнка ждал – Илья скажет: «Работать начну по-новому».

Кирилл ждал – Илья начнет вертеться, увиливать от прямого ответа.

Богданов ждал – Илья промолчит.

А Илья, подумав и глядя по очереди каждому прямо в глаза, проговорил:

– Мне ничего другого не осталось, как драться с вами. – Почему? – спросил Богданов.

– Вы людей превращаете в конверты...

– ...Какой все-таки стойкий был Илья Гурьянов, – прервал воспоминания Богданов.

– Да-а, – согласился Кирилл. – А умирая, свихнулся: упал на колени.

– Жить хотелось...

И они снова смолкли, вспомнив, как в то же утро на полотне железной дороги нашли Яшку Чухлява. Перед тем как лечь на рельсы, он снял рубашку, свернул ее аккуратно и положил поодаль. Возможно, Яшка ждал – за ним гонится Стеша, и, желая припугнуть ее, лег под поезд. Не потому ли он так аккуратно свернул рубашку? Но Стеша не появилась, и наутро Яшку нашли с отрезанной головой, с запекшимися в крови пальцами.

– А здорово мы их скрутили, – заметил Кирилл. – Теперь в Полдомасове передовые колхозы. И все-таки я думаю, мы главарей – настоящих организаторов – все еще не выудили...

– Это ты преувеличиваешь. – Богданов присел перед костром. – Замечательное время переживаем... Я вот вспомнил, когда мы с тобой были в Москве. Сколько уже прошло?... Ох, два года...

– Да, два. От того времени... ты опять зарос... галстук только остался. Да и тот, видно, никогда не снимаешь.

– Ну-у? Это верно... галстук.

– Кто-то едет, – прервал Кирилл и шагнул в сторону.

– Умница какой стал у нас Кирилл, – шепнул Богданов Стеше. – Прямо радуюсь за него, – и тоже шагнул во тьму за Кириллом.

Стеша у костра осталась одна.

– Батюшки, какие они оба хорошие. И этот лохматик... и тот. Ах, если бы, если бы...

Она так и не договорила: из тьмы вынырнула лошадь. Окутанная тьмой, она казалась огромной, с копытами, и глаза у нее светились. Вот она, ныряя, перешла через овражек, следом за ней показалась телега, а через несколько секунд буланый уже стоял около Стешы и, тяжело дыша, тянулся к ней мокрой мордой. Потом все пошло в каком-то тумане.

Около костра сгрудились люди, лошади – целый обоз, тишина нарушилась говором, лаем собак, скрипом. Перед костром замелькали лица. Стеша узнала только Захара Катаева и Феню Панову. Захар подошел к машине, бережно потрогал кузов. Около машины засуетился Гриша Звенкин, сбрасывая с себя брезентовый плащ, предлагая «тянуть машину» на дорогу.

Захар остановил...

– Это, братцы, вам не бревно... Изуродуете. Я так думаю, до утра ее оставить. Как ты думаешь, Кирилл наш Сенафонтыч?

Кирилл подумал и неожиданно для себя решил, что сейчас все равно никуда не поедешь, а до зари недалеко, остаться же здесь – значит в ночном посмотреть на Стешу и Богданова, проверить свое подозрение.

– Остаться? Да, пожалуй. Как ты думаешь, товарищ Огнева?

Стеша встрепенулась: ей показалось смешным, что Кирилл назвал ее так.

– Я согласна, товарищ Ждаркин, – устало смеясь, ответила она. – Вы всегда правы, товарищ Ждаркин.

– Мочалитесь все, – шутя вступился Захар.

– Мой привет вам, начстря, – поздоровалась Феня, когда Богданов вышел к костру.

– А, привет, привет комсомолу, – не глядя на Феню, Богданов на ходу пожал ее руку. – Что там, Захар Вавилович?

– Там? – Захар посмотрел в сторону Кирилла. – Шумят малость, пирога, слышь, нет, мяса нет... Ну, мы пригнали обоз. Да что это? Жрут. Ведь сорок тысяч ртов. Вот вам болотный человек пакетец просил вручить.

Захар передал Богданову пакет от профессора Омского.

Стеша, продрогшая, усталая, подошла к костру, легла, прислушиваясь к голосу Захара.

– Он там, – говорил Захар, сдерживая смех, – нашел каку-то женщину на большой глубине болотной. Говорит: женщина эта есть княгиня. Князек какой-то поймал ее с любовником и привязать велел к доске... Привязали, стало быть, и опустили княгиню в болото – там она нашла себе смерть и покой вечный. Только вот не сгнила. Беда это или как – не знаю.

Стеша хотела подняться, оборвать Захара за насмешку, но сон сковывал ее всю: ноги и руки показались ей слишком огромными, кожаная куртка тяжелой, точно чугуновой, и она, не проронив ни слова, крепко заснула.

3

Богданов спать не мог... Засыпал он хорошо только в дороге: от тряски и качки мысли рвались, путались, и мозг терял свою власть над ним. Этим и объясняется то, что иногда он брал машину и гнал сто, полтора километра куда-нибудь в степь, приводя такой бесцельной ездой в недоумение Стешу. Сейчас он тем более не мог спать: он напряженно думал о том, что же творится там, на строительстве металлургического завода.

«А не все ли равно? Ведь я сейчас сделать и так и так ничего не могу. Фу, черт!» – Он неопределенно махнул рукой и принялся читать докладную записку.

Омский писал:

«Рядом с тем местом, где в прошлом году, семнадцатого июня, в пять часов и двенадцать минут утра, найдена черепная коробка, берцовая кость первобытного человека № 1...»

Омский подробно, тщательно описал место, обстановку, людей, которые открыли останки первобытного человека, а Богданов все это пропустил.

«...при вторичных раскопках нашли останки следующих животных: большой дикой кошки, собаки, медведя, древнего слона, льва...»

Богданов поставил на поле докладной записки птичку, написал: «пещерного льва» и тихо улыбнулся, замечая, что и он сам становится тут таким же щепетильным, как профессор Омский. Омский писал дальше о том, как он натолкнулся на останки первобытного человека № 2, вступил в спор с профессором Кригером. Кригер, осмотрев останки, заявил, что они принадлежат саперу французской армии 1812 года.

«Ну, это, знаете ли, самое настоящее вредительство!» – возмущался Омский.

Богданов снова рассмеялся, представляя себе, как Омский при этом отбросил в сторону ручку, оскорбленный за свою находку, ибо был убежден, что останки людей № 1 и № 2 принадлежат жителям каменного века... Богданов пропустил весь спор с Кригером и вдумчиво начал читать те места, где Омский описывал природу, среди которой жили те люди, кровь которых, может быть, и по сей день течет в жилах профессора Омского.

«На основании находок мы знаем, что в той местности жили гиппопотам, слон, носорог Мерка и махайродонт, наравне с многочисленными табунами оленей, диких лошадей... и по всем этим

находкам мы можем определить, что суровые зимы отсутствовали (виноградная лоза служит тому доказательством), и наши дикие предки жили под открытым небом, на склонах небольших гор или непосредственно у рек – в пещерах. Реки им давали в изобилии рыбу, здесь же они стерегли дичь, рыли глубокие ямы для крупных животных. Труднее была борьба с хищниками, особенно с неустрашимым махайродонтом. Этот хищник походил на льва, был гораздо меньше ростом, но имел на носу два клыка-кинжала. Обладая способностью делать гигантские скачки, он охотился даже на мамонта. Человек в борьбе с махайродонтом безусловно был бессилён...»

«Бедный человек, – улыбнулся Богданов, понимая горечь Омского, но интересуясь совсем другим. – Так-то! Климат теплый... полутропическая растительность. При той же растительности его открыли на севере. Это было бы замечательно – найти уголек... руду и уголек – вот какие «полезные ископаемые» интересуют нас, уважаемый профессор Омский. Вас – виноградная лоза, нас – уголек и руда», – заключил он и посмотрел в сторону большого костра.

У костра, замкнувшись в круг, хлебая из ведра варево, сгрудились люди и внимательно слушали Захара Катаева. Кроме Захара, Кирилла, Стеши, Фени, тут были и такие, которых впервые видел Богданов, и они-то особенно заинтересовали его. Рассматривая бронзовые от пламени лица, он остановился на одном курчавом мужике, по имени Якуня-Ваня, предполагая, что этот, очевидно, с какого-нибудь дальнего хутора...

– В то время и случилась с Филатом Гусевым беда, – говорил между тем Захар. – Ты ведь о нем интерес имела, Фенюшка? И случилось с ним такое приключение лет сорок, а то и больше, поди, тому назад – с того дня и ходил он голову набок. Жил он тогда по соседству с несусветным колдуном Кузьмой... И раз вот как-то Филат слеги на повесть клал, чтоб солону не сдуло. Одна слега возьми да и упади на огород к Кузьме и помни там огурцы. Кузьма – на Филата. Ну, Филату отмолчаться бы аль ржи пуда два Кузьме сунуть, и дело с концом, А он – нет: мужик был ретивый, за самолюбие в огонь, бывало, полезет – возьми да и осени крестом Кузьму, – Захар сам остервенело закрестил перед собой Якуню-Ваню. – Ну, с этого и началось... И стало с того дня позывать Филата в ночное на кормежку лошадей. Как вечер – нет удержу – тянет его в Долинный дол, как молодого жениха к невесте. А придет, смотрит – там и Кузьма лошадь свою пасет. Телега его поблизости стоит, а около телеги хомут на ребре лежит. Кузьма таким ласковым голоском, привлекательным: «Вот, слышь, хомутик новый купил... лошадку, слышь, кормлю, а в телегу травку накошу». Дескать, рачительный он такой. И опять к Филату: «Посмотри-ка, слышь, хомутик я какой купил». Филат как глянет, и страх его берет – нырнуть в хомут, вот так бы и нырнул. Что ты тут будешь делать? Отойдет в сторонку, перекрестится – нет ни хомута, ни Кузьмы, ни его лошади... пустота кругом. Придет на старое место, и опять – Кузьма, лошадь, телега, и у телеги хомут на ребре лежит.

– Это он местность ту, видно, заколдовал, – вставил серьезно Якуня-Ваня.

– Так и есть. Горазд ты, Якуня-Ваня, на догадки... Так вот, раз Кузьма за надобностью отошел за кустик... а Филату уже терпежу нету, разбежался он да нырь в хомут. Нырнул, вынырнул на другую сторону, оглянулся, и – батюшки! – бежит это он сам на четырех ногах, а позади хвост болтается. «Мамынька, волком сделался!» – хотел было закричать, да голосу человеческого нету. А тут еще Кузьма из-за куста выскочил и давай: «Ату его, ату!» Завыл тут с горя-беды Филат и побежал в лес – волк волком.

– Экая силища была, – сдерживая смех, проговорила в тон Захару Стеша.

– Да... Сила была неумная. Так вот с той поры три года волком Филат по лесам таскался. Допрежь один бегал, потом к стае пристал... Разные штуки они проделывали... Раз, к примеру, святой Юрий – он ведь наместник лошадиный – приказал им рябого коня задрать. Сто верст без передышки бежали они за конем рябым – настигли, задрали. Вот так и жил. А душа-то, знаешь, в нем человечья, тоску имеет, тоска к себе, на село, тянет. Бывало, слышь, оторвется от волчишек, прибежит на зады, издали так посмотрит на свою избу и ударится в слезу горькую: изба без хозяина валится, солома с крыши ползет, ворота покосились... Ну, посмотрит Филат на свое хозяйство и опять назад к волчишкам удерет: людям ведь на глаза стыдно показаться. А ведь вот – волк, а по утрам все, слышь, умывался – уткнет морду в росу аль в снег и умоется. А по весне места себе не сыщет: пахать охота.

Рассказ Захара Кирилл неожиданно покрыл хохотом:

– Волком стал, а все пахать охота. Слышь, Богданов?

– Народ мужик такой – в гробу лежит, а все к земле тянется, – заметил Якуня-Ваня и сконфуженно смолк, выдавая свою затаенную любовь.

– Верно, Якуня-Ваня, – поддержал его Захар. – Так вот я продолжу. Прошу не перебивать оратора. И таскался Филат три года с волчишками. Раз они напали на гурт овец. Филата волки наперед послали. Тут, откуда ни возьмись, пастух подоспел. Кинулся было Филат-волк в сторону, глядь – вода кругом. Закружился он, не знает, куда деваться. А волки кричат ему: «Брось ягненка – тикай к нам!» Где тут! Пастух уж вот он рядом – и говорит: «Эй ты, чего без спросу взял? Кинь!» Кинул Филат ягненка, а пастух сложил в трояк кнут и огрел двенадцать раз его по загривку, шкуру-то волчью с него и спустил. С тех пор опять мужиком стал Филат Гусев, только шею ему малость пастух повредил да языком он малость тронулся, кричит всегда одно и то же: «Всё с нас да с нас... а с бедноты-то когда? С бедноты?» Потеха! – И, не выдержав, сам рассмеялся громко, тормоша застывшего Якуню-Ваню: – Эх, Якуня... младенец ты еще: всяким сказкам веру даешь большую – видишь, как рот раскрыл.

4

Из урочища «Чертов угол» пахло холодом. Холод подобрался, стелясь по земле, колебля пламя костра, и люди, слушая рассказы Захара Катаева, первое время совсем не замечали, как их начало пощипывать, а тут из урочища дохнуло смрадом болот.

– Будет дело, – ни к кому не обращаясь, проговорил Захар, обрывая рассказ, и, поводя носом, словно что-то вынюхивая, шагнул, утопая во тьме.

– Вот, гляди, сейчас волком или кем явится, – с восхищением, хвалясь Захаром, выпалил Якуня-Ваня.

И все, ожидая нападения Захара, плотнее прильнули к земле, а Захар так же быстро вынырнул из тьмы. Люди у костра ждали от него шутки, готовясь встретить его взрывом смеха. Якуня-Ваня даже тихонько хихикнул. Хихикнул и оборвал.

– Река прибывает, – с расстановкой проговорил Захар. – Ливень, стало быть, недалеко. Слушай!

Из урочища вместе с холодным дуновением надвигался своеобразный шум.

– Ребята, ментом привязывай лошадей, таскай дрова в пещеру! – распорядился Захар.

Люди метнулись к лошадям, привязывая их к телегам, телеги – к деревьям. Иные принялись таскать хворост в пещеру, разводили костер. Пещера находилась совсем поблизости. При свете костра она, зияя бронзовыми, из красного камня губами, напоминала раскрытую пасть огромного зверя, – и люди в суматохе бегали около, тени их вскакивали на верхушки могучих сосен, ломались, падали, а под телегой завыл Цапай, – завыл протяжно, захлебываясь... И Якуня-Ваня, отвернувшись, быстро перекрестился.

– Ты это к чему? – заметя его движение, спросил Захар.

Якуня-Ваня вымученно улыбнулся.

– На всякий случай: мне это – рукой помотать – плево дело, а там, может, что и есть.

– А! Ну, крой...

Захар не успел закончить фразу... Над костром вкривь, беспомощно хлопая крыльями, пролетела сначала одна галка, следом – другая, а затем, спугнутые с деревьев, точно черная туча лохмотьев, они понеслись низко над землей, ударяясь о стволы деревьев, падая на костер, как саранча, – и тогда около костра запахло паленым мясом, тишина нарушилась хлопаньем крыльев, безумным криком галок, надвигающимся гулом, ржанием лошадей и воем Цапая.

Люди еще не успели привести себя в боевую готовность, как дунул ветер. Он выскочил откуда-то из тьмы и, точно растревоженный зверь, кинулся на все: на деревья, лошадей, телеги, людей, костер. Костер миллионами искр взметнулся во тьму, ветер рвал его, подбрасывая головешки. Головешки падали на землю, остервенело трещали, ветер снова подхватывал их, метал в деревья, превращая в огненную пылающую труху. Ветер налетал на деревья, гнул, трепал, как полынок, осыпая с них иглы, сбрасывая гнезда. Деревья кряхтели, не сдавались. Тогда ветер на миг отступал, отбегая прочь, затем с еще большей силой, описав круг, мчался на старое место и, разъяренный, кидался на деревья, стараясь вырвать, опрокинуть их... и сразу разнесся треск корней: ветер прорвал густую зеленую гриву. Он опрокидывал сосны, играя ими, и мчался дальше, опустошая все, что попадалось ему на пути, коверкая тех, кто не сдавался, потешаясь над ними, разнося по урочищу гул, – свою песню, песню буйного ветра.

– Ой, какой молодец! – прошептал Кирилл, любясь игрой ветра. – Какой молодец! Какой

молодец, – и хотел было податься в лес, чтобы там на себе испытать силу урагана, но ветер рванул его, погнал под уклон, как иногда гонит он по дороге курицу. «Ишь ты... Ишь ты», – засмеялся Кирилл, цепляясь руками за ветки деревьев.

И вдруг все смолкло.

Ветер, как буйный паренек, поиграв деревьями, укатил вдаль, унося с собой шум, избитые, истертые иглы сосен, поднятую с земли прошлогоднюю листву, оставляя за собой пыльный хвост.

В лесу наступила тишина.

Только было слышно, как временами со скрипом сваливались на плечи своим братьям недобитые сосны да хлопали крыльями подпаленные галки...

И полил дождь.

Вначале он лил мерно, тихо, большими струями, затем захлестал в водяном урагане, с каждой минутой прибавляя силы, сметая в низины наломанное ветром.

Дождь не выпускал из пещеры дыма, и дым, клубясь, прижимал людей к земле. Люди, плотно припав к сырому песчаному полу пещеры, лежали около костра, морщились. Иногда кто-нибудь из них не выдерживал удушливого напора, с руганью выскакивал на волю, но, встреченный ураганным потоком, сбитый с ног, весь мокрый, снова приползал к костру и ложился пластом.

Богданов смотрит на людей, и ему кажется, что вот так же сотни тысяч лет тому назад первобытные люди укрывались в пещерах, не зная еще огня, обладая еще только деревянным копьём, дубиной. Вот так же они защищались от стихии, охраняя себя от пещерной гиены, медведя.

«Не с такой же ли дубиной и теперь стоит человек перед стихией?» – подумал Богданов.

Он отвел взгляд от костра и пристально посмотрел на Феню.

У Фени русые, круто обрубленные, с красноватым отливом волосы, брови тонкие, черные, замкнутые. Губы – тоже тонкие, холодноватые, а нос какой-то странный: продолговат, края ноздрей круто обрезаны. Словно скульптор, лепя это лицо, в последний раз небрежно провел лопаточкой по краям ноздрей, хотел отшлифовать, его отвлекли, и он забыл это сделать.

«Чего я на нее так смотрю? Ноздри? Да, они красивы, своеобразны. Особенно замечательны у нее глаза. Не поймешь, какие они, – то серые, то голубые... странные глаза. Как это ее тогда Панов назвал? Ах, да, да... Юла. Подходяще. Что ж, ей двадцать, мне пятьдесят», – горестно вздохнул он, вспоминая, как совсем недавно Феня влетела к нему в комнату и, сунув, точно ребенок, палец в рот, радостно зачастила: «Слушайте. У меня что-то тут, вот тут, – она тыкала пальцем в глубь рта, – вот что-то растет. Маша Сивашева говорит: «Зуб мудрости». Понимаете, зуб мудрости!.. Значит, я старушкой становлюсь: Двадцать лет», – села против него и ликующе уставилась в его грустные глаза.

«Ей двадцать, у нее зуб мудрости растет, а мне пора новые вставлять», – подумал тогда Богданов, и теперь, глядя на Кирилла Ждаркина и Стешу, добавил: «Велите дело – молодость».

Стеша, перепуганная ливнем, долгое время лежала в отшибе от Кирилла, затем, когда все промокли, смиряясь перед ливнем, она, приподнявшись на локти, подползла близко к Кириллу и положила свою голову на его огромную руку. Кирилл весь вспыхнул и замер, боясь двинуться, произнести то слово, которое ему хотелось сейчас тихо на ухо сказать ей.

«Живет с ней, – тепло подумал Богданов. – Хорошая пара».

Звено седьмое

1

Земля сочилась, дымилась испариной, как загнанная лошадь, а в долине реки Атаки еще лежали белые туманы. Они лежали неподвижно и рвались только по краям, клочьями цеплялись за выступы скал, как дым в морозное утро. Туманами были завалены болота, ущелья, реки, – отчего и горы казались маленькими сопками. Но вот туманы встряхнулись, словно огромные белые вспугнутые птицы, рванулись ввысь; тогда перед группой людей на изволоке открылась картина слияния рек у горы «Лошадиная голова», и люди снова увидели человека на салике. Человек, очевидно, только что пробудился ото сна. Окруженный дрожащей синевой, став на колени, он зачерпнул ведерком воду в Атаке, осторожно поставил его на дымящий маленький костер и занялся кухней.

Человек на салике плыл с верховья, из глухих лесов, куда совсем недавно от грохота, шума, взрывов сбежали его соплеменники следом за медведем, белкой. И вот одинокий человек, связавший четыре бревна – салик, плыл оттуда.

Он раскосыми глазами смотрит на скалы, на воду, на салик, на солнце, прислушивается к далеким глухим взрывам и ничего не понимает.

Вот когда-то – когда? всего год тому назад! – когда-то тут на скалах прыгала шустрая, с хитренькой мордочкой белка, бродил бурый неуклюжий медведь. Кто сказал – медведь неуклюжий? Человек на салике хорошо знает: медведь проворен, как хорошая лайка. И стояла тут такая тишина, что, слушая ее, всегда хотелось спать или петь тихие, монотонные песни, напоминающие крик иволги, одинокого филина. А теперь медведь ушел, ушла и белка в глубь далеких хребтов. Вместо медведя и белки пришел динамит. Это он там – далеко у подножья горы Адарлы – охает, как шайтан. Это он рвет твердые, как роговая кость лося, скалы адамита, прогрызает пещеры, туннели, расчищает путь для чугулки – парового коня с огромными ослепительными глазами. Динамит подбирается к священной горе Темир-тау. Пришедшие люди хотят добраться до сердца Темир-тау и плавить из него копыта для парового коня, устлать ими долины, разбитые вдребезги скалы, – скалы, по которым человек всегда отыскивал путь к медведю и белке.

Люди хотят победить горы силами гор.

Но нет, им не достать сердце Темир-тау... О, сердце Темир-тау знает из всего племени только человек на салике да престарелый старик – глухой и бездвижный... Открыть сердце Темир-тау – значит убить себя, свою семью, свой народ: к сердцу Темир-тау тогда придут издалека чужие люди, принесут сюда холодный огонь, развезят толстую проволоку, тронув которую, человек моментально сгорает... Человек на салике увел в горы народ свой, унес с собой тайну в глубь страны – гор, рек, ущелий, непроходимых болот, тишины. Но вот недавно человек услышал голос шайтана-динамита совсем поблизости от стоянки своего народа: гул динамита загрохотал по ущельям, встряхивая тишину, – и человек, связав четыре бревна – салик, сел на него и пустился по реке Атаке, чтобы узнать, выведать, что хотят сделать люди с его страной.

– Удивительный народ, – говорит Богданов, показывая вниз на человека. – Бегут от нас, как от чумы... ничем не заманишь. Покажется один и скроется...

– Мне рассказывали – они сгрудились там, за хребтами, – Захар показал рукой вдаль. – Много там их. Не знают, что делать. А попы ихние агитируют – уходите дальше. А этот, видно, разведчик.

– Да это ж Иван, – и Якуня-Ваня пронзительно закричал вниз: – Ва-а-а-аня-а!

Человек на салике повернулся, посмотрел вверх на людей и снова опустил голову.

– Посылали к ним туда бригаду? – спросил Феню Богданов.

– Посылали. Я сама там была. Как только мы приехали, вернее пришли – там не проедешь: тропочки, лазейки какие-то... как только мы пришли, они разбежались кто куда. Все-таки мы поговорили. У них там совет – своя советская власть и ячейка. Говорили много о Сталине.

– Да. Их всеми мерами надо вернуть в мир, – сказал Богданов, глядя на Феню, удивляясь тому, что она сама решила отправиться к жителям гор.

Он хотел ее еще кое о чем расспросить, но она говорила с Кириллом.

– Товарищ Ждаркин! Мы накануне пасхи устраиваем карнавал: с факелами всей молодежью идем на село. Прикажите отпустить смолы на факелы.

– А ты, Феня, не отложишь эту штучку? Лучше бы занялась ликвидацией неграмотности среди торфушек или подготовкой к силосу. Право.

– Э-э, Кирилл Сенафонтыч, корка на вас стала мягка. Трусость. Штурмовать надо.

– Умело, – не показывая своего раздражения, проговорил Кирилл. – Я против.

– Не хотите помочь? Так и запишем.

– Пишите! – Кирилл вскинул крепкое тело в седло и, накрывая своей тяжестью лошадь на сторону, тронулся, украдкой кивнув Стеше.

– Почему не дал смолы? – спросил его Богданов, когда они свернули под уклон. – Пусть штурмует молодежь...

– Вот ты еще поговори. Штурмуют! Во время карнавала найдется молодчик, подожжет село, потом свалят все на молодежь и изрубят ее, как капусту. Нашли когда штурмовать!

– Ну, это ты зря... Ты хочешь молодежь сделать старенькой, домостроевской, чтоб она только чулки штопала.

Переправившись вброд через реку Атаку, Кирилл и Богданов по узкой тропочке, идущей над

обрывом, взобрались на вершину горы «Лошадиная голова». И снова перед ними распласталась в низине река Атака извилистой лентой среди скалистых берегов, и все тот же человек плыл на салике. Вершины гор сопками возвышались над озерами, болотами, ущельями и были почти равны. Казалось, если положить огромную доску на вершины гор, то получится стол... И все-таки Кириллу было дико слышать, что тут когда-то была равнина.

– Да, да, говоря языком геологов, тут когда-то была «почти равнина», – утверждал Богданов. – Вон, смотри: свидетель. – Он показал на скалу.

Скала свидетель высилась над рекой. Объединенная кругом ветром, заросшая мхом, мелким кустарником, она походила на гигантскую лошадиную ногу и казалась Кириллу той самой лавой, которую когда-то выбрасывали вулканы на поверхность земли. Но Богданов и тут уверил его, что скала – из наносных пород, что тут когда-то было море, что под давлением колоссальных тяжестей наносные породы утрамбовались, превратились в сланцы. Скала эта потому и называется свидетелем: она показывает, какой высоты когда-то было здесь дно моря... Затем море ушло. Вода, реки, дожди, ветер сделали свое дело – размыли, разрушили равнину, превратили ее в горы... Потом наступали ледники, они обглаживали горы, отшлифовали их, превращая в сопки... Затем опять действие эрозии.

– Понятно?

– Совсем непонятно. Сколько же лет понадобилось тихой Атаке, чтобы прорыть эту долину?

– Сколько? Сотни тысяч, миллионы лет... не в этом дело... А вон, смотри, дулей выпячивается из сланцевой породы: это адамиты – порода вулканического происхождения. А там, где имеются породы вулканического происхождения, должно быть для нас кое-что вкусное. – Богданов подмигнул.

– А что? – спросил Кирилл.

– Погодим об этом трепаться, – ответил Богданов, спускаясь в низину. – Ты бы мне помог вот этих людей на саликах притянуть: они горы хорошо знают.

– Притяну я тебе, черту, если ты от меня все будешь таить! Что за дурная привычка у человека: молчит все, – с досадой проговорил Кирилл, глядя вперед – туда, где за горой раскинулась площадка металлургического завода.

Богданов весь подобрался, заерзал на седле, подстегнул лошадь и сломя голову понесся вниз. Кирилл, не отдавая себе отчета, кинулся за ним и на повороте, столкнувшись с вынырнувшей из-за скалы головой лошади, задержал своего коня: глаза лошади показались ему знакомыми, такими... такими... он не мог сказать – какими...

«Серко», – догадался он, узнавая принадлежащего когда-то ему рысака.

Из-за выступа вышла лошадь – серая, в тусклых яблоках, тощая. Она шла, еле волоча ноги, а из телеги, приподнимая голову, на Кирилла глянул Никита Гурьянов.

– Кириллу Сенафонтычу! Племяшу! В свои края еду... путешественник, – смеясь над собой, крикнул Никита. – Гору вшей везу.

2

Крутолобый, грудастый жеребчик-сибиряк несся под Богдановым, раздувая ноздри, извиваясь на крутых поворотах, ныряя в рытвины. Богданов не замечал ни рытвин, ни ущелий, ни крутых поворотов: он напряженно смотрел туда, где по берегам реки Атаки, около плотины, копошились люди, и не слышал, что за ним гонится Кирилл Ждаркин.

«Опоздал. Проворонил. Дурак!» – ругал он себя и стегал жеребчика плеткой.

– Вот чертолом, вот чертолом, – ворчал Кирилл, еще совсем не понимая, в чем дело, предполагая лишь одно, что Богданову надоела вся эта утомительная путина и он остатки ее решил проскакать галопом.

Но Кириллу вовсе не хотелось спешить. Он находился под впечатлением ночи, проведенной у костра, и до сих пор еще чувствовал прикосновение Стешиной головы, слышал ее тихое дыхание, видел ее теплый, добрый прощальный взгляд, и – ему было хорошо. Его радовали и утреннее нежное солнце, и туманы, гаснущие под лучами, как костры под дождем, и слякотная, вязкая дорога, и коротконогий меринок, которому он, Кирилл Ждаркин, неосторожным движением может переломить хребет.

«Какие есть замечательные люди на земле, – думал он, восхищаясь Стешей. – Мозг у нее, как

чернозем...» И он снова вспомнил ее тихое дыхание, легкий поскрип кожаной куртки и всю ее, вытянувшуюся около него.

– Хорошо, – прошептал он, находясь в состоянии человека, уверенного в своих поступках, в том, что все препятствия на его пути не сегодня, так завтра будут сметены, поэтому незачем нервничать, хмурить в одиночку лоб, надо просто шагать по земле твердой поступью, петь и орать о великой радости – радости от Стешы, солнца, от хлюпкой, вязкой земли, орать так же без стеснения, как орал он иногда в детстве, найдя в лесу сорочье гнездо.

– Что такое? Э-эй! – услышал он и повернулся на крик.

В стороне люди рвали скалы. И, всматриваясь в ту сторону, куда поскакал Богданов, кричали:

– Что там такое? Зачем начальник поскакал?

И тут тревога людей на скале вдруг передалась Кириллу.

– Не знаю, – ответил он и, обняв длинными ногами меринка, точно врастая в него, вытянул его плеткой.

Меринок задрожал, взвился и ринулся вперед, почти не касаясь земли. От второго удара он сделал скачок, рванулся на крутом повороте, и Кирилл, наклонясь – так ему показалось, – ударился сначала плечом, потом головой о скалу и, ощущая невыразимую боль, разлившуюся по всему телу, немея на лошади, ткнулся лицом в гриву, еле сознавая, как ноги слабеют и сам он скользит, будто с гладко выструганного березового бревна...

Богданов скакал, минуя площадку, берегом Атаки к плотине, откуда слышались гул людей, водяные вздохи, взрывы динамита; а следом за ним, звеня стремянами, взвизгивая, зовя грудастого жеребчика, мчался меринок Кирилла Ждаркина.

Воды Атаки, поднимаясь с гор, от далеких хребтов, захватывая поймы, равнины, образуя новые, сверкающие на солнце озера, подтачивая белые быки, срывая деревья, настилы, разбрасывая бревна плотов, – воды Атаки со всех сторон, всей своей могучей силой наседали на плотину. И плотина, огромная – в триста двадцать метров, очищенная от строительных материалов, издали похожая на зубчатый древний замок, – длинная, монолитная плотина кряхтела, содрогалась, как содрогается свая от удара молотом.

Около плотины бились люди. Они бились с полуночи, напрягая силы, не теряя надежды, но, когда воды прорвались через заставы, хлынули в перемычку, падая на дно котлована, как водопад, пенясь и взбиваясь, – люди дрогнули и окончательно растерялись, превращаясь в толпу, которая гомонила, металась, не зная, что делать, подчиняясь чьей-то чужой воле, нелепости: тысячи людей подвозили землю на автомобилях, на тачках, таскали кто чем попало – лопатками, досками, в подолах, воздвигали земляной вал, стремясь удержать Атаку. Но Атака с такой же быстротой, с какой люди воздвигали вал, слизывала землю, как корова пригоршню отрубей, – уносила ее в глубину и выплевывала из пасти плотины рыжей мутью.

Приближаясь к плотине, Богданов заметил именно такое стихийное движение, и первая его мысль была – удержать, подчинить своему голосу эту многотысячную, бурлящую, как река Атака, толпу.

– Прямо с ума можно сойти... с ума сойти! – Главный инженер Рубин выбежал ему навстречу, поблескивая седоватыми волосами.

– С ума? – Богданов выпрыгнул од седла и, как шар, покатился на главного инженера. – Мы еще не успеем сойти с ума, как нас перестреляют... и поделом: шутя миллионы в воду пускаем... Где прорабы, секретари ячеек, бригадиры, комсомольцы? Сюда их! Сюда! – Он показал на плотину.

Но ни прорабов, ни секретарей ячеек, ни бригадиров, ни комсомольцев – никого нельзя было вызвать из многотысячной толпы, мечущейся по берегу Атаки: все делалось так же стихийно, как стихийно наступала вода. По чьему-то приказу, по чьему – трудно было разобрать, люди валили землю, воздвигали никому не нужный вал, который немедленно же сносился водой, а земля, плывя с берега, поднимала воду в запруде, и этим создавалась новая угроза: вода может хлынуть верхом через плотину и тогда нанесет сокрушительный удар не там, где думали те, кто подал мысль воздвигнуть земляной вал, а в другом и более опасном месте – в центре площадки, идя по старому руслу Атаки. Прорвавшись тут, она ринется в котлованы химических заводов, ударит непременно на электростанцию, на коксовую печь, к домнам, затем хлынет в тыл людям, сгрудит их на островке, и тогда... Ясно, что будет тогда, – горы трупов.

– Остановить! – крикнул Богданов, стараясь перекричать рев толпы.

– Что остановить? Воду? – растерянно переспросил Рубин.

– Людей. Землю. Вы уже потеряли способность соображать. Земля гонит воду на площадку.

Но и это не так-то легко было сделать: горланили люди, гудели автомобили, стонала скрипом плотина, и в этом оглушительном грохоте распоряжение Богданова даже не дошло до инженера Рубина. И Богданов, заметя растерянность на его лице, сорвался:

– Кисляк! Вам доверили плотину, площадку... а вы... Девчонка! Остановить немедленно! Крестьянскую оборону организовали, – и сам кинулся вперед, крича, создавая затор своим телом.

«Их надо оборвать, оглушить, как разъяренного быка», – промелькнуло у него, но, взглянув еще раз на буйный разлив человеческого моря, он сдержался: ему вдруг показалось, что он бессилен что-либо сделать с этой толпой, что между водой и этими разгоряченными, обезумевшими властелинами земли есть что-то общее – и вода и люди безрассудно сопротивляются, готовятся нанести друг другу смертельный удар.

И как это вышло, он в памяти восстановил только потом. Бригадир Якунин из Полдомасова, посадив его на грузовик, закричал пронзительно, надрываясь:

– Начальник!.. Богданов!.. Слушай!

Богданов стоял на грузовике, и в глаза ему бросилась площадка. Она была залита солнцем, спокойная, как никогда, как, может быть, в те еще дни, когда по ней гулял ветер, волнуя высокую траву, да носился горный ястреб. На площадке было так спокойно, что казалось – ее давным-давно покинули, как покидают неудачные шахты, рудники, нефтяные промысла.

Но так показалось Богданову в первую секунду, в следующую – ему представились эшелоны гравия, цемента, железа, всаженные в котлованы, труд тысяч людей, – страна напрягала все свои силы, чтобы построить завод, который должен давать ежегодно миллион двести тысяч тонн чугуна, страна, живущая в огненном кольце, страна, доверившая ему, Богданову, строить этот гигант металлургии...

3

Кирилл почувствовал еще удар и на этот раз ясно осознал, что кто-то намеренно ударил его чем-то тупым. Кувырнувшись с обрыва, он плашмя упал на поляну. Затем кто-то поволок его и снова чем-то тупым ударил в затылок.

Очнулся он совсем поздно, когда солнце скрылось за далекими хребтами, а на полянке, где он лежал, ползли тени. Казалось, они двигались, меняли свой цвет, дрожали. Кирилл догадался, что это рябит у него в глазах, и, еще не понимая, в чем дело, он рванулся, намереваясь вскочить, нагнать меринка и узнать, что случилось с Богдановым. Рванулся – и разом покрылся холодным потом: его шею крепко стягивала веревка, а руки были прикручены к спине, к спине же притянуты были ноги. Откуда-то из глубины всплыли чужие слова:

– Пускай очухается и задушится. Ему, черту, такую казнь надо испытать.

«Кто же это? Кто? Кто?» – напряг память Кирилл и снова рванулся. Веревка сильнее стянула шею, из горла вырвался хрип, а на губах появилась пена. Он плотнее прижал ноги к спине, веревка чуть ослабла, и он всем ртом глотнул воздух, хватая его, как загнанная собака снег, потом осторожно, медленно повернул голову, кося глазами на ольховый пенек, чем-то странно похожий на Пахома Пчелкина. И Кирилл тут же вспомнил, что совсем недавно вот так же был задушен Николай Пырякин.

«Надо ногами привалиться к пню... придавить всем телом... застыть и терпеть... Кто-нибудь придет», – решил он и осторожно, весь сосредоточившись на этой мысли, начал передвигаться. Но при каждом даже незначительном повороте веревка крепко хватала его за горло, голова наливалась удушливым угаром, глаза лезли на лоб, а в животе поднималась тошнота, и он замирал, стараясь как можно ближе притянуть ноги к спине... Отдышавшись, он снова, с еще большей осторожностью, двигался к пню, то и дело нарываясь на веревку, ощущая во всем теле жажду воздуха: губы сами собой хватали воздух, набивали им рот, как ватой, не имея сил протолкнуть в горло, отчего перед глазами все колыхалось, пугалось, сливаясь с тьмой, и вместе с тьмой ночи на него напал страх. «Мне ведь только тридцать четыре... тридцать четыре», – и цифра «34» закружилась перед ним, то становясь на ребро, то вскакивая вверх, заставляя его до боли пялить глаза, то опять выскакивала перед его носом, прыгая, и снова убегала за спину. «Бред», – решил Кирилл, понимая, что начинает бредить так же, как бредит умирающий от голода. Вот-вот – ему уже кажется – где-то в стороне слышались голоса, а вправо от него в кустарнике блеснул свет фонарей. Стало быть, по болотам

разбросались люди и ищут его, Кирилла Ждаркина... И опять все куда-то провалилось, в животе поднялась тошнота, мускулы на шее вздулись... Но тело двигалось, двигалось осторожно, точно среди острых ножей, двигалось туда, где из земли торчал кудлатый ольховый пенёк...

Над обрывом по болотам снова заговорили люди... И вот что-то бабахнуло. Долина озарилась пламенем. Сверху посыпались мелкие камни, пыль... Камни падали в воду, булькали... Очевидно, совсем недалеко взорвали скалу. Стало быть, это и слышались голоса тех, кто рвал скалы. А им совсем незачем спускаться на полянку, где лежит скрученный веревками, с накинутой петлей Кирилл Ждаркин. Незачем!

– Люди-и-и! Не могу-у! – прокричал он всем телом, безголосо, рванулся, и «не могу» встало перед ним, танцую во тьме огромными разбитыми буквами, затемняя полянку, предполагаемых людей на скале, взрывы, весь мир, и он покатился в пропасть, еле-еле слыша отдаленный говор людей, видя блеск фонарей, совсем не понимая, что это: бред или явь.

4

Поздно вечером, бегая из угла в угол по своему кабинету, все еще вздрагивая от волнения, Богданов резко бросал человеку в военной шинели:

– Чего вы тут смотрели? Или ваше дело ловить вора, когда он с ворованным на базаре появится? Нити еще не все распутаны? Кой черт в ваших нитях, когда плотину было сорвали? За такие штуки к стенке надо. Вас к стенке... Понимаете? Рубин? Нет. На Рубина вы мне и не намекайте. Вы ж видели, как он один пошел, чтобы открыть запасной люк, спасти плотину и погибнуть самому. – И Богданов вспомнил Рубина, шагающего по плотине, с руками, затисканными в карманы брюк. Плотина дрожала от ударов, а Рубин шел, не оглядываясь, чуть согнувшись, и ветер трепал его седоватые волосы. – Рубина не трогайте – прошу вас. Я с ним сам... Как-нибудь сам. Вы мне прожужжали все уши: на строительстве сплошь рвачи, вредители, люди, сбежавшие невесть откуда, все тащат, коверкают. Чудак! Увидав, как человек тащит с площадки доску себе на землянку, вы уже воображаете черт знает что. А того не видите, как это люди при таких морозах прожили в землянках, не бросая работы. Вы, батенька мой, забываете: площадка – университет. Смотрите-ка, – загорелся Богданов, – как они защищали плотину. А-а! Ни на одном капиталистическом предприятии этого не может быть. А здесь защищали плотину – себя защищали, спасая строительство, а это – главное, основное. В этом наша сила... А вот и товарищ Рубин, – оборвал он, когда, постучавшись, в кабинет вошел Рубин. – Вы простите меня, – обратился он к Рубину, косясь на него. – Я там с вами погрубил... Видите ли... Да... Но вы понимаете меня?

– Я вас понимаю, Федор Васильевич, – сдержанно ответил Рубин, уже причесанный, выправленный, аккуратный во всем: в ответах, в движении, походке. – Мне горестно: я сорвал у вас отпуск.

– Пустяки... Пустяки... Стоит ли говорить. А кстати, где у нас товарищ Ждаркин? Почему его на плотине не было? – И Богданов, бледнея, остановился.

Через несколько минут он с отрядом людей рыскал по болотам, отыскивая Кирилла. Они его нашли на полянке, плотно привалившегося к ольховому пню.

Все это знала, слышала, видела Маша Сивашева: она, как врач, боясь, что с Богдановым может что-нибудь случиться от волнения на плотине, сидела в кабинете, следя за ним, а когда он кинулся на поиски Кирилла, она не отстала от него.

И вот уже четвертый день она дежурит в палате у кровати Кирилла, напряженно всматриваясь в его лицо – опухшее, с искусанными губами, перевязанное марлей, с глубокой складкой на лбу. За несколько дней перед этим она встретила с ним в Илим-городе и тогда совсем не заметила серебристых завитушек, а вот теперь они выступили на висках, с каждым днем все больше ширятся, ползут кверху, как иней на стекле в морозное утро.

– Маша, – спрашивал он ее там, в Илим-городе, – объясни мне, пожалуйста, вот что. Ты о событии в долине Панике знаешь? Так после в лесной сторожке был суд. Допросив всех, мы ввели агронома Борисова из Полдомасова. Он был первый у них. Войдя в сторожку, Борисов стал сразу просить: «Оставьте меня жить... Уверю вас, я буду самым хорошим человеком». Он, очевидно, уж предрешил, что мы его кокнем, и, прося о помиловании, вцепился вот так, обеими руками, в волосы. И мы все дрогнули: волосы у него вылезли... Как сейчас помню, стоит он, держит над головой руки: в пальцах торчат волосы... а на корешках перхоть. Он снял их с головы, словно со спины давно

сдохшей лошади... Что это такое? Я знаю, люди при этом седеют, падают в обморок... а тут – совсем непонятное.

– Страх, – сказала Маша. – От страха у иных открываются поры, выступает холодный пот, и человек, несмотря на то что он еще говорит, уже мертвый... У Борисова – страх... и перед вами он уже был мертвый. А послушай, Кирилл, – спросила она его, – может быть, и правда, из него вышел бы хороший человек?

– Экая ты, Машенька! – упрекнул ее Кирилл. – Ведь из нас тоже хорошие люди выйдут, да ведь они нас бьют... Четырнадцать человек ухлопали, а потом, когда сами попались, – в слезу: «Помилуйте, из меня самый хороший человек на земле будет».

– А вот теперь и его сединка отметила, – шепчет Маша и тонкими пальцами осторожно трогает его высокий лоб, непоколебимо веря, что Кирилл обязательно поднимется.

Но температурные скачки тревожили ее, температура то поднималась к сорока градусам, то опадала до тридцати пяти, тогда тело Кирилла леденело, гасло, и Маша растирала его всего – огромного, с наростами мускулов на боках, чуть пониже ребер. Казалось, мускулы у Кирилла тут вились, как спрятанные под кожу жгуты. Ноги у него были прямые, сухие, аккуратные, упругие, и цвет кожи не белый, как это часто бывает у деревенских сластолюбцев, а матово-смуглый, приятный... И Маша, растирая его всего, всякий раз думала о красоте человеческого тела. Творилось с Машей что-то непонятное, совсем странное. Вчера вечером в палату забежала Стеша и, встретившись глазами с Машей, сдерживая рыдание, попятилась: Маша посмотрела на нее так, как смотрит мать на человека, который убил ее ребенка.

«Что это я!..» – спохватилась Маша, подбегая к двери, намереваясь позвать Стешу к Кириллу, но та уже со всех ног неслась вниз по лестнице.

Несколько раз на дню в палату заходил Богданов. Сняв шляпу еще в дверях, вытирая платком взмокший лоб, он, обычно не глядя на Кирилла, кося глаза, шепотом спрашивал:

– Ну, как!.. Неужто... Ох, черт!.. А? Сколько мерзавцев, дряни ползает по земле... а этого... Неужто? А! Вы звоните мне... через каждый час. Хорошо? Сидит, говорите? А? – и исчезал, на бегу вытирая платком лицо.

И только на восьмой день, поздно ночью, когда Маша сидела в углу, погрузившись в тихое забытие, Кирилл открыл глаза и позвал ее:

– Маша! Маша!

– У-х ты! – Забыв о том, что она доктор, Маша вскочила с кресла и, закружившись по комнате, захлопала в ладоши. Тут же спохватилась, упала на колени перед кроватью, – Ты молчи, молчи, молчи. Я дура, дура, дура.

– Есть хочу. Есть! Уйди, а то нос откушу, – смеясь, проговорил Кирилл и, ощущая слабость во всем теле, снова впал в забытие.

А наутро при перевязке он, несмотря на сильную боль в плече, пробовал уже, как обычно, балагурить:

– Маша, а тебе жалко было меня?

– Перестань болтать. Мешаешь мне перевязку делать, – обрывала его Маша, стараясь говорить с ним грубо, быстро сдирая тонкими пальцами марлю.

– А крепко было жалко?... Ой! – не выдержал он, бледнея.

Маша кинулась к столику, из пузырька накапала капель в ложку и подала ему.

– На. Пей!

– Что это?

– Валерьянка.

– Да ну тебя! Мне ее надо бочку! А ты уж казни без капель... валяй отдирай.

И никто не знал, как хотелось Кириллу удрать из этой палаты. Никто не знал, что в минуту пробуждения он начинал дрожать, пугаясь всего – и этих белых стен, и этих стульев, и больших, с начисто вымытыми стеклами окон, и завывания гудка, и гула, идущего с площадки. Иногда он просыпался ночью и, глядя на дремлющую в кресле Машу, дрожал всем телом, кутаясь в одеяло: ему казалось, что в кресле сидит не Маша, а юродивый монах. Лицо юродивого мельтешит в каком-то тумане, неуловимо, будто забытый сон, подробности которого Кирилл никак не может вспомнить.

«Почему монах?... – думал он, напрягая мозг до боли. – Удрать бы отсюда... только бы удрать отсюда, а там... я бы...» – и не договаривал даже сам себе того, что задумал сделать по выходе из палаты, что окончательно созрело за эти дни, что зачалось у него еще там, на полянке, когда он

лежал с накинутой веревкой на шее.

И то, чего он не договаривал, что созрело в нем, сорвало его с постели и выкинуло из палаты.

Направляясь к Богданову, он первый раз сел в автомобиль рядом со Стешей, стараясь снова улыбаться так же, как улыбался прежде, но, подъезжая к главному управлению, не сдержался, приваливаясь к Стеше, проговорил:

– Голова кружится.

– Сиди спокойно... мешаешь. Могу накатить на кого-нибудь, – строго обрезала Стеша, испугавшись, что может бросить руль, вцепиться руками в его плечи, сказать так, прямо, открыто, напропалую то, что мучило и ее в эти дни.

– Что? Уже? – испуганно спросил Богданов, когда он вошел в кабинет.

– Нет. Валерьянку буду пить, докторов выслушивать. Ты давай, кто у тебя вопросами труда занимается?

– Нет. Это ты брось! – прикрикнул Богданов. – Сейчас же марш в палату... не то...

– Силой? Ну, браток, силой меня в палату не положишь. Давай человека да готовься – отправляй меня, не то пешком удеру: у меня сев.

Кирилл знал, что в таких случаях надо с Богдановым грубить, и он грубил.

– Как хочешь, – насупившись, сказал под конец Богданов и вызвал заведующего отделом кадров. – А тех так и не нашли... тех, которые... – Он спохватился и оборвал.

– Ты хотел сказать тех, кто меня собирался задушить? Ты что говоришь со мной, как с ребенком?

– Ну, пошел. Вот тебе заведующий.

Заведующий отделом кадров разложил перед Кириллом карты, диаграммы, сводки. Кирилл все это мельком просмотрел и фыркнул:

– Насморк тут только один – в бумажках ваших.

– Что?

– Жизни нет. Я пошел, Богданов.

– Куда тебя понесло еще?

– На стройку, к народу.

5

Над землей – горячей, окутанной смрадом болот, дымкой, – над землей в струях каленого весеннего солнца реет чудесная птица-мечта. Поблескивая сизыми боками, она идет вверх, несется в глубинные просторы прозрачного неба, режет белые кучки облаков и кружится, играет, как сытый сильный коршун, купаясь в изобилии солнца.

Солнце!

Разве люди города – изможденные, хлюпкие, хилые, – забившиеся в трущобы, под каменные плечи небоскребов, разве они знают солнце – мягкое, нежное, под лаской которого лопаются почки, сосна пахнет угарной смолой, перепел летит на дудулю охотника, а селезень играет над кряквой?

Солнце!

Разве люди города, заливая электричеством – силой солнца – улицы, проспекты, буйные ночные рестораны, клубы, двигая фабрики, заводы, – разве они знают солнце, тихую истому земли под его лаской?

Ах, как нежится земля с перевесны!

Она прямо-таки превращается в ярку – молодую, кудрявую. Ее, такую, хочется ласкать, носить на руках и без усталости шептать одно и то же:

– Роди... Ведь впервые сын твой – хлеб – не будет лежать в амбарах Плакущевых, Быковых, Гурьяновых. Нынче хлеб твой – сила твоя – наша сила, сила миллионов, шагающих твердой поступью.

– Роди, земля!

И она непременно родит.

Нынче замечательный рост озимей. Острыми перышками они таращатся из прошлогодней отавы, но скоро закудрявятся, пойдут в рост, выколосятся, разбрасывая во все стороны желтоватый липкий цвет, и тогда загуляет по ним ветер, гоняя шуршащие сизые волны, распевая пахучие ржаные песни... Ржаные песни... рожь колосистая...

Было это в Москве. На одной вечеринке Богданов сидел в группе коммунистов и вместе со всеми пел частушки. Пел он заунывно, очевидно вспоминая дни гражданской войны, и всякий раз, спев куплет, заканчивал словами: «Что-то на грузовике прокатиться хочется». Обернувшись к Кириллу Ждаркину, он сказал:

– Вот девка поет: «Что-то на грузовике прокатиться хочется», – а сколько мы их посадили на грузовик, на автомобиль, на трактор!.. Отними у них это – бунт устроят.

В это самое время заиграли фокстрот и из соседней комнаты выкатилась пара. Лемм держал в объятиях шелковую даму, крепко прижимая к себе, положив седоватую голову ей на плечо, сотрясаясь всем своим старческим телом, потряхивая задом, как овца в чесотке.

– К нам эта штука еще не пришла? – сдерживая смех, спросил Богданов, обращаясь к Кириллу.

– Пока еще не пришла.

– И не придет... У нас там: «что-то на грузовике прокатиться хочется», а это – фокстрот – хлам, дрянь, которая даже вот сюда просачивается, как зола через щель. Дрянь, гниение буржуазной культуры, класса, который пришел с «Марсельезой» и уходит с фокстротом... Слушай музыку, – заговорил он чуть спустя, наклонясь к Кириллу. – Слушай... основное в народной, не опошленной музыке – плач угнетенной негритянской нации. Буржуазия народный плач перекувыркнула и прибавила свое: «А-а, крой, гуляй: после нас хоть потоп». Под плач угнетенной нации трутся телесами.

И Богданов снова запел частушку, нарушая музыку фокстрота, затем резко поднялся, весь побелел, а люди, глядя на Лемма, взорвались смехом. Лемм, услышав смех, покинув свою шелковую даму, растерялся, юркнул в соседнюю комнату.

– Старый дурак, – глухо проговорил Богданов.

Ах, как нежится земля с перевесны!

Она оделась в бархат зелени лужаек, она – земля, усеянная костями пахарей, павших под барскими батогами, она – земля, омытая потом, кровью, реками слез, тоски беспросветной.

Земля!

Но какая она пестрая, отсюда, с большой высоты. Топи, болота, скалистые горы, заросли, степи – широкие, звонкие – все кажется игрушечным, разбросанным. Даже площадка с ее электростанцией, котлованами, каркасами, плотиной, с каменными корпусами – и та кажется чудной, приплюснутой, а река Атака – маленькой, извилистой ленточкой. А люди? Властелины? Комарики. Бегают, тормозятся, мчатся на автомобилях, грузовиках, паровозах – навозных жуках.

– Чудно. Чудно, – говорит Кирилл, заглядывая то в одно, то в другое окошечко, высовывая руку, желая помахать тем, кто стоит там – на земле.

Ветер норовит сломать руку, Кирилл прячет ее и просит запиской летчика: «Выше. Крой в небеса, приятель: хочу с высоты посмотреть, что делаем на земле. Земля-то ведь наша».

И машина берет выше. Она делает круги, падает, но тут же, наклонясь, взвихривается, и Кирилл не слышит собственного крика. Напряженно всматриваясь вниз, он отыскивает аэродром... На аэродроме все еще стоят пять человек: Богданов, главный инженер Рубин, Стеша. Маша Сивашева, Якунин. Сажая Кирилла, они уговаривали его «не шалить», «не баловаться», а Стеша, поправляя марлю на его голове, тихо шептала: «Кирилл, не озоруй... прошу тебя». А теперь вон они ждут, когда машина скроется за небесными далями. И Кирилл, глядя на них, улыбается единственному человеку, тому, кто украдкой ото всех шепнул: «Кирилл... не озоруй». А разве он озорует? «Выше! Дуй, приятель, выше! Хочу землю смотреть с небесной высоты, как коршун». Вон поля, нарезанные загончиками, – поля смежного района. Фу, мерзость какая: их словно драли злые псы. А ведь совсем недавно, всего два-три года тому назад, вся обширная страна была вот так же разодрана. По Стране Советов ползали сохи. Сохи – скелеты мужицкой мечты, бодучие, как шелудивые козлы. А теперь входят в силу обширные полотна колхозных полей. Колхозных, ибо отныне сгинут крестьянские загончики, родовые метки, колышки, канавки, деревеньки. Деревеньки – родные уголки, чумазные хаты, дворы, заваленные коровьими шовьями: шовях на топку, шовях на плетень, шовях на ледянку, шовях на лекарство. Деревеньки – прокопченные печи, тараканье царство... угрюмое далекое детство и первый день рождества... Разговевшаяся деревенька еще спала, а Кирилл шагал к Широкому Буераку, к своим, домой, после годовой отлучки. На ногах у него чесанки, резиновые калоши, за плечами – балалайка, а впереди – поле, белое, пухлое в снегу, безлюдное... И шагал по полю Кирилл от дяди Ермолая – кузнеца, у которого, проработав год, заработал чесанки, калоши, балалайку. «Приду домой с балалайкой. Приду в чесанках, в лаковых

калошах», – думал он и спохватился, присел у дороги, задрал ногу – батюшки мои! – на калошах шишечки стираются... Тогда Кирилл снял их, сунул в карманы полушубка и так шел двадцать восемь верст и только на задворках Широкого Буерака снова надел – усталый, разбитый. Но какая радость! Вот своя улица, вот знакомые избы, избы Груньки, Машки, Зинки, а вот и «наша изба», заваленная снегом по макушку.

– Мама! – крикнул он, войдя в избу.

– Кто это там? – спросил с полатей отец.

– Кирюшка пришел, – ответила мать.

– А-а! – протянул отец. – Пришел. Ну, вот и пришел, а у нас разговеться нечем.

Наплевать. Разговеться можно добрым словом, лаской матери, рассказами отца, девичьим смехом сегодня на гулянке, драками парней и тем, что вот он, Кирька Ждаркин, пройдет по улице в новых чесанках, в лаковых калошах, с балалайкой. Ух ты-ы! Дух захватит у девок, лопнут парни от зависти, а бабы будут показывать на него:

– Глядите, Кирька обновку какую себе заработал!

Кирилл тихо рассмеялся над собой – над парнем в лаковых калошах, как-то не веря, что вот теперь ему, Кириллу Ждаркину, поручено ломать на корню деревеньку – эти чумазые улицы, извилистые дороги, родовые метки на полях, колышки, столбы с орлами, канавы – и вселить в мужика другую радость: радость широких полотен.

«Нам положено землю украсить так, чтоб она и с высоты казалась красивой. Дела много», – думает он, вглядываясь вниз.

Широкие полотна, карты, межи – длинные, пересекающие овраги, буераки, долины, разбивающие поля, разбросанные таборы с трактористами – все под Кириллом колеблется, качается, все залито весенним горячим солнцем. Кто это пел о сивке-бурке, вещей каурке? Кто это пел о сохе – матушке-кормилице? Соха – кормилица? Соха – бодливое чучело. Вот кормильцы – трактора, триста восемьдесят «интернационалов», «катёрпиллеров». Вот кормильцы – комбайны, сорок восемь комбайнов. Вот кормилица – сила солнца, превращенная в электричество, подаваемое из урочища «Чертов угол». Вот они – вехи новых городов, участки тракторной станции, шесть участков по всему району. Они стягивают к себе людей, они обносятся каменными домами, клубами, школами, – они, срывающие деревеньки, тараканье царство. Вместо шестидесяти двух деревенок – семь городов. Семь! Эх, растащить бы деревеньки, растрепать бы лохматые улицы, как бабы треплют лен, растрепать мужицкую мечту – мечту о своем дворе, о своей сивке, о своей сохе – матушке-кормилице, – и соткать новые помыслы, новые радости.

Кирилл в великом волнении – у него даже прыгает карандаш по бумаге – пишет на листках блокнота: «Крой, ребята! Лечу над вами. Крой за нашу весну», бросает в окошечко. Записочки, белые, яркие на солнце, с силой отрываются от самолета, взвихриваются и летят вниз – к тем, кто приостановил тракторы, кто машет руками, посылая приветствия гостю, – гостю на чудесной птице, неведомому, но родному. Так надо им дать знать, что летит не чужой, летит Кирилл Ждаркин – директор, их друг, их товарищ, готовый с ними вместе поделить и горечи и радости, и если понадобится, то с ними вместе пойти и сложить свою голову.

– Крой! Крой! – кричит он и вдруг вспоминает секретаря Центрального Комитета партии Сивашева: «А что он думает, когда летит над страной? Интересно бы полетать с ним и подслушать его мысль...»

Аэроплан накренился. Лес, лесная сторожка, долина Паника – все покачнулось, стало дыбом, а вдали поднялись постройки тракторной станции, трубы цементного завода. Но Кирилл уже интересуется совсем другим: под ним по извилистой дороге ползет телега, в телеге лежит человек, задрал вверх голову. Кирилл берет в руки бинокль, всматривается и ахает; по дороге едет все тот же Никита Гурьянов, едет на сером, в яблоках, рысаке.

6

Никита Гурьянов на всю жизнь запомнил ту ночь, когда он «сколупнулся, как подбитый курунок». Он в ту ночь, распростившись с собакой Цапаем, выпустил ее на волю, а сам на рысаке укатил в сторону долины Паника, куда, слышал он, перед этим укатил и Маркел Быков. Тут, в долине, он затосковал по дому, а узнав о том, что Маркел Быков приказал его «укокошить», – сорвался. Но домой не поехал. Вспомнив, что в низовье Волги живет его закадычный друг, с

которым они вместе служили на Дальнем Востоке, Никита решил побывать у него, посмотреть, и если там, где живет его друг, нет этой «ка-нителлизации», остаться у него, потом смотаться в Широкий Буерак, перевезти оттуда свое добро, жену и зажить «по-своему».

– Чего прискакал? – пугливо оглядываясь по сторонам, спросил его старый приятель. – Землю, видать, ищешь, чтобы покой был?

– Да. Муравию, – ответил Никита.

– Бона! Хватился. Муравию? Муравия... мура... Мура есть. Да у нас тут давно все вверх ногами. Нонче в поле ходил. Тоска заела. Дай, думаю, законы посмотрю, поговорю с ними. И что ж ты думаешь? Ничего не нашел: все поле под одну гребенку.

Подкормив рысака, Никита, садясь в телегу, укоризненно проворчал:

– Мелкота погана. Чай, вы бы это... голос бы подали: не желаем, мол, и все.

– Ты вон подал. Хвальбишка!

Через несколько дней Никита уже работал под Сталинградом на заводе.

Узнав о том, что большевики хотят тут сострять такую машину, которая будет жать и молотить одновременно, он сказал;

– Они и состряпают. Ну. и пес с ними, а я пошел на Хопер.

Но и весь могучий Холер сотрясался: одни бежали, другие собирались убежать, третьи стонали по ночам, метались, не находя пристанища, четвертые решительно двинулись в колхоз, нападая на тех, кто колебался, иные – обозленные, скакали на конях из станицы в станицу, скакали по ночам, украдкой, созывая обиженных в глухие места, но, бессильные что-либо сделать, рассыпались, как тараканы от кипятка.

– В еду что-то большевики подсыпали народу, – решил Никита и, нарвавшись на вербовщика, укатил на Днепрострой.

На Днепрострой он ехал в теплушке вместе с рысаком. Рысак грыз металлическую цепь, вздрагивая всем телом, когда в шелку вагона видел лошадей.

– Экая в тебе кровь неумная! – журил его Никита. – Тебе, видно, везде свой край. Большевик ты, а! Все тебе родина.

Днепр – это буйные седые космы. Днепр – лбины, рыжие, обтесанные водами пороги. Перед самым Кичкасом высится камень – корабль древний, литой. На этот каменный корабль собиралась Сечь Запорожская, с этого камня она скликала своих сынов. О камни – водяные лбища – разбивались ладьи, корабли, корабелюшки... и первое, что кинулось в глаза Никите, – это то, как люди набрасывают на буйную глотку Днепра железобетонную цепь.

«Не дураки большевики, не дураки, стало быть», – первый раз за всю свою жизнь так подумал он и, поставив рысака к сену, пошел по берегу, осматривая литые из камня острова, удивляясь, не веря, опрашивая. Этот остров каменный к едреной бабушке, значит. Ну-у? А бают, на нем царица – великая блудница Екатерина – казачишек принимала. Подходи любой, любому отпустит: такая даровитая баба была – семнадцать наложников имела, и все мало... к казачишкам прикатила.

И шел дальше, осматривая деррики, экскаваторы, вгрызающиеся стальными зубами в разрушенные скалы, заглядывая на реку, видя, как, сдавленная со всех сторон, вода рвется в открытые пасти плотины.

Особенно он любил ходить по ночам, когда вся стройка была залита светом электричества, грохотом, пыхтением экскаваторов, а взрывы, приглушенные днем, были четки, четки были и шаги сторожей. Никита, прислушиваясь к своеобразным голосам машин, ходил по стройкам, подбирал гвозди, ломаное железо, забытые топоры, лопаты, ломки, тащил все это добро к себе в телегу и в выходной день отправлялся на базар в Запорожье, продавал там собранное в ночном, снова ехал на стройку, вовсе не интересуясь тем, что в эти дни вся Страна Советов бурлила, как вышедшая из берегов река. Никита знал только одно – люди на Днепр сыплются со всех сторон: из Костромы, с родной Волги, из-под Перми, с далекого Урала, Подмосковья, заполняют казармы, бараки, полустанки, станции, а на стройке куда-то все проваливаются. Когда Никита с высоты плотины смотрит на строительство, то почти нигде не видит людей, всюду двигаются машины – длинные краны с журавлиными шеями таскают глыбы камня, машины рвут скалы, машины по рельсам волокут гравий, цемент, песок, машины мелют гальку, даже обед варят машины. Всюду машина. Однако, говорят, на строительстве собралось народу до сорока тысяч. А людей видать только перед гудком и после гудка, когда они двигаются из казарм на строительство и со строительства в казармы... И народ какой-то чудной – торопыга.

Первые дни Никите было даже скучно, он ни к кому не мог пристать, ни с кем не мог по душам поговорить, но, прожив с неделю, однажды, идя по берегу, собирая хлам, он столкнулся с татаркой – маленькой, с узкими плечами и широким тазом. Она сидела на красном камне, смотрела на Днепр, как иногда смотрит в вечернюю пору, усевшись на куст, галка.

– Княжка, – сказал он ласково, ломаным языком, – моя хочет с тобой... Вот погляди-ка, чего у меня есть.

И, сбегав к рысаку, достав из сундучишка цветной платок, он вернулся и, не говоря ни слова, окутал татарку платком, хлопая ладошкой ее по спине, ощущая под серенькой кофточкой теплоту ее тела.

И, очевидно, навсегда бы Никита остался на Днепре: у него была татарка, с которой он расхаживал вечерами «а берегу. Она пела заунывные песни, Никита слушал ее, подбирая на берегу ржавые гвозди, железки. Татарка стирала ему белье, готовила постель под телегой; в столовой же была сытная еда, а в кармане нижних штанов Никиты – пачка червонцев. Очевидно, навсегда бы он остался на Днепре, если бы... если бы не увидел траву-лебеду. Между скал – и как только она попала сюда! – росла одинокая, лопухая лебеда... И Никита снова затосковал: его потянуло пахать. Так, через несколько дней, не имея сил удержать себя, он снялся и украдкой от татарки снова укатил искать страну Муравию, где нет коллективизации.

Но поднятая встряской страна гнала не одного его, Никиту Гурьянова, из Широкого Буерака. Великая встряска заставила плотника, осевшего на земле, снять с гвоздя пилу, вытащить из курятника забытый топор, оторвала от русских печей печников. Великая встряска стирала межи в полях, уничтожала загончики, вытряхивала из деревень, сел, хуторов тех, кто клещом присосался к своей земле, к своему двору, – и по пути к Никите приставали такие же, как и он.

– Вот отъедем малость, а там и она – страна Муравия, где нет этой самой канителлизации, – уговаривал Никита всех, потешая новым, исковерканным словом, ведя за собой обоз – длинный, подвод в двести.

Никита среди искателей страны Муравии заделался старостой, путеводителем, разведчиком... Он всюду совался, разнохивал, уверяя, будто его близкий родственник Маркел Быков недавно из страны Муравии известил его, что там растет пшеница-самосейка – «сорт такой первосортный, американец придумал: не сей ее, а только убирай, сама растет...» И еще одним делом занимался в пути Никита, скрывая его от всех попутчиков. Во время стоянки он шел к морю, наблюдал, как на мелких омытых водами камешках лежат голые люди, и дивился, не понимая, зачем они тело под солнцем жарят, копят. Красота тела – в белизне, как не понимают! Говорят же: тело белое, как перо лебедя. Тело мягкое, как калач. А они копят. Мужчины отдельно, женщины отдельно. Да чего там отдельно? Всего несколько сажень друг от друга... рукой подать... И еще ходят голяком по берегу, друг на друга посматривают. Лечатся! Знаем мы, как лечатся. Вот приглядятся, а под вечер – ширк под куст, – и все лечение. Вон один поднялся и давай ляжки ладошками растирать – затекли у кобеля ляжки. Ай! Разобрало бабенку: простынку под ноги постелила, вытягивается – тонкая, аккуратная, изгибается то в одну, то в другую сторону.

– Ух, псовка! – не выдержав, воскликнул Никита и, отвернувшись, кинулся к человеку, шедшему с берега. – Товарищ дорогой, дай копеечку на колхоз погорелый!

– Где сгорел колхоз?

– Там, в горах... натло.

Вначале Никита просил, как странствующий монах... Все отвечали ему смехом. Никита стал просить на лиценца – многие отворачивались, некоторые украдкой совали в руку монету. Тогда Никита придумал другое: стал просить на погорелый колхоз, и в его корявую ладонь посыпались медяки, серебро, а иногда и бумажка.

«Можно жить, – решил он, – дураков на свете на наш век хватит. Глаза только от стыда прикрой», – и охотился за голотелыми.

Тут на берегу Черного моря мне неожиданно и пришлось столкнуться с Никитой Гурьяновым.

Мы на машине мчались с гор, куда ездили знакомиться с обычаями абхазцев. Вozил нас туда некто по имени Петро. Он был полуглух, носил на груди аппарат – усилитель. И когда ему невыгодно было слышать, он стучал рукой по аппарату, смотрел в глаза просителю и говорил:

– Не работает: не слышу.

Мы мчались с гор, и вдруг «а повороте в полосу автомобильного света попал заяц.

– Ай-яй-яй, – по-абхазски взвизгнул Петро, затем выхватил ружье и выстрелил.

Заяц подпрыгнул и шлепнулся на дорогу. Все выскочили из автомобиля, подбежали к зайцу, расхваливая Петро за меткий выстрел, и тут натолкнулись на Никиту Гурьянова.

– Граждане-товарищи, – протяжно тянул он, выставив вперед руку. – На погорелый колхоз малость подкиньте.

– Никита! Дядя Никита! Ты как сюда попал? – удивленно воскликнул я.

В глазах у Никиты дрогнул испуг. Но он ответил так, как будто мы с ним ежеминутно встречались:

– Лошадь... рысак... Серок у меня... Благой. Беда. Рванулся и попер. Попер и попер.

– Ну, как же это так, попер и попер.

– Он эдакий у меня, рысак. – И заметя, что я хочу закурить, Никита взял из моих рук коробку спичек, вынул оттуда спичку, поковырял ей у себя в ухе. Затем обтер, снова сунул в коробку и опросил: – Зачем тут, Федюшка, народ на солнце коптится, тело портит?

– Доктора прописали. Лечатся.

– Чего лечить? Иной толстый, как свинка.

– От толщины, стало быть.

– А иной тонкий, как вобла?

– От тонкоты, стало быть.

– Вишь ты, на всех не угодишь: толстый – нехорошо, тонкий – нехорошо. А далеко мы от Широкого-то Буерака?

– Тысячи три километров будет.

– Воон ведь куда затащил... рысак-то.

К нам подошли «приятели» Никиты, такие же потрепанные, истасканные. Желая им показать, что ему, Никите, все нипочем, он показал «а меня:

– Моя приятель. Федюшка. Ну, чай, сколько раз я ему уши рвал... Что и говорить.

Петро бросил зайца в машину, оказал:

– Садитесь.

– Это кто? – спросил у меня Никита.

– Местная власть...

– А-а-а. – Никита ринулся к Петро. – Товарищ дорогой, слышали мы, как вы есть тут полновластный владелец, ну и не присоветуешь ли нам, как попасть на работу? Мы безбожники, истинный бог. Креста никто не носит, хоть обыщи.

– Потом придешь, – Петро застучал рукой по аппарату на груди. – Не работает: не слышу.

Я же тихо сказал Никите:

– Никита Семеныч, сгниешь где-нибудь в овраге: поворачивай оглобли назад.

Машина тронулась.

Никита замер на месте, затем он кинулся за нами.

– Пойдите! Пойдите! Пойдите, – он кричал так, как будто его кто-то намеренно толкал в пропасть и он кричал, просил минутку подождать, повременить, желая что-то сказать – веское, убедительное. Возможно, в эту минуту Никита стал другим Никитой и мир глянул на него другой стороной.

– Задержаться бы, – посоветовал я, поворачиваясь к Петро.

– А-а-а, – брезгливо отмахнулся тот. – Их тут много... Как тараканы, ползут оттуда... С долины... От вас, – и засмеялся, чтобы превратить пошлятину в шутку.

«Авантюрист, – подумал я о нем. – Ради зайца задержал машину, а человека сравнивает с тараканом».

Да, как потом мне рассказывали, Петро оказался авантюристом, а в Никите в ту минуту действительно что-то переломилось, и он затосковал. Выехав на берег около Сухуми, он, глянув на темно-синюю даль моря, сжался, пугаясь огромного скопления вод, и его властно потянуло в свои края – к зеленым полям, к болотам, к извилистой, молодецкой Волге, и он затосковал. Но при народе хорохорился, прикрывая страх излишней суетливостью.

– На кой пес тут воды столько? – то и дело спрашивал он.

Приятели ему на это ничего не отвечали: они сами в эти дни были, как «чумовые», а Никита крутил головой, как подшибленный кролик, часто поворачивался, всматриваясь в пройденный путь... и всегда перед ним стояли его новые, покрашенные фуксином оконные наличники.

И вот откуда-то издалека слышится песня одиночки. Человек поет монотонно, с перерывами, видимо думая о чем-то другом, но слова песни доносятся ясно: «Бродяга, судьбу проклиная, плетется с сумой на плечах». А вот и сам он – человек. Он сидит в грабарской двуколке, свеся ноги, помахивая кнутом, но вовсе не на лошадь, а так себе. На нем пиджачок с чужих плеч. Пиджачок этот когда-то был белый, кительный, теперь чуточку пожелтел, но медные пуговицы блестят. На голове у человека пестрая кепка, на ногах полустоптанные сапоги. Рыжая борода у него поотросла и стала щетинистая, как еж. Да и весь-то он походит не то на масленщика, не то на мелкого торгаша. Вот он выехал из-за перелеска и оборвал песнь: по обе стороны дороги лежат широченные колхозные владения... И волнуется рожь колосистая, янтарная, разбрасывая во все стороны свой пряный цвет... И волнуется Пшеница – пузатая, как ядреная баба. А вот и еще – чудо. Поле пересекло новое шоссе. На повороте столб, надпись: «Путь на машинно-тракторную станцию имени Чапаева».

– Жизнь начинается с другого конца, – проговорил он и подхлестнул рысака, серого, в тусклых яблоках, исхудалого. – Но-ка, но! – прикрикнул он, намереваясь проскакать улицей Широкого Буерака, но рысак даже не повел ухом на удар кнута. – Зачиврил, – сказал человек и свернул а сторону с дороги, в овраг, к зеленым травам. – На таком на тебе ехать – со стыда сдохнешь, – проговорил он, обращаясь к рысаку, затем распряг его, пустил на траву, а сам прилег, дожидаясь темной ночи. А когда наступила ночь, он снова впряг рысака, вывел его на большую дорогу. Но рысак, пройдя с полкилометра, остановился и закачался, готовый упасть. Тогда человек выпрыгнул из двуколки, потрогал хомут на рысаке и произнес: – Не дойдешь, чую. Ну, тут отдохни, а я до себя добегу, – и тронулся в улицу Широкого Буерака.

Он идет вдоль порядка, шмыгая ногами так, словно двигается на лыжах. Завидя огонек в доме Маркела Быкова, он решительно направился к калитке, думая:

«Вывернулся, стало быть, дьявол гундосый».

Но около калиточки висела вывесочка и на ней написано: «Шестая полеводческая бригада колхоза «Бруски».

И Никита плотно припал к окну. Чуть спустя пробормотал:

– Эх, Захар-то Катаев как без меня поседел. И племяш тут, Кирилл Сенафонтыч... – и снова припал к окну.

В эту минуту из калитки выбрался Епиха Чанцев. Увидав человека, припавшего к окну, Епиха крикнул:

– Кто такой?

Человек отлетел от окна и примирительно, оправдываясь, залепетал:

– А-а-а! Епиха! Ну, здорово, Епиха! А я вот мимо шел. Мимо, а тут огонек... а я мимо.

Епиха всмотрелся, узнал Никиту Гурьянова:

– А-а-а. Это ты, путешественник в обязательном порядке?... Явился?

– Явился... Епиха...

– Чего привез? Гору вшей?

Никита оцетинился:

– А ты что, счет, что ль, по ним в колхозе ведешь?

– На тебе их не перечеть: как песок морской. И-и-эх, и на человека-то уже не похож. Топор изношенный.

– Ты не топор?

– Не топор. Был Епишка Чанцев, а теперь бригадир шестой бригады. Видал?

– Это место тебя украшает: на трон дурака посади, все одно царь будет.

– А до моего трона тебя и близко не подпустят. Явился? Вредить?

Ну, это уже лишнее! Вредить? Никита даже взревел:

– Вредить? Сам ты – вредить. Я страну искал... и может, для общего блага, – и хотел было уйти, как Епиха снова:

– Это какую же такую страну?

– Муравию. Вот какую.

– Что? Что? Муравию? – И, оборвав смех, Епиха резко кинул: – Ну, и оставался бы там; нам легче бы без вас жилось, чертяков. А под окнами не лазий: ноги выдернем. – И пошел.

Никита долго стоял молча, шевеля пальцами, затем тихо произнес:

– Не вкусно принимают, – и вдруг ошетинился, точно кабан, затем пригнулся для прыжка, а рука сжалась в увесистый кулак... И вот он прыгнул, быстро, бесшумно, как кошка.

На завалинке его дома с заколоченными ставнями стоит ледащий мужичонка, весь увешанный жестянками, банками из-под консервов, ломом – железом... и торопко отдирает от створки ржавую петлю.

Никита рванул мужичонку за шиворот и процедил в несусветной злобе:

– Жу-улик, сдери с тебя шкуру, – и уже было занес кулак, чтобы ударить мужичонку в лицо, и оторопел. – Митька?... И мое добро дерешь.

Митька Спириин растерялся. Нет, нет. Он опешил, он обезумел, он вылупил глаза и часто закрестился: все на селе считали, что Никита Гурьянов давно уже где-то кости свои растерял, а тут, нате-ко вам, стоит человек – литой Никита Гурьянов. И Митька, часто крестясь, затараторил:

– Свят-свят-свят.

Никита Гурьянов наклонился в одну сторону, улыбнулся и, будто хвалясь этим, произнес:

– Я это. Я. Действительный Никита Гурьянов, а не с того свету.

Митька чуть оправился и – гремя барахлом на себе:

– Ай, Никита Семеныч, Никита Семеныч. На утильсырьё. Я ведь теперь на утильсырьё... – И с угрозой от страха: – И человек я государственный, а не спекулянт какой-то.

Никита крикнул, присел на завалинку и, глядя в упор на Митьку, спросил:

– Ты теперь из каких же будешь?

Тогда Митька расправил ледащие плечи и с достоинством произнес:

– Из единолишних мы. Еще Филат Гусев, кум твой. Вот и пара нас на селе.

В этот миг по второй улице промчалась машина, освещая крыши изб.

– Кто это? – поинтересовался Никита.

– Чай, Кирька Ждаркин. Племяш твой. Ныне дилектор Мытэс.

– Да ведь он там, – Никита показал на избу Захара Катаева.

– Ну, значит, зам его. У них ведь это – замы, мамы, – и Митька весь встряхнулся. – Эх, ты! Ты пойдем-ка... К куму Фил ату пойдем-ка. К Филату Гусеву. Ай забыл? Вот еще...

Ко двору, заплетаясь ногами, подошел исхудалый рысак и, остановившись в воротах, тихо заржал. Никита кинулся к «ему, вскрикнул:

– Во! Память! Три года дома не был, а двор свой нашел.

– Три года да еще с гаком. Ой, Серко, Серко! – Митька обнял голову рысака, как голову самого близкого друга.

– Значит, еще живем, – твердо произнес Никита и, поставя рысака около почерневшей колоды, сказал: – Ну, пойдем, Митька. К куму Филату пойдем.

8

На стук Митьки Спирина Филат Гусев проснулся. Он спрыгнул с печки, как кот, и, найдя спички, трясущимися руками зажег лампу.

«Видно, пришли на крючок меня взять», – перепуганно подумал он и шагнул к двери, боясь открыть ее.

– Филат. Я это. Я, Митька Спириин, – слышалось из за двери.

Филат открыл, ворча:

– Эка, носит тебя в час такой.

А Митька, влетев в избу, возвестил торжественно, так, как это он может, – с присвистом:

– Привел! Эка! Привел. Кого? Эх, ты! Чай, Никиту Сеченыча Гурьянова. Вот он. Во-та, – и ввел в избу Никиту.

Филат оторопело попятился, а Митька взвился:

– Что-о-о! Язык потерял? Это он... он, Никита Семеныч, а не с того свету... И Серко пришел. И прямо во двор. Во-от. Столько лет дома не был, а двор свой нашел.

Тогда Филат шагнул вперед, обнял Никиту:

– Никита Семеныч! А мы думали, где-то кости свои растерял Никита Семеныч? А он – вот он, – и засуетился. – Эх, угостить бы тебя... Да ведь нам, единолишникам, хвост – ой, как! – прикрутили, – и тут же спохватился. – А впрочем, что-то найдется. Найдется... Матреша! Дай-ка. Там у меня в подполе, – и, подойдя к печке, еще громче крикнул: – Матреша! Да что ты дрыхнешь.

Гляди-ка, кто прискакал.

Матреша слезла с печки. Кутаясь в шаль, она подошла к Никите, расширенными глазами посмотрела на него и, подавая руку, сказала:

– Здравствуй, кум. Здравствуй, кормилец. Один ай с кем вернулся?

Никита развязно и даже с каким-то цинизмом, шагнув к столу, расчесывая перед потускневшим зеркалом голову железной расческой, произнес:

– Нашел было одну, да пришлось покинуть. В один час сколупнулась и оставила меня вдовцом. Илью, бают, кокнули. Зинка на металлзавод сиганула... и остался я один, как колышек в поле.

– А Анка? Она, чай, по родне твоей таскается, – напомнила Матреша Никите про его младшую дочь – девчонку.

– Ну, стало быть, есть еще к чему прививаться, – сказал Никита и сел за стол, все так же – с выкрутасами, изгибаясь, будто ему и не под шестьдесят, а всего восемнадцать лет и будто бы он не мужик, а человек городской.

Митька и Филат тоже сели за стол, глядя на Никиту, а Никита обвел глазами избу.

В избе Филата Гусева все сработано на веки вечные: дубовые, широкие скамейки, дубовый огромный стол, сосновые полаты – прокоптелые, черные, как и сам Филат. Вон он сидит, обросший бородой, черной, смоляной. А руки у него длинные, крепкие, как оглобли. Глаза же бездвижные, такие, что кажется – Филат все время находится в состоянии очумелости.

Матреша подала на стол водку, капусту, огурцы, вареные яйца и хлеб с солонкой. Филат быстро разлил водку по стаканчикам, чокнулся с Никитой, сказал:

– Здоров будь, кум.

Выпили. Затем быстро еще раз выпили. Тогда Филат наклонился к Никите:

– Ну, что был, как был? Такой интерес у нас.

– Что был, как был? – Никита распахнул пиджачишко. – Где был, как был? – Глаза у него заиграли хитрыми искорками. – Так вот и колесил по Расее – сорок тыщ верст туда, сорок назад.

– Да еще с гаком, – поддал Митька, как человек, все уже знающий.

– Да, с гаком.

– Ну, а страна-то, страна? Как это ее? Страна Муравия – она как? Что она? Любознательно, – Митька плотнее подвинулся к Никите и по привычке пощупал на нем пиджачок. – Земля там, к примеру, как?

Никита окинул всех взглядом, сказал:

– Земля? Земля – мужику.

Митька радостно всплеснул руками:

– Вот это да-а-а!

– А газеты там есть? – в свою очередь спросил Филат.

– Газеты? Нет, этого нету.

– А тут газеты доняли, чтоб им! – Глаза у Филата сверкнули злостью. – Учуг. Все учут. Газеты учут, ячейщики учут. Все учут жить!

И они еще выпили.

– А милиция, к примеру, есть? – спросил Митька, сжавшись, как воробышек в стужу: боится милиции, как огня.

Никита опять распахнулся:

– Милиции? Нету. И этого нету.

– Ни тиньтилилинь? Ни единого? – не веря, спросил Митька.

– Духу и того нет, – ответил Никита, тиская в рот огурец.

Митька гордо посмотрел на всех, сказал:

– Вот это да-а-а! Вот это жизнь.

– А тогда с ворами как? Значит, простор: воруй, – недовольно проворчал Филат.

Никита качнулся к нему, поднял перед ним палец и объяснил:

– Там и воров, кум, нет. Без замков живут. Все настезь. Зато, к примеру, по шаше идешь, колы вдоль торчат, а на колах – башки. Там так: как вора пымают, башку ему, как куренку, отвернут и на кол. На кол. На кол. Вот и нет воров.

– Ну, вот это порядок, – похвалил Филат.

– А пахать там, к примеру, как?

– Пахать? – Никита даже засмеялся. – Да там землю-то сроду не пахнут: сама пшеница родится.

И картошка тож. А праздник семь лет. Семь лет празднуют, год работают. Потом опять семь лет празднуют, год работают...

– Вот это да-а-а... Вот эта жизнь! – вскрикнул Митька и даже встал, обошел стол и снова сел на свое старое место.

В то время по улице промчалась машина, кидая свет прожекторов в окна избы Филата. Никита качнулся, охнул, спросил:

– Кто?

Филат поднялся, задернул занавеску:

– Кто? Чай, Кирька Ждаркин. Племяш твой. Вот кто. Настоящий укротитель: не зря награду дали, – сказал он, вспомнив, что Кирилл недавно наградили орденом. И добавил: – Ондир дали.

– Да не ондир, а олдир. Эх, ты! Говорить не научишься, – поправил его Митька.

– Всех в бараний рог согнули. Вот те и олдир.

Еще выпили. Тогда Митька, щупая кепку Никиты, полюбопытствовал:

– А чего ж ты там не задержался, Никита Семеныч? В Муравии. И нас бы выманил. А-а-а?

Никита от такого вопроса было растерялся, но глубоко вздохнул, набравшись нахальства, заговорил:

– Из виду скрылась страна та. Где уж я не был? На Хопре был. На Урале был. На Днепрострое был. Всю Расею исколесил. Ну, доехали до Батума.

– Батуна? Что это?

Никита покосился на Митьку:

– До Батума: город такой на море. Нас, знашь-ка, собралось таких, как я, подвод двести. – Глаза у Никиты вдруг подернулись тоской беспросветной, голос изменился, стал глухой. – Ну, доехали до Батума, сидим на берегу моря. Ночка темная... Море бушует, ветер хлещет. А наши – над кострами рубашки, шаровары держут. Из них эти – зверки-то – падают в огонь, трещат. А иной на подводе лежит, стонет. – И снова развернулся Никита, как бы что-то тягостное, постыдное сбрасывая с себя, заговорил, как и прежде, юродствуя, тонко издеваясь над собой и над своими слушателями: – Я и подумал... Ну вот, до края света доехали. Тут, стало быть, мы, а там ведь – турки. А ну-ка, Никита-мученик, как сцапают тебя турки, мужчинского существа лишат да – баб в гарем караулить. Подумал так... и назад, – закончил он, положив огромные руки на стол.

Все смолки, как перед покойником. Тогда Митька пощупал руку Никиты, сначала узластые пальцы, затем кость выше кисти и даже покачал головой, как бы сомневаясь в прочности Никиты.

– Ты чего это? – удивленно спросил Никита, отнимая руку.

– Кости в большом ходу для утильсырья, Никита Семенович, – выпалил Митька.

– Так это ты, что же? В утильсырье, что ль, меня?

– Нет, что ты... А так – привычка примеряться ко всему... – И с грустью опустил голову Митька. – Значит, такой страны нет? Муравии?

Но Филат встал, грохнул кулаком по столу:

– Есть. Доколь мужик на земле живет, страна така есть. Ты что баил? Серко... Лошадь? Три года дома не была, а двор свой нашла? Вот – лошадь. Лошадь и та свой дом знает. И я... я что сделал? Я в поле все свои загоны колышками отметил. Пускай пашут, пускай межу ломают. А я – как что – хоп, и на своих загонах.

– Башка! – сказал Никита.

А Митька сказал свое:

– Кролей надо разводить. У меня одна крольчиха семнадцать штук принесла.

Из угла послышался глухой голос:

– Сс-слы-ышу-у-у. Все-о-о.

– Кто это? – Никита вскочил, весь встрепенулся.

– А баа-а, – протянул Филат, весь сияя. – А я тебе и не сказал. Чай, Плакущев Илья Максимыч, – и потянул Никиту. – Иди-ка, иди – порадуя его: семейству нашего прибавилось. – Подойдя к кровати, он отдернул занавеску и, показывая на Плакущева, заговорил, как экскурсовод в музее: – Вот. Гляди – дива какая. Как ты тогда укатил, его, стало быть, изъяли, Плакущева. Ну, отшлепал он три года на севере диком. Вон где. Опять домой вернулся... и чего в башку запало – в колхоз вступил. Вот ведь чего. А потом жрать перестал. Третью неделю крошки в рот не берет. Гляди, кости одни, – и бесцеремонно, как вещь, ощупал Плакущева, срывая с него дерюгу.

На кровати лежал самый настоящий Плакущев, Илья Максимович. Только глаза у него впали,

превратились в две ямки, щеки втянулись, отчего нос стал длиннее. Ноги совсем пересохли, а живот – живот ушел вглубь, будто прирос к спине. Он лежал без штанов, в одной рубашонке, и казалось – живет только одна голова, огромная, с распущенной, густой седой бородой.

Все некоторое время стояли перед Плакущевым молча. Затем Филат, широким движением руки показывая на Плакущева, нарушил тишину:

– Вот, дива.

Митька вдруг затоптался, как конь на привязи, упал на колени около кровати и заговорил громко:

– Узнаешь, что ль, меня? Меня! Митьку Спирина! Эй! Илья Максимович. Узнаешь, что ль? Вот он я – Митька. А-а-а?

Плакущев долго молчал, потом глухо, через силу выдавил:

– Гро-п-п-п.

Митька вскочил, обрадовался:

– Ой, узнал! Узнал! Гроб, слышь, мне сделай. Знат, мастер и по гробам, – и опять к Плакущеву: – А тебе какой, Илья Максимыч? На шишках ай глобусом? – и сокрушенно покачал головой. – Экий столб свалился.

Никита отстранил Митьку, сам шагнул к Плакущеву:

– Да, большой маяк погас, – и тоже, наклонившись над Плакущевым, позвал его к себе обеими руками, как будто Плакущев находился где-то в пропасти. – Эй! Илья Максимыч!.. Слышь-ка, а меня узнаешь? Ну, Никиту Гурьянова, вот еще... А? Чего ты? Ты громче. – И припал к Плакущеву, прислушиваясь.

Плакущев сверкнул глазами и глухо, через силу выдавил:

– Ры-рыса-а-к.

Никита отпрянул, вскинул вверх палец, сказал:

– Во! Память! Никак забыть не хочет, как с рысаком-то я его околпачил, – и засмеялся мелко, дребезжаще. – Рысака он мне велел, знашь-ка, куда ни куда сплавить, а я рысака в свои руки прибрал... Что, надул тебя Никита? Это, конечно, досадно, соглашаюсь вполне. Да ведь ты сам меня учил, – страшнее, слышь, человека зверя на земле нет. Ну, ты ко мне зверем, а я к тебе. А? Чего ты? Ты громче, громче. Выкладывай перед нами.

Рука Плакущева потянулась к дереву, но, обессиленная, упала, а сам он, закатив глаза, еле слышно прошептал:

– Ушел я... ушел... не тревожьте...

– А-а-а? Стало быть, конец? А что бы наделал, ежели бы встал да власть тебе – медаль эту старшинскую на грудь. Зубами бы всех рвал. – И уже с остервенелой злобой Никита прокричал в ухо Плакущеву: – На край света ты меня загнал! А я вот назло тебе в колхоз уйду... А-а-а? Чего ты?

Тогда Филат рванул Никиту:

– Дурь в твоей башке, Никита... кум... Вот что.

– А в твоей? – Никита взял со стола яйцо и, подавая его Филату, сказал: – На-ка вот, поставь.

Филат долго и тупо вертел яйцо на столе.

Никита вырвал яйцо из его рук, стукнул им по столу и поставил.

– Эх, – сказал Филат, – эдак и я бы смог.

– Смог... А вот и не смог. Башка, башка! Да чего твоя башка стоит? Кочан. Яйцо поставить не умеешь, а миром управлять лезешь, да еще пицишь, голос свой подаешь.

Филат весь надулся, стал похож на лохматого пса и, шагнув к Никите, грохнул:

– Ступай! Прочь ступай с родной земли.

Никита тиснул кепку на голову, шагнул к двери, повернулся, чуть посмотрел на Филата:

– Радость надо в миру искать, а не в трещину забиваться. Тараканы!.. – и, хлопнув дверью, скрылся.

– А-а-а! Вон ты какой, – взревел Филат и, схватив дубовую табуретку, кинулся было за Никитой.

Митька преградил ему путь.

– Погодь, погодь, Филат. Погодь. Я его приведу к чистой воде. Я приведу. Я ведь это... железный, – и тоже выскочил из избы.

Филат, не зная, что делать, поставил табуретку и хотел было убраться на печку, но тут же шарахнулся: Плакущев закричал, приподнялся, сел на кровати, свеся сухие ноги, и, сверля Филата

глазами, проговорил:

– Ш-ш-то-о? Распоясался? Нате, вяжите меня... Вот я какой.

Филат в страхе замахал на него руками:

– Лежи-ка ты, лежи. Умирай мирно... Лежи-ка.

– Эх, ты-ы! Мало отец тебя порол. Дуролом! – И, с силой перекинув ноги, Плакущев снова лег, гаркнув: – Задерни.

Филат задернул занавеску и обалдело, глядя куда-то в пространство, произнес:

– Вот те и гроб!

В дверь снова кто-то стукнул. Филат, считая, что это Митька Спириин, открыл дверь и попятился: на пороге стоял юродствующий монах, только не в рваной кацавейке и не с затасканными луковичами на шее, а в черном костюме и с портфелем в руках.

– Филат Гусев тут живет? – спросил он.

Филат попятился, забормотал:

– Он умер... Умер я... Это к нему, к нему, – и, показывая на Плакущева, пятясь, скрылся во второй комнате.

Юродивый, он же Подволоцкий, отдернул занавеску и склонил голову:

– Кланяюсь мученику, Илье Максимовичу.

– О-о-о! Жив? – Плакущев приподнялся, прикрываясь дерюгой.

– Да. Живу. Как трава перекасти-поле, – сказал Юродивый-Подволоцкий и присел рядом с Плакущевым.

– Что? Значит, ваша судьба не лучше моей?

– Судьба – ящерица: схватишь, в руках хвост останется, а ящерица-судьба удрала.

– С хвостом, стало быть, в руках и доживаем? – ковырнул Плакущев.

– Ничего. Схватим и за голову. Работаю я ныне на опытной станции вместо агронома Борисова. Помнишь? Не сносил тот головы своей. И задача: не удалось мечом, бей голодом, мором. Мор, как бушующее море, напустить, – Юродивый-Подволоцкий встал, подошел к лампе и потушил ее.

– Это вы к чему? Гасишь? – перепуганно спросил Плакущев.

– Ничего. Мы и в темноте друг друга пойдем, – ответил Юродивый-Подволоцкий.

А на улице уже занималась заря.

Никита бежал улицей, весь взвинченный, накаленный, то и дело поворачивался к избе Филата Гусева и, грозя кулаком, кричал:

– «Убирайся с родной земли». Я те уберусь. – Подбежав к своей избе, он достал из-за пазухи маленький мешочек с землей, тихо произнес: – Она, родная-то земля, мне три года сердце жгла, – стал на колени, разгреб перепрелый навоз около завалинки, высыпал землю из мешочка, затем припал к ней, поцеловал: – Ну, вот ты и на месте... С этого жить начнем сызнова, – и встал, намереваясь кинуться во двор, но не успел.

Из бывшей избы Маркела Быкова вышли колхозницы. Они, может быть, и прошли бы мимо, не заметя Никиты, но Елька, бывшая жена Ильи Гурьянова, вдруг шарахнулась, закричала:

– Ой! Батюшки! Из могилки, что ль, явился?

Никита выпрямился, приподнял кепку и, вертясь на ноге, произнес:

– Здрате. Здрате. Передовые.

Анчурка Кудеярова оттолкнула от себя Ельку, сказала:

– Да что ты перепугалась как? Из могилки-то еще никто не являлся, – и, шагнув к Никите, протянула: – А-ма-а-а. Он, Никита, бабыньки.

Никита, не зная, что делать, держал над головой кепку и глупо улыбался.

– Ишь ты! Пуговицы-то золотые.

– Да-а, – ответил Ельке Никита, потирая пуговицы рукавом. – У нас там все такие... в стране Муравии... по колено в золоте. Колесы на телегах и то из золота...

– Колесы из золота, а пиджачок-то на тебе с чужих плеч вроде, – сказала Анчурка.

– А на рост... У нас там все шьют на рост. Ему под пятьдесят, а то и больше, а он растет... Растет... и растет.

– Только ты-то что-то не вырос. Как был коровий шовях, так и остался. – И Елька даже взвизгнула.

– Елька! – закричал Никита, забыв о том, что он никакой власти уже не имеет над Елькой. –

Елька! Тымотри у меня... Так вздую...

- Вздувал один такой... Ой, бабыньки!.. Обмыльшек какой явился! – И Анчурка загоготала. Смех Анчурки подхватили колхозницы и, проходя мимо Никиты, бросали ему каждая свое:
- Порося ободранный.
- Мешок мякинный.
- Шелудивый...

И когда они скрылись, Никита долго смотрел на село, затем произнес:

– Топчут... Бабы ведь топчут... И зачивреешь, как Серко. Отпихнут и зачивреешь. – Он еще чуточку постоял, покачиваясь, и вдруг завыл: – Эх, люди-и! Что, сердца, что ль, в вас нет?

Если бы в эту минуту кто-нибудь подошел к Никите и сказал бы ему: «Никита! Не плачь: тебе положено твердо ходить по земле», – он бы и пошел, твердо, осмысленно, но к нему никто не подошел, и он, шагнув к себе во двор, процедил сквозь зубы:

– А на карачках ползти к вам – нету. Этого кнутом из меня не выбьете: лучше с кумом Филатом подохну.

Звено восьмое

1

Земля томилась, как баба, вышедшая из горячей бани. Земле было жарко, и испарина от нее поднималась только в ранние зори, а так – казалось, она давно покрылась черепицей, каленой, жесткой.

Наступала страда.

Бывало, в такие дни Никиту Гурьянова мучили терзания: хватать надо. Не ухватишь – хлеб упадет на колено, осыплется, а его вон сколько – сорок восемь загонов, двенадцать ланков, и все именные, да еще клинья, кусочки на далеких болотах, в неведомых народу местах.

Да-а... Бывало. А ныне Никита тайком пробирается ко двору Филата Гусева. Оглядываясь по сторонам, подгибая ноги, точно без штанов, он подбежал к плетню и скрюченным пальцем гневно, раздраженно поманил:

– Кум! Куманек... Какого пса, искать тебя?... Пойдем-ка... Туда, – он косит глаза на реку и тропочкой, мелькая спиной в высокой полыни, убегает к риге.

Рига стоит, возвышаясь над берегом реки Алая. В риге пахнет прелью, как в пустом заброшенном сундуке, а под самым потолком вьется мошкара.

– Тож ведь живет, – бормочет Никита. – Мошкара какая ни на есть, а и та живет, кружится.

– Опять раздостал? Экая находчивая голова, а я вот чего ни делаю – никак. – Филат усаживается на почерневший, примятый сноп и улыбается, глядя на поллитровку.

– Достал маленько, – говорит Никита и заскорузлой ладонью бьет в доньшко. – Бывало, когда на Днепре я был, с директором мы пили, – начинает он врать. – Директор там был – сажень росту. Придет вечером ко мне и говорит: «А ну, Никита Семеныч, давай на градусах тягаться». И тягаемся до утра.

– Да «у тебя! – не верит Филат.

– Вот Фома неверный... Ну, пей скорее, а то надувальный налетит, однояишник.

– Ты скажи мне, кто такие есть надувальные, однояишники? Говоришь ты, а мне невдомек...

– Ты да я, да мы с тобой – вот кто. Да еще Митька Спириин. Индивидуальными нас зовут, единоличными, а мне так по нраву – надувальные однояишники. Однояишный жеребец зол? Вот и мы. Ну, пей... муха осенняя.

– А-а, вы уже тут? – в ригу просунулся Митька Спириин. – А я гляжу, чего по задам бегают, дай загляну.

– Догадливый какой, – усмехнулся Никита.

– Куманек, – Филат поднялся навстречу Митьке. – Садись, куманек.

– Кумовья собираются. Ты, Митька, на кой пес притащился! – заворчал Никита, пряча поллитровку. – Ты ведь настоящий надувальный. Вот человек – всю жизнь в бедняках ходит и песенки поет. Подобрал ключи под советскую власть.

– Эх, я и забыл! – спохватился Филат, вынимая из кармана свежие огурцы. – Меня Матрена

охалят за огурцы. Я ей говорю: «Скучно нам, старикам, вот и пробавляемся в риге огурцами! Хе-хе. Соберемся и грызем огуречки... Зайцы... А про эту влагу ии-ни. Жизнь, мол, нам одна дана: раз власть советская не хочет, чтоб мы жили тянули, – огурчиками пробавляемся.

– Муха осенняя. – Никита выпил, крикнул и добавил, вытирая губы: – Нам, старикам, при колхозах самое добро. Пра. Живу я вот и торжествую. А водка хороша, не хуже царской.

– Нет! При царях водка была «уда крепче, – возразил Филат.

– Ты чего бельмы таращишь на слеге? – Никита повернулся к Митьке.

– Не припрятать ли их, Никита Семеныч?

– Хо! Припрятать! Он все – припрятать. На днях у меня из-под амбара две бороны выволок – припрятать.

– Он у меня три бревна из овина утащил, – вставил Филат. – Слышь, все равно пропадут...

Отдай ему, Никита, и слеге.

– Ну-у? Да ведь он обогатится, мы его раскулачивать придется... Пес с тобой, бери... Литровку притащи – с меня хватит. Я эти слеге на себе из лесу пер, дурак... Вот еще литрочка есть, – мечтательно закончил Никита и, распив пол-литровку, окончательно договорясь с Митькой, поднялся, раскрыл ворота риги: – Ну, куда стопы свои направим? Ты, Митька, беги от нас: ты молодой, народ увидит, скажет – пьянствуют. Не подрывай нас. Слеге нонче заработал и ступай. Куда пойдешь? – спросил он Филата.

– Веди куда хошь, Никита Семеныч, – сказал Филат.

– Знаешь что, пойдешь на «Бруски», – посоветовал Никита. – Аль нет, пойдешь на опытное поле... там Стешка Огнева, мокрохвостка, чудеса делает. Сою хвалит... Соя – боб есть такой... Баит, из нее все можно делать и водку гнать... Может, выпить удастся. – И, подхватив Филата под руку больше для того, чтобы не упасть самому, Никита посоветовал: – Ты только вот что, перед Стешкой степенно веди себя: удивляйся всему, охай, ахай, хвали. Свет, мол, нонче только передо мной открылся... А то прогонит. Ругнешь – прогонит. Там порядки строгие.

Два кума вышли за околицу и направились на опытную сельскохозяйственную станцию, расположенную на макушке горы Балбашихи. Было еще совсем раннее утро, и стояла тишина – предвестник жаркого грядущего дня.

– А гляди-ка, клади явились в поле, – проговорил Филат. – Таких я сроду не видал, – он показал рукой на разбросанные клади ржи в полях. – Видно, под снег не хотят в нынешнем году пускать.

– А ведь они и нас с тобой скоро на цугундер возьмут, – задумчиво проговорил Никита. – Кирилл Сенафонтыч, племяш мой, – не без гордости подчеркнул он, – щель какую-нибудь придумает и нас с тобой воткнет, право слово.

На опытной станции ждали гостя.

Стеша, выпроводив посетителей, забила к себе в лабораторию, перебирая экспонаты, развешивая их на стене и проверяя каждую мелочь, зная, что гость будет придирчив, и ежели что окажется не так, то ей же и придется краснеть. А Давыдка Панов распорядился заново разместить дорожки, расчистить лужайки, привести в порядок клумбы.

– Цветы любит, – говорил он Фене, вертевшейся около него с утра. – Чудесный человек. Мы его все уважаем. К Кириллу Сенафонтычу не совсем по-доброму, а Богданова любим.

– Да ведь он вас не трогает, вот и любите.

– Как – не трогает?

– Не щелкает... А Кирилл иной раз по затылку залепит.

– Ты бы ушла от меня, Фенька! Ты сроду разбередишь... Ты скажи, за что его любить... За то, что народом помыкает?

– Не народом, а такими вот, как ты да Барма. Вы распустились.

– Убирайся, говорю, от меня. Чего ты все утро?

– А сколько человек приедет? – не унималась Феня.

– Сказано, три человека... Что ты сотый раз? – буркнул Давыдка. – Помещение велено на троих приготовить.

– А не на четверых? – спросила Феня, и Давыдка заметил, как она при этом игриво передернулась.

– Почему же на четверых? – удивился он. – Тебе, что ль, местечко? Ты не за Кириллом ли утямилась? Гляди у меня – узнаю, не посмотрю, что секретарь комсомола... отхлестаю за мое

почтение. Ты то должна понять, – умоляюще заговорил Давыдка, – он мне, Ждаркин ваш, поперек горла.

– Мало ли кто тебе поперек горла! А где жить будут?

– В беленьком домике... в опытном...

– А-а. – Феня заломила руки и тихо зашагала по начисто разметенной дорожке вниз к зеленеющим луговинам.

В этот час два кума и вошли во двор опытной станции.

– Для нас размели? – спросил Никита и отряхнулся. – Гляди, кум, какое величие глазу открывается. Вот когда я один жил – и не замечал величие мира, а теперь – смотри: Давыд Петрович, гражданин с Бурдяшки, какое величие мира открыл. Ведь это все дела твоих рук, Давыд Петрович. Без нас, без мужиков, мир давно бы спотыкнулся, вверх тормашками полетел.

Давыдка вначале принял слова Никиты за издевку, но, взглядевшись, заметил, что Никита говорит серьезно, отряхивает свой пиджачишко, стараясь обойти расчищенные дорожки, не притоптать взрыхленного граблями песка, поверил и проговорил умиленно:

– Да, мир, ежели его в бане помыть, красивый. Только тех, кто его моет, не всегда во внимание принимают. Вон Степан Харитоныч Огнев. А не он ли мир расчищал?

– Что же это такое? – возмущаясь, произнес Никита.

– Ты бы опросил его, как советская власть живет, – Посоветовал Филат, легонько толкая Никиту.

У Давыдки вспыхнула лютая обида на Кирилла, и он, Не сдержав себя, вылил ее перед Никитой.

– Вон чего, – посочувствовал Никита. – Стало быть, где ни ковырнешь, везде болячка?

– Да... мир... ежели его в бане... именно ш-што-о, – начал Филат Гусев, памятуя наказ Никиты. – Мир... вот именно ш-што-о, ежели его ковырнуть... а то, бывало, все с нас да с нас, а с бедноты-то... и нет ничего.

– А где у вас товарищ Огнева, Степанида Степановна – мастерица знаменитая? – заторопился Никита, испугавшись, как бы Филат своей болтовней не выдал их замысла.

– В своем кабинете, – ответил Давыдка. – Только она ведь сегодня не принимает... Да ведь вас все равно не удержишь. – И, польщенный вниманием Никиты, Давыдка довел кумовьев до лаборатории.

– Видал, как надо дела обделывать? Без мыла мы с тобой пролезли... А не похвалили бы, – не пропустил бы этот косоногий головастик, – шепнул Никита, входя в лабораторию.

– Ухач ты, – Филат покрутил головой.

– Некогда... некогда... завтра приходите, – не отрываясь от экспонатов, проговорила Стеша.

– А мы и не потревожим вашу милость, – мягко откликнулся Никита. – Мы вот постоим и порадуемся на вашу милость. Ведь вы тб поймите: старички мы. Верно, силенки в нас еще лет на двадцать хватит... Так, не так ли? – обратился он к Филату. – Кум, бай. Так вот, а нас домовничать заставили, с ребятишками возиться, а мы хотим инициативу проявить, раз власть к тому призывает. Денек нонче выходной, дай, думаем, заглянем к нашему чудотворцу, поучимся уму-разуму... особо к сое.

Услыхав о сое, Стеша не стерпела, повернулась к кумовьям.

– А-а, Никита Семеныч! Тебя тоже соя завлекла?

– Зоей и мы хотим интерес иметь, – ввернул Филат, сурово глядя в спину Никиты.

– Не зоей, а соей, – поправила Стеша.

– А что она есть такое? Слух попер по нас, – спросил Филат.

– Соя есть...

– Это мы слышали... и утруждать Степаниду Степановну намерения у нас нет. А вот скажи-ка, водку из сои угнать можно? – перебил Никита, уже зная, что теперь Стеша от них не отстанет.

– Спирт? – серьезно переспросила Стеша. – Спирт можно гнать.

– Можно, значит, водку гнать? – еще раз спросил Никита.

– Да, можно.

– Значит, полезительное вещество есть зоя, – согласился Филат.

Никита, обращаясь к Филату, прищелкнул языком:

– Видал? А ты не верил, – и к Стеше: – Он не верил, ему не верилось, – и, запнувшись, ласково заговорил: – Кто ты есть теперь такая, баба аль кто?

– Лаборантка... и шофер.

– Бона куда махнула! На это ведь голову надо какую иметь – с котел... А еще скажи, у тебя для пробы такая влага есть? Нет? Что ж ты в беспорядке хозяйство держишь? Вот пришли к тебе люди темные, ты бы им по стаканчику – и разговор бы другой пошел, и вера в сою утвердилась бы.

Стеша не выдержала. Громко смеясь, выталкивая их из лаборатории, она сквозь смех выкрикивала:

– Вот экспонаты... вот так экспонаты!

– На вольный воздух? Воздухом-де подышите, – перевел все в шутку Никита. – На воздухе при зеленых теперь бы и попробовать влагу из сои.

– И то еще, – встрепенулся Филат, – скажи: интерес имеем – что есть социализм и на кой нам его?

Во двор, волоча за собой вьющийся хвост пыли, вкатила машина. Она промчалась мимо клумб, мимо Давыдки Панова, мимо конторы и резко остановилась у лаборатории.

– Федор Васильевич. – Стеша выбежала навстречу. – Вам... для вас все приготовлено... Я думаю, жить будем в беленьком домике?

– В каком это беленьком домике?

– Домике из торфа.

– Ага. Ну, еще что?

– С чего начнете?

– С отдыха, Стешуха! – проговорил Богданов. – Я пошел гулять, и ты бросай! – И Богданов зашагал той же дорожкой, по которой за несколько минут перед этим ушла Феня.

2

Степь, пыль и жара – звонкая. Кажется, в воздухе носятся миллиарды пчел во время буйного взятка, и весь мир – кудрявые трепетные ветлы, цветущие кургузые липы, сумрачные широколапые дубы, травы, сочная смородина, кокетливые подсолнухи, – весь мир сочится медом, вкусным, теплым, ядреным... И все-таки человеку хочется в прохладу, на берег реки, окунуться по шейку в воду и сидеть так, ни о чем не думая. В эти дни солнце широко раскрывает жгучую пасть, дышит мглою, рвет землю трещинами – старческими морщинами – и гонит с болот гарь, едкую, приторную, назойливую.

– Бывало, в такую пору бары пуза квасом охладили, – мечтательно шепчет Никита, сидя рядом с кумом под кустом рябины, обозревая с горы долину реки Алая – новый городок, раскинутый за Широким Буераком, далекий цементный завод, Волгу, бегущие пароходы, таборы в поле, людей – баб в разноцветных косынках. – Через бабу государства рушились, – добавляет он. – А нонче баба – первый человек в поле: мужичишки разбежались кто в «Чертов угол», кто на Магнит-гору, кто куда улепетнул. «Чертов угол» как разворочали... Диво!

– Бывало, в эту пору дыхнуть некогда, а нонче мы вот с тобой сидим, как ребяташки.

– И как только холка у нас терпела! – подивился Никита. – Шут их знает, – чуть спустя снова заговорил он, – может, и правда, ячейщики новый свет открыли – живите-де как в младенчестве. Гляди, народ-то как в поле шурует.

– Нет, – Филат мотнул головой, – в меня это не лезет. На днях Пахома Пчелкина видал. Да вон он никак... Он и есть... Рехнулся: каждый день в поле между свою ищет. Что с ним ни делали, он все свою между ищет.

– Нашел указать на кого, на Пахома! Он сроду без ума... Да и мы без ума! – неожиданно для себя раздраженно выкрикнул Никита. – Копили, копили, да все козе под хвост, а человеку всего-навсего надобно кусок хлеба.

– У тебя в башке опять все вверх ногами пошло, – гневно, в пригнус заговорил Филат. – И эта...

– Стоп, молчок! Слышал сто раз твою песню. Никак племяш мой катит, его машина... голубая.

И, выскочив из-под рябины, Никита, не обращая внимания на зов Филата, кинулся вниз, прыгая через рытвины, ямины, путаясь в мелком кустарнике, боясь, что машина может его опередить, уйти... и тогда, может быть, навсегда в Никите заглохнут мысли, как глохнут с перевесны всходы под жесткой коркой.

– Стой, стой! – Он вздернул руки, поднимаясь на цыпочки, каменяя посреди дороги. – Стой.

Труп свой подложу!

Голубая машина со всего разбегу круто вертанулась, зашипела, шурша шинами о мелкую гальку, заволакивая Никиту тучей пыли. Из машины выглянул Кирилл и, рассматривая раскрасневшегося от бега Никиту, спросил:

– Тебе чего, Никита Семеныч? Говори скорее, а то торопимся.

– Покажи суть дела. – И Никита, не спрашивая разрешения, сел в кузов.

– Та-ак. Радость, стало быть, все ищешь?

– Угу, – буркнул Никита.

– На Полдомасово, – приказал шоферу Кирилл. – Быстро, чтоб к обеду вернуться на опытную станцию. Не знаешь, Никита Семеныч, Богданов там?

– Приехал... своими глазами видел. Стефанида Степановна его встречала.

«Ну вот, опять я тебя не увижу, – с тоской подумал Кирилл. – «Покажи суть дела». Каждый хочет знать суть дела, – повторил он слова Никиты, думая о Стеше, решив сегодня поговорить с ней впрямую, откровенно, чувствуя, что ему-то не хватает совсем не той радости, какую ищет Никита Гурьянов. – Люблю я ее. Да. Да, – говорил он про себя. – Так и скажу. Все другое... остальное – озорство...»

Он повернулся к шоферу:

– Ну, трогай.

И машина пошла, голубея в беге, мимо опытной станции, проселочными дорогами, мимо таборов, высоких рыжих кладей, туда, где совсем недавно та «буйно шумели мужики. Машина шла во весь опор, надавая, и ветер рвал на Никите пестренькую полинялую рубашонку.

– Ах, Стешка, Стешка, – тихо шептал Кирилл и вздрогнул, испугавшись, что его мысли подслушал Никита Гурьянов.

Но Никита вовсе не слушал его. Он вертел головой, хмурился: по обе стороны дороги лежат кучи скошенного хлеба. Они лежат рядками на протяжении пятнадцати километров. Нет, больше... Ведь уже проехали Никольское, подкатывают к Колояру, а по обе стороны дороги на просторах полей все так же лежат кучки скошенного хлеба – невымоленного, брошенного. Может хлынуть дождь, вымокнет, прорастет рожь. Тогда что? Дерьмо с поля вози.

– Слушай-ка, собака тебя заешь на коровьей бойне! – сорвался Никита, дрожа, как от озноба. – Ты баил мне, помнишь... лошадь чужую велел любить... корову чужую... хлеб чужой – в этом-де радость. Мотушка ты: тебе радость, как пьянчужке, – последнюю юбочку с жененки на базар за вино.

– Ты это чего, дядя, сорвался? – Кирилл посмотрел «а него, совсем не понимая его.

– Сорвался! – огрызнулся Никита. – Мир весь изуродовал. Вот дождик грянет, и нет твоего хлеба. Что, как баран, на меня уставился? Говорю, почему рожь не связал? Эх ты-ы... уродина! Придушить бы вас всех еще титешными.

Кирилл тихо рассмеялся.

– Ты что ж, это – хи-хи да ха-ха? Палкой вон тебя по башке. Ведь это не хлеб в поле валяется, а кровь наша. Дурень! – И Никита, стиснув зубы, с еще большей силой затосковал о своих загонах, о своем дворе, о своей бабе, своем Цапае.

Уже промчались километров тридцать пять, а по обе стороны дороги все так же лежали подкошенные кучки. Временами поле прерывалось подсолнухами, люцерной, картофелем, бобами, а потом снова тянулись кучки, напоминавшие собою павших воинов, слегших под градом пуль, под ударами тесаков, от удушливых газов.

– Смерть несете на землю, лютую смерть! – Никита крутил головой. – Сдыхать теперь нам, как Плакущеву.

– Это верно, – согласился Кирилл, догадываясь о печали Никиты, и начал им играть. – Это верно. Смерть несем на землю, лютую. Вон гляди-ка, чего там творится, – он показал рукой в сторону на причудливые вспышки.

Вспышки завиднелись еще издали. За изволоком, на просторах степей будто шла стрельба из пушек, но дым вовсе не поднимался, как это бывает, не таял, а, наоборот, двигался, напознал, точно преследуя кого-то... А Никите даже почудилось, что там, за изволоком, несется мелкими партиями саранча. Она вот так же иногда поднимается из-за горизонта, оседает на поля, пожирая хлеб... Но тогда деревни, села выбегают ей навстречу, стучат в заслонки, железки, кричат, улюлюкают, палят саранчу огнем... а тут кругом все так же спокойно, как спокойно на полях, устланных кучками

хлеба.

– Что же это такое может быть? – спросил он и начал дрожать – мелко, зябко.

– Не знаю. Чуда какая-то, – ответил ему в тон Кирилл.

И в следующую минуту Никита приподнялся в кузове, готовясь выпрыгнуть и бежать обратно к широкобуераковским полям, на гору Балбашиху, к оставленному под кустом куму Филату: из-за изволака, прямо на них надвигались, точно огромные тупорылые танки, гусеничные тракторы. Он «шли рядами, один за другим наискось – широким фронтом, захватывая огромную площадь озимой пшеницы, волоча за собой кибитки. От кибиток поднимались вспышки – пыль. Пыль дрожала, вилась, будто рои пчел над маткой, а гусеничные тупорылые тракторы ползли, шевелясь, зарываясь в землю, выныривая, заполняя поле грохотом, треском, оглушающим ревом, оставляя на поле такие же кучки соломы, какие видел Никита по обе стороны дороги.

– Ну вот, дядя Никита, – просто сказал Кирилл, – смерть мы сеем на земле или радость? Эти двадцать четыре машины и сорок восемь комбайнов убрали за двадцать три дня двадцать восемь тысяч гектаров. Сжали, стало быть, и смолотили. Сколько надо поставить народу, чтобы убрать такую площадь? Тысяч десять, поди-ка, а У нас в две смены работает около семисот человек. Понял?

Никита молчал. Ошарашенный видом комбайнов, гулом, грохотом, вспышками, необычным видом поля, он даже не слышал, как прокричал ему Епиха Чанцев:

– А-а... надувальный явился!

И, только поднявшись на комбайн, он увидел Епиху. Тот сидел за каким-то рычажком и смотрел на Никиту, щеря белые зубы, – лицо у него в пыли, в мякине, блещут только зубы да глаза.

– Никита Семеныч, – опять заговорил он, – жалею, удрал ты тогда от меня. Помнишь? На рысаке в ночь укатил, и нет тебя. Собственник.

Никита дрогнул, припомнив, как Епиха неотлучно ползал за ним, но не показал вида, заговорил тихо:

– Да какие мы собственники? Нас всех на лопату поддень, подбрось, и полетим, как мякина.

– Что, хребтик, стало быть, надломили? А и все равно пить друг другу не подадите – такого сорта народ.

«Вы уж больно подадите!» – обозлился Никита, но стерпел, говоря примиренно:

– Было дело. Ты то помни, есть такая добрая поговорка: живучи на веку, повертишься и на заднице и на боку.

– Вот ты и вертишься, – поддел Епиха. – А мы воюем. За три лета, гляди, как все перевернули. Я вот, например, против тебя миллионер. Пра.

– Хвальбы у тебя много, ничего супротив этого не имею. – Никита сузил глаза. – Только отчего штаны на тебе латаны да перелатаны?

– Э-ка, – Епиха вскинул голову. – Мы на железку работаем.

– На какую железку?

– Вот на машину на эту. Заводик сколотили, он железку нам дает, из железки машину делают, а ему за то хлебец, мясо, баранину... ешь, дорогой наш друг.

– Это ты про какой заводик? – спросил Никита, рассматривая Епиху.

– А в «Чертовом углу».

– Да ведь там еще нет ничего.

– Будет. На Магнитке есть, в Кузнецкой Сибири есть... Ну, пошел, некогда с тобой балясы точить... Все равно мы тебя в нашу семью не примем, закались допрежь: топор некаленный гнется.

Никита молчал. Лицо у него вытянулось и словно еще порыжело, будто он только что вышел из горячей курной бани. Дрожащими пальцами он ощупал конвейер – ремень, по которому вверх, в ларек, бежала скошенная пшеница, заглянул в другой ларек, откуда вылетала мякина-пыль, и долго всматривался в работу комбайнов, удивляясь тому, как через четырнадцать минут к каждому из них подсакивает грузовик, на ходу сыплет в кузов зерно и катит к далекому элеватору.

– И все? Стало быть, жатью, молотьбе конец? – вырвалось у него, и он снова смолк, сцепив зубы, упрямо и подолгу рассматривая машины, людей, отмечая, что тут работают не только люди со стороны, но и молодые парни из Широкого Буерака. И в Никите начала пробуждаться зависть – муторная, злая. «Бежит народ от меня», – подумал он и согнулся над ларьком.

Кирилл ясно видел, что творилось с Никитой, намеренно не тревожил его расспросами и только, когда тот сам спустился на землю, точно о каком-то пустычке, спросил:

– Никита Семеныч, скажи, пожалуйста, отчего почки на деревьях разбиваются?

– Крутишь? – ощерился Никита. – Экая кровь в тебе: дескать, загну Никите, а он и оторопееет: я его, как синца, в клетку?... Отвечу: весна пришла, соки в природе явились.

– Правильно. А скажи, почему в деревнях почки новые разбились?

– Это что за почки?

– А вот, например, Епиха Чанцев, задрипанный человек, которого вы там у себя рядом с собаками за еду не сажали, – почему он расцвел?

– Уйди ты от меня, – отмахнулся Никита и, нагнувшись над кучкой соломы, принялся отыскивать в ней колосок с зерном.

– Не веришь? – спросил Кирилл.

– Нет. Чего тут не верить? Дело чистое.

– Чего же копаешься? Колосок с зерном ищешь?

– Да так... сплунуть хочу, – вильнул Никита.

– На нашу радость?

Никита выпрямился и глухо бросил:

– Поганец! Ты что ж думаешь, жизнь переломить – все одно что с гуленой девкой пофорсить? А-а? Да, не признаю. Нет тут для меня мамыньки родной... Мачеха она мне – работа ваша. Ну и что же? Что со мной сделаешь?

– Врешь, дядя, признаешь.

– А я говорю – не признаю. Что я, не хозяин своего слова? А-а? Мамыньку родную ты укокошил, мачеху подсунуть хочешь? Что ж, соглашусь на то: пить-есть надо.

– Врешь. Опять врешь, – спокойно обрезал Кирилл.

– Да что ты мне все – врешь, врешь... наладила сорока. Ты не врешь. Учишь все... учишь... и не врешь: святой Кирилл-Мефодий.

Кирилл рассмеялся и, направляясь к автомобилю, кинул через плечо:

– Кричишь, а зла уже в тебе нет, пыл только один, дух, как вон вспышки от комбайнов... На ветер и понесет...

– А я говорю – не признаю. Силком меня толкнуть хочешь. Да на кой она мне нужна, ваша комбайна? – И Никита выругался, с сердцем, остервенело. – Вы еще не знай чего придумаете, а я должен за вами на карачках бежать. Весь мир на карачки посадили.

– Экий ты! Как маленький... Дело-то ведь о тебе идет, не о нас. Мы бегом вперед побежали, ты отстал, почему-то на карачках пополз – и вставай, пойдем вместе. Не пойдешь – задавят, как червя.

– Что ж, – Никита обиделся, – мир, значит, такой... не согласен кто – его под пятку, как паука.

– Был такой мир – под пяткой миллионы сидели, а теперь других под пятку.

– Вот и мните!

И машина понеслась той же извилистой полевой дорогой, туда – к широкобуераковским равнинам, и по обе стороны все так же лежали кучки. Вглядываясь в них, Никита временами забывался, горестно думая о том, что вот их надо еще копнить, молотить.

«Возни много! – И встряхивался: – Да нет же, пустые они, кучки: шутовины эти, комбайны, и тут прошлись».

На улице Широкого Буерака они столкнулись с Митькой Спириным. Он шел от своего двора, крепко прижимая к груди юркого черного кролика.

– Твой отросток, дядя, идет. – Кирилл указал на Митьку и намеренно задержал машину. – Ну, как живешь, последний одиноличник? – трепля кролика за ухо, спросил он Митьку. – Один остался на селе. Ему столб березовый на могилке воткнут: дольше всех держится.

– Да вот, шалун мордашку зашиб, – точно не слыша вопроса, заговорил Митька. – Зашиб. А ведь мухи, червяки накинута. Иду в колхозную сапожную мастерскую, деготьком смажу мордашку.

– Слухи идут – лошадь у тебя волк задрал, а ты новую купил?

– Не везет мне, Кирилл Сенафонтыч: савраску волк задрал на лугу. Да дивись бы целый волкот, а то треногий. Я савраску на луг выпустил – пускай, мол, отгуляется маненько, треногий подкараулил и зарезал. Теперь кое-как сбился, новую купил. Идемте, поглядите. Ты знаешь толк в лошадях, и ты, Никита Семеныч. – Митька повел их за двор, бормоча: – Я давно вам, Кирилл Сенафонтыч, хотел биографию своей жизни рассказать, как сложилась она, – и, не дожидаясь согласия, продолжал: – В тысячу девятьсот девятом году у нас сдохла лошадь, ну, отец отправил меня в услужение к людям. Два года я батрачил, зашиб деньгу – купил лошадь. Буланый мерин был, помню – шустер, вожжой не тронь. Ну, и сдох буланый мерин под рождество. Что ты тут будешь

делать? Пришлось ехать на Каспий, а я только женился на Елене своей прекрасной. И зашиб деньгу, купил жеребенка, выходил его. Мыть напала, ноги отнялись, прирезать пришлось...

И, пока они шли за двор, Митька успел рассказать им о том, как у него волк задрал восьмью лошадь – савраску.

Кирилл засмеялся:

– Да это, брат, не твоя биография, а лошадиная.

– Лошадиная? Она будет лошадиная, раз в жизни не везет. А вот новопкупка моя.

За двором на привязи ходила пестренькая облезлая лошаденка. Ей было, очевидно, не больше трех лет: у нее еще совсем слабенькие ноги, дряблые мускулы в пахах, но шея уже стерта хомутом, холка сбита... Сонливая, голодная лошадь чем-то походила на Митьку Спирина.

– Лошадь! Конь – ногой ботни! – проговорил Кирилл, подходя вплотную к лошаденке.

– Не трогай... не трогай, – предупредил Митька. – Лягается. Истинный бог!

– Лягается? – Кирилл потянул лошаденку за хвост на себя. – Лягается! Беда!

– Да твою лошадь, – с укором проговорил Никита, – можно за щекой спрятать, как вишню... Окаянная жизнь какая: за дерьмо вцепимся, и не оторвать, – добавил он чуть погодя, злясь уже не на Митьку, а на самого себя.

– Не спрячешь. Спрячь-ка, спрячь, – по-детски пригрозил Митька и, присев в ногах у лошаденки, начал гладить черненького с окровавленной мордочкой кролика, рассказывая:

– Богданов только что ко мне заходил. Хозяйство мое осматривал и на сундук натолкнулся...

На днях я сундучишко по случаю купил. Долго Богданов около сундука вертелся и все спрашивал, что буду беречь в сундуке... Что? Тряпье, баю, всякое. Какой, баю, хозяин, ежели сундука в доме нет?

Никита посмотрел в глаза Кириллу, сказал:

– Ну, бери меня.

3

Богданов шел с непокрытой головой, шел наобум, куда ноги вынесут, и, спустившись с горы, задержался: на него из луговинной долины хлынули волны смеха, песен, буйного веселья, в глаза бросилась пестрота красок: у пруда, на берегу, в зелени луговины, в соснах, на пригорках – всюду копошились люди. Люди пели, плясали под гармошку, лежали, развалиясь на припеках, под деревьями, бегали, настигая друг друга, – и все орало, шумело, двигалось.

«Ой, как хорошо!» – чуть не вскрикнул он, и ему самому захотелось кинуться в этот веселый круговорот – в круговорот людей, вышедших из-под каменных плеч городка на просторы равнины, от пыльных стен цементного завода – под сосны, к горьковатому запаху кашки, из душных спален – под липовые ветки, от станка – к белоголовым лесным ромашкам, от забот – к веселью, к веселью выходного дня.

– Ой, как хорошо-то! – воскликнул он, уже врезаясь в толпу, и снова остановился, увидел неподалеку в группе девчат Фешо Панову. Она лежала на зелени трав, шевелясь, изгибаясь, походя в сером полосатом платье на огромную ящерицу... И Богданов сник, пошел в сторону, кособочась, стараясь не смотреть на людей...

...Ночь подкрадывалась исподтишка, как неожиданная грозовая туча в летний маревый день. Ночь подкрадывалась воровским шагом, стирая яркие краски в луговинной долине реки Алая, кутая чернью низины, дыша сыростью, прелью болот. Ночь шла, угоняя из луговинной долины людей, обрывая крики, песни, смех, разудалое веселье – и было жалко расставаться с этим буйным днем, уходить к затрепанным постелям в мир крохоборных забот. Но ночь шла, угоняя день, глушила звонкий смех, веселье.

Ночь...

...Лесными утоптаннами тропами они пробирались туда, откуда поднимался гуд. Они шли молча, напряженно прислушиваясь, стараясь умерить даже дыхание, ступать на тропы мягко, осторожно, чтобы не было шороха, и только на повороте у Белого озера не выдержала Стеша, произнесла тихо, еле внятно:

– Кирилл, слушай – и лес-то шумит как-то по-другому.

Затем они снова шли молча, торопко, точно убегая от кого-то, затылок в затылок, – впереди Кирилл, за ним Стеша, Феня Панова, а позади всех, отдуваясь, но не отставая, Богданов. Они шли

уже больше часа, покрывшись легкой испариной, возбужденные оттого, что их руки соприкасались, и оттого, что по лесу носились новые песни – гуд, поднимающийся откуда-то из-за горы, из-за лесных массивов. Говорить никому не хотелось. Хотелось идти вот так, держась за руки, ныряя в долины, овраги, помогая друг другу на крутых склонах, скользя по шелковистой, увлажненной траве. Хотелось молчать, и еще хотелось, чтобы этот путь – путь лесными утоптаннами тропами – был бесконечен.

Они шли с опытной станции, из беленького домика. Беленький домик, построенный из торфа, стоит почти совсем на отшибе. Вокруг домика гудят могучие перевитые сосны, в низине пыhtят прелью болота, и пахнут тонким запахом лимона бархатные мхи. Около беленького домика тихо, как у охотничьей заброшенной избушки.

Они пошли, держась за руки, узкими лесными тропами через гору Балбашиху. Богданов шел последним, и все думал он о Кирилле, о Фене Пановой, о себе, о Стеше, об оставленной на время площадке – и было ему хорошо.

Пробившись через гору, выйдя на опушку, они замерли: за околицей Широкого Буерака по полям шествовали тракторы, готовя землю под озимые посевы. Они шествовали; взметывая свет прожекторов, бороздя им небо, дали... Лучи прожекторов падали на пахоту, рассыпались мелкими бликами и снова взметывались во тьму, перекрещивались вверху, точно играя, и небо становилось глубоким, бездонным. Лучи прожекторов бросали отблески на изломанные улицы Широкого Буерака, на взъерошенные соломенные крыши изб. И село, залитое матовой волной, глядело в поле темными зевами окон, сумрачными коньками изб, уродливыми глиняными печными трубами, – село омертвелое, напуганное, застывшее. А тут, за околицей, гуд слился с тракторами, и черные просторы полей превратились в просторы моря, где, казалось, на буйных гребнях волн, состязаясь в беге, готовились к смертельному бою дредноуты. Казалось, они, кроясь во тьме, потухая и снова вспыхивая, налетали друг на друга, сталкиваясь лучами прожекторов, бросая вверх ярчайшие, брызжущие костры.

– Фу, черт... Фу! – вырвалось у Кирилла. – А ведь это...

Он хотел было сказать: «А ведь это красиво», но, забывшись, крикнул: – Фу, черт! Вот черт! А-а? Смотри-ка! Знаете, что?

Стеша не дала ему договорить. Она рванулась, увлекая его за собой к первой стоящей на конце улицы избенке, и тихо, словно боясь говором нарушить гуд, прошептала:

– Неужели там спят, Кирилл?

– А что ж... они ведь привыкли... Спят... обязательно спят, – ответил Кирилл, крепко сжимая ее маленькую, жесткую и сильную руку. – Наверно... обязательно... спят, конечно, – забормотал он, не зная, что сказать, порываясь схватить Стешу, вскинуть себе на плечи и так – под освещением прожекторов – перебежать с ней поле. – Послушай... Стешка, – зашептал он, все ближе и ближе притягивая ее к себе. – Стешенька... Стешка.

– Не дури... Кирилл. – Она отстранилась. – Смотри, смотри, что там такое?!

За стеклом в избушке на подоконнике стояла девчушка. Волосы-косички – будто она только что вышла из пруда – у нее растрепались, нос расплющился на стекле, а позади нее, упираясь руками в косяки, заледенел старик.

– Не спят, – проговорила Стеша. – Не спят, Кирилл... в каждой избе, в каждой избенке, – и быстро побежала к лесной опушке, бросая через плечо: – Нам с тобой надо встречаться только при людях. Понимаешь?... Ой, кто это?

На повороте к опушке они столкнулись с человеком. Человек, подогнув под себя ноги, сидел на краю овражка и пристально смотрел в сторону прожекторов.

– Кто такой? – крикнул Кирилл.

– Это я... Я, Кирилл Сенафонтыч. – Человек, очевидно, перед этим долго молчал – голос у него хриповатый. – Кролика ищу: кролик у меня пропал...

– А-а... последний единоличник, – усмехнулся Кирилл, убегая следом за Стешей.

– Я, Кирилл Сенафонтыч. – Митька Спирин поднялся. – Постой-ка. Постой... Постой! – прокричал он во тьму.

– Нехорошо... Нас тут вдвоем увидал, – упрекнула Кирилла Стеша, выбегая на опушку. – Он теперь понесет по всей улице.

– Ему не до этого, – ответил Кирилл и снова хотел было взять ее за руку.

Стеша отшатнулась, громко окликавая Богданова и Фешо Панову.

Богданов и Феня куда-то скрылись. Возможно, они пошли следом за Кириллом и Стешей и разошлись, потерялись.

– Зачем тебе они?

– Боюсь.

– Чего?

– Всякое может быть, – игриво ответила Стеша. – Сосен боюсь, теней.

– И меня?

– И тебя.

– Хорошо. Пойдем их искать. А может, мы им мешаем? Я всегда всем мешаю, – не в шутку добавил Кирилл.

– Не всем, а кое-кому. Мне вот, например. Пусти руку. Отсчитывай три шага и шагай за мной.

Сначала они шли по тропочке, теми же луговинами, огибая озеро, пробираясь к беленькому домику, думая там найти Богданова и Феню. Но, спустившись в овраг, темный, как сажа, сбились и пошли прямо в гору – мелким, частым осинником.

Потом все произошло как-то неожиданно.

– Кирилл! Лови меня! – крикнула она и метнулась в сторону.

Он задержался, подумал: «Маленький, что ль, я?», но в следующую же секунду, не отдавая себе отчета, кинулся за ней, со всего разбегу ударился коленкой о старый, ноздрястый пенек – сцепив зубы, чуть не завыл от боли и, крикнув, снова ринулся во тьму, ломая, сминая под собой осинник. Кирилл бежал, ничего не видя, выставив вперед длинные руки, весь напрягаясь, следя за шумом Стешиных ног, отбрасывая в стороны ветви кустарника. А та ускользала от него, мелькая беленькой кофточкой, удирая в гору, как кошка. Выбравшись на полянку, Стеша затопталась на месте, затем высокими травами, белоголовыми ромашками юркнула в чашу, взвизгивая, дразня его.

– Ах, Стешка, Стешка... Стешка, – бормотал он, делая крупные скачки, норовя подхватить ее – подхватить нежно, бережно, как подхватывают падающего любимого человека.

Перемахнув через темную ямину, он уже почти настиг Стешу: беленькая кофточка мелькнула совсем близко перед его глазами, еще один миг – и он обхватит своими длинными руками трепетное тело... И вдруг Стеша скрылась: ни крика, ни шороха, ни дразнящего писка... только легкий шелест примятой ромашки да гуд – гуд в небе... И Кирилл остановился, дрожа всем телом, желая уже пасть на землю и звать Стешу, но тут же, словно кто-то подбросил его, он снова рванулся в низину, чувствуя, как под ногами захлопала топь, а в лицо ударила болотная испарина.

«Что ж... ушла... Сколько уже лет она от меня так уходит! – И он шагнул во тьму, все больше и больше утопая в трясине. – Утонешь, дурак... Тиной обожрешься. Верзила», – но ноги шагали сами собой.

И вдруг на горе, в сосняке, запела Стеша. Голос у нее плавный, легкий, призывный, – и Кирилл кинулся на голос, уже не разбирая ни рытвин, ни канав, ни пней.

И он настиг ее...

Он настиг ее на поляне у старого разветвленного дуба. Руки ее тянулись к нему.

– Ох, Кирилл... иди, – вырвалось у нее.

...Очнулся Кирилл, когда около него горел костер из сосновых шишек.

– Земля сырая... встань, – проговорила Стеша.

– Ничего... от меня и земля нагреется.

– О чем ты думаешь?...

– Вот о чем, – Кирилл привлек ее к себе и шепнул на ухо: – Ты мать... материха моя.

Стеша вспыхнула, чуть подождала.

– Постельная принадлежность?

– Нет, постельная принадлежность у меня была – Улька... Я ушел от нее. А ты?... Ты обиделась тогда – червячком я тебя назвал...

– Еще бы!

– Нет, не червячок, а светлячок. Мать!

Стешка застеснялась, зарылась лицом на его груди и, еле шевеля губами, выговорила:

– А ты... ты мое солнышко...

И они оба заснули тут же, на полянке, около угасающего костра, двое сильных, здоровых людей, от тел которых нагревается сырая земля. Они лежали рядом, крепко обнявшись.

– Расскажи что-нибудь, Кирилл. И это были последние слова Стешы.

А утром их разбудило солнце. Они лежали на открытой поляне, чуть в стороне от старого, ноздрястого дуба, под разветвленной сосной, и солнце изобильно поливало их. Первой проснулась Стеша. Довольная, радостная, она потянулась всем телом, раскинула руки, выпуская из объятий упругую, твердую шею Кирилла, и легонько охнула: только теперь вдруг осознала все, что произошло с ней, – произошло то, о чем она мечтала, тая от Кирилла, но что теперь бросило ее в трепет. Она приподнялась, посмотрела в его упрямое, загорелое, совсем не улыбочливое лицо и тихо провела по нему рукой.

«Неужели и это пройдет?...» – в тревоге подумала она и затормошила Кирилла:

– Встань! Мне страшно...

Кирилл вскочил и, подхватив ее, понес прочь с полянки.

– Нет, нет, – безвольно запротестовала она. – Мы с тобой должны встречаться только при людях, – и через некоторое время, приводя себя в порядок, тревожно спросила: – О чем ты задумался?...

– Как будем с тобой жить...

– Новаторством займемся?

– Нет, родных созовем, к венцу поедем, свадьбу будем гулять, горшки бить.

– Какой ты злой!

– Я не на тебя, Стешенька. Ведь мы с тобой уже знаем, как гаснет радость: у тебя она погасла с Яшкой, у меня – с Улькой. А ты что задумалась?

Стеша вся вспыхнула и тихо, еле шевеля губами, прошептала:

– А если рожу?

– Непременно, – радостно ответил он. – Ну, пойдём.

И она поняла – он зовет ее туда, в низину, через речку, навстречу восходящему дню.

– Пльвем, – проговорил он, подходя к речке. – Пошли вброд.

– Поозоровать? Это хорошо, – согласилась Стеша и, первой идя в реку, звонко засмеялась. –

Ну, шагай... слонушка!

Кирилл некоторое время стоял на берегу, расставив ноги, потом шагнул, опять чуть задержался, что-то припоминая... и, уже войдя в воду по грудь, спохватился:

– Ох, черт, у меня ведь в кармане документы...

– О них ты и думал там? – спросила Стеша, закидывая вверх подбородок, боясь захлебнуться.

– О них. Ну, шут с ними. Поехали!

С них сочилась вода, тела плотно облегла мокрая одежда, когда они приблизились к беленькому домику и неожиданно столкнулись с Богдановым и Феней.

– А-а... Вы только что идете? – удивленно проговорил Кирилл. – А мы вас искали, искали... И вот нечаянно попали в воду.

– Ну-у? Иска-али ли? Чего уж там? Искали. Идемте бракосочетание справлять... В домике закатим пир на весь мир, – предложил Богданов.

Кирилл посмотрел на Стешу. Стеша зарделась, кинулась к нему, став под плечо, и, вся яркая, пошла с ним за Богдановым и Феней, но у крыльца домика шепнула:

– Давай удерем к тебе: мы ведь им мешаем...

– Но нам надо встречаться только при людях, – в шутку повторил он ее слова.

– Не дури!

И как только Богданов переступил порог беленького домика, они кинулись к лесу, убегая в холостяцкую квартиру Кирилла, но на повороте у реки снова остановились: из-за опушки сначала послышалось буйное пение толпы, затем выполз трактор, волоча за собой комбайн, разукрашенный подсолнухами, травами. Травами, подсолнухами также разукрашены были и люди. Впереди всех, неумело отбивая «барыню», метался Шлёнка, около него Захар Катаев, а на комбайне сидел Епиха Чанцев. Он руководил шествием, махал руками, выкрикивал, поддавал жару. Тут же в толпе Елька, Никита... И все – комбайнеры, бригадиры, шоферы, женщины – в буйном вихре, в пляске, окружив комбайн, двигались к реке.

– Что такое? – крикнул Кирилл.

– Кончили, Кирюшенька-Стешенька. – Вырвавшись из толпы, к ним подбежала Анчурка Кудеярова и замигала. – А-ма-а! Что это я вас обоих враз назвала? – и, посмотрев на них, вдруг догадалась: – Ух ты, а ведь в кон попала. Ну, идемте с нами. Жнитво кончили, и все купаться – в чем есть. К тому же Никиту Гурьянова в колхоз приняли.

Люди, кто в чем был, кинулись в реку.

Кирилл и Стеша стояли на пригорке, смотрели, как колхозники барахтаются в воде, и звонко смеялись. Но вот из реки во главе с Анчуркой выскочили женщины. Они бежали сторонкой, будто по какому-то срочному делу, затем круто повернулись и, несмотря на протест со стороны Кирилла и Стеши, уволокли их в реку.

Чуть спустя Кирилл вышел из воды.

– Ух ты!.. Второй раз купаюсь.

Отфыркиваясь и выжимая концы брюк, он увидел – с реки идет весь мокрый Никита Гурьянов.

– Дядя... и ты тут? Ну, как с душой?

Никита Гурьянов посмотрел на народ, на Кирилла, а затем, весь улыбаясь, проговорил:

– С душой?... Душа на место встала, племяш.

– Ну, с душой-то твоей еще придется повозиться.

– Опять не веришь? – Никита посуровел.

– Нет, верю... Стешка! Катай сюда, – позвал Кирилл, идя навстречу Стеше.

Стеша, вся мокрая – вода с нее лила ручьями, – взяла его под руку и, уже совсем не стесняясь, не думая о том, что скажут люди, проговорила:

– Кирилл! Утро-то какое сегодня!

– Пойдем ко мне, – шепнул Кирилл, сам беря ее под руку.

Звено девятое

1

Эмтеэс раскинулась неподалеку от Широкого Буерака, в ложбине, окруженной горами, выделяясь из зелени сосен зданием главного управления. В стороне от главного управления грузно уселись покрашенные в коричневый цвет приземистые постройки тракторного парка, направо от них высился клуб, кричащий со стен плакатами на красных полотнищах. За клубом тянулись коричневые четырехэтажные дома, строились новые – рылись котлованы, закладывались фундаменты... Так среди болот, на берегу реки Алая, в ложбине, наступая на Бурдяшку, рос новый город Чапаев.

Город рос, разветвляя во все стороны закованные в жесткий булыжник мостовые, опутываясь проводами, стягивая к себе мечтателей, людей рвення, людей дерзаний.

– Вступаем во владения Кирилла Ждаркина, – пошутила Стеша.

– Э-э, нет, мое владение вот здесь. – И Кирилл открыл перед ней дверь своей квартиры. – Пожалуйста, хозяйка.

В комнатах было тихо, словно они пустовали долгое время, покинутые людьми второпях, рывком: с кровати сваливалось одеяло, рядом на полу горбилась книга, а скомканная простыня была сунута в изголовье.

В комнатах было тихо и чуть-чуть пахло пылью.

– Проходи... проходи, – приглашал Кирилл, по пути подбирая одеяло, книгу, порванный ботинок, кусок булки, рассовывая все это по углам.

– Да ты когда-нибудь умываешься, Кирилл? – оглядывая комнату, спросила Стеша.

– А что?

– Смотри-ка, у тебя все вверх ногами... Ой, арбуз? Так ест арбуз Богданов. Сколько же дней он тут лежит? Фу-у... воняет. – Она отвернулась от подоконника, на котором стоял выдолбленный арбуз. – А еще говорите – обойдетесь без нас.

– Кто это сказал – без вас обойдемся? Вы – украшение жизни, я так думаю.

– То-то ты и ломаешь это украшение, как вол.

– Брось, Стешенька. Давай лучше переоденемся. Д то и с тебя и с меня льет.

– Переодевайся. А мне-то ведь не во что.

– Ну? Нет, есть. Знаешь ли, – он весь вспыхнул, – я как-то был на сессии ЦИКа, там перед отъездом товарищи из моего номера пошли в магазин покупать подарки женам. Я как-то так, понимаешь... Сказать товарищам, что у меня нет никого, кого бы порадовать, – не мог... и купил... платье. – Он выдвинул ящик стола, вынул оттуда черное платье и развернул его перед Стешей.

– Случайность, а кстати. Ты кому его купил?

– О тебе думал. Ну, честное слово, – пролепетал Кирилл и быстро скрылся во вторую комнату, глядя оттуда на Стешу.

Стеша положила платье на стол и нежно погладила его рукой.

– Кирилл! Ты правду говоришь? Смотри, этим шутить нельзя. Дело-то ведь не в этой тряпке...

– Да... Я думал о тебе, Стеша... Я все время думал о тебе. Я ведь хорошо помню, как ты лежала передо мной голая в лодке... и не стыдилась меня. Я тогда узнал, любишь ты меня... и я тебя люблю. Вот видишь, как легко и просто произношу я это слово... И помнишь, я тогда застегивал тебе лифчик.

Стеша сбросила с себя юбку, кофточку, сорочку и ладонями начала растирать тело. Она стояла в полуоборот и, возможно, совсем не предполагала, что из соседней комнаты на нее смотрит Кирилл. Она стояла к нему в полуоборот, и тело у нее было сизое, местами розоватое, упругое, подобранное, еще совсем девичье, только живот чуть-чуть выпирал, выдавая былую беременность.

– Да... Тогда было хорошо, – задумчиво прищурился глаза, говорила она, растирая ладонями тело. – А как ты застегивал лифчик? Что-то я не помню.

– Вот так, – Кирилл подошел к ней и поцеловал между лопаток, ощущая под ладонями бархатистость плеч. – Вот так... вот здесь.

– А я тогда обозлилась: кинулась в Волгу... пускай несет куда хочет. А потом, когда ты вытащил меня из воды, я увидела тебя не обыкновенным – не улыбочивым, а таким заботливым, с испугом. Да, зачем ты всегда улыбаешься? Нет, не так, как вот теперь, а по-другому, деланно?

Кирилл пожал плечами:

– Ты еще спросишь меня, зачем я всего не открываю друзьям, хитрю, не показываю, как чужими руками иных бью.

– Ой, кто-то идет к тебе! – Стеша кинулась в соседнюю комнату, прихватив с собой только платье, оставляя на месте кофточку, юбку и белье.

– Войдите, – крикнул Кирилл, подбирая за Стешей одежду.

В комнату вошел Захар Катаев. Он был в военной гимнастерке, и она делала его выше, более широкоплечим, аккуратным.

– А, здорово, Захар Вавилович, – Кирилл покружился по комнате и, не зная, куда деть белье, бережно развесил его на спинке стула. – Прикатил? – заговорил он, осматривая Захара. – Экий ты стал в военном!.. И будто выше меня. А ну, померяемся. – Он стал рядом, и они оба громко рассмеялись.

– Ничего детины, – загудел Захар. – Нас бы с тобой при старом режиме к царю в полк... а при Екатерине Великой обязательно бы в спаленку к ней попали.

– Ши-ши, – предупредил Кирилл, и Захар только тут увидел развешанное женское белье.

– Фи-и-ють, – засвистал он. – Значит, с торжественным днем тебя. Хорошо. Что хорошо, то хорошо... А то слухи о тебе неладные распустили в этом отношении...

– Ты что пришел?

– Пойдем в контору... народ там собрался... Делишки.

Кирилл, прихватив белье, шагнул в комнату к Стеше и приостановился: ему было жалко расставаться с этим утром, жалко было покинуть Стешу, и он несколько секунд стоял перед дверью в раздумье, не зная, что сказать...

– Иди, иди, Кирилл. Я здесь побуду, а вечером отправимся в беленький домик. – И Стеша, в черном платье став более мужественной, строгой, вышла к ним.

– А-а-а! – сказал Захар. – Приветствую от всей души. Вот как я рад... будто сам женился... Ну, где жить будешь?

– Пойдем, пойдем! – Кирилл повел его к выходу.

Пересекая улицу, любясь гудронированными, лоснящимися на солнце тротуарами, физкультурной площадкой, новенькими домами, все еще видя перед собой Стешу в черном платье – привлекательную и строгую, он вовсе не желал сегодня расстраивать себя делами эмтеэс, поэтому почти не слушал Захара, который начал рассказывать о какой-то беде совсем издалека, путано, намеками, тоже, очевидно, не желая расстраивать Кирилла. Только уже подходя к конторе, как бы между прочим, Захар проговорил:

– Тех открыли, кто задушить тебя собирался.

– Да ну! Кто же это?

– Юродивый со своей компанией.

Кирилл задержался на ступеньках, и перед ним быстро пронеслось: полянка, он сам лежит с перекрученными руками, с петлей на шее, бред, больница, Маша Сивашева, – и тихо проговорил:

– В былые времена подобным способом душили жандармы заключенных.

– Так и есть, – подтвердил Захар. – Юродивый – жандармский полковник, участник карательных экспедиций Колчака. Вот слепота наша какая: около нас разбойник вертелся, а мы губами шлепали. Молодчиков Юродивого мы словили, а за ним Шлётка охотиться взялся. Обещал поймать. Да, еще у меня одно дело есть. Не знаю, как сказать... Большой шум пошел по району...

2

В иную годину, жаркую, мглистую, пыльную, появляются черви – сизые, скользкие. Они ползут медленно, широким фронтом, в одном направлении, свиваются в жгуты-удаваы и пожирают загоны – шелковистую пшеницу, овсы, золотистое просо, оставляя нетронутой только пахучую горькую полынь, и миллиардами набрасываются на могучие дубы, объедают лист – широкий, сочный, – так иной раз целые леса, мрачные дубравы стоят обглоданные, черные, точно спаленные пожаром.

Скользкие сизые черви ложатся на железные рельсы, останавливают паровозы, заливают колеистые дороги, и тогда колеса телеги вязнут в живой пестрой кашнице.

И оно – это событие – прорвалось, как черви.

На выгулах коммуны «Бруски» гуляли куры – три тысячи, – белые с яркими кровяными гребешками, и издали всегда казалось – на пригорке разбросались водяные лилии.

– Какое добро нам развела Анчурка Кудеярова! – хвастался председатель коммуны Захар Катаев.

Но в одно раннее утро в квартиру Захара ворвалась Анчурка и, сотрясаясь всем огромным телом, захлебываясь от слез, сунулась лицом в подушку.

– Смерть идет. Смерть.

Никто еще не верил в беду, а беда надвигалась неумолимо, ползла, как ползет червь в засушливое лето: куры начали падать. Они падали у кормушек, в гнездах, на насесте, не успев добраться до укромного места. Они падали, как падают солдаты от удушливых газов, – партиями, там, где застанет смерть.

– Чума, – определила авторитетная комиссия, вызванная из города. – Кур надо немедленно выбить и сжечь.

– Сами вы «чумовые». Вас самих выбить да сжечь! Не дам я! – взорвалась Анчурка.

И она дни и ночи проводила на птичниках, складывала павших кур в сторонку, носила на руках умирающих, крепко прижимая к себе, поила их слюной, взяв клюв курицы в рот. А куры падали, валились пачками, гасли, как гаснут бабочки от мороза. И Анчурка, забившись в дальний угол, бессильная что-либо сделать, сгорбившись, плакала, громко причитая, как по умершему. За несколько дней она высохла, почернела, стала будто еще длинней, шагистой, говорила невпопад, путано, временами застывала на месте – высокая, сухая.

А Никита Гурьянов, вооружась топором, засучив рукава по локоть, на чурбаке рубил головы – белые с яркими кровяными гребешками, отбрасывая обезглавленную птицу в кучу, и куча прыгала, металась, хлопала крыльями, брызгала кровью, взвизгивалась перьями. Белые перья летали над птичниками, над коммуной, над Волгой, высоко взвиваясь, падали, устилая дорожки старого парка, украшая сумрачные дубы. На берегу Волги полыхали костры. Коммунарки, запачкав по локоть в крови руки, тащили обезглавленных кур, кидали их в пламя, и воздух наполнялся гарью – мясной, горьковатой, приторной.

Митька же Спириин то и дело мешками таскал кур к себе во двор. Кур щипала Елена, складывала их в погреб, а Митька, потирая руки, говорил:

– Вот случай какой выпал... Я на этих курах на базаре непременно корову заработаю...

Но самое страшное, пожалуй, во всем этом было то, что кур таскал не только Митька Спириин и не только у него одного глаза горели своеобразной радостью. Кур таскали и коммунарки. Многие из них буквально обжирались куриным мясом – жареным, пареным, вареным, – во всех видах, запивая его водкой, и при этом бахвалились так, как бахвалится человек, продав на базаре негодную вещь.

– Вот и дождался мяса. Э-э-э! Вали. Лопай.

Это больше всего и ошарашило Никиту Гурьянова.

– Вот как жрут. Анчурка только и сохнет. А эти жрут, – бормотал он, рубя головы курам, а отмотав руку топором, втыкал его в чурбак и уходил в парк, глядя отсюда на своеобразные пылающие костры и на то, как коммунары таскают кур. – Купались вместе и кур жрут вместе.

И тут в парке он наткнулся на Филата Гусева. Филат шел глухой тропой, согнувшись, глядя только в одну сторону, и чем-то напоминал Никите того треногого матерого волка, которого Никита поддел на вилы в долине Паника. А Филат подошел и, вытирая слезы, проговорил:

– Место что-то себе не сыщу, кум: тоска заела. Гляди-ка, чего с курами.

Никита обозлился:

– А тебе что чужая болячка?

Филат пошел рядом с Никитой, продолжая все так же: – Я мужик, кум, и чье бы добро ни горело – сердце у меня болит. Она ведь, куренка, душу имеет.

Никита остановился, взял за плечи Филата и, глядя в его рысьи глаза, спросил:

– Кто созоровал? Бай.

И между ними началась мужичья игра.

– Я, может, и знаю, да сказать не смею, – ответил Филат.

– Вот и дурак, значит, необтесанный. – Никита засвистал воздухом и даже засмеялся, мелко, дребезжаще, а глаза у него засветились.

– Ты не дурак, – глухо упрекнул Филат. – Ушел от меня. Ему-ста надо радость в миру искать. А я, может, твою-то радость вот так, под ноготь... Ой! Ой! Чего болтаю – сам не знаю. Где уж нам? Сами под ногтем сидим и еле пищим.

– А вот и дурак. Клопов надо душить не так, так эдак. А он – «тоска заела». – И Никита с силой ударил себя кулаком в грудь. – А вот мы пропадай – мужики. Это ничего? Пролетарь там всяка, ячейщики команду над нами взяли. Это ничего?

У Филата в глазах волчий блеск. Но он еще не верит Никите и, чтобы испытать его, говорит:

– А в коммуноу зачем ушел?

– Для прикрышки, – не задумываясь, отвечает Никита. – Пускай подумают: Никита Гурьянов коммунист на все двести... А я вот им. Я вот им, – и опять засмеялся, мелко, дребезжаще. – А я вот им с курами-то и состряпал...

Филат даже рванул его за рукав.

– Ну, ты честь у другого не отбивай, – и заторопился: – Ты вот что... Ты иди-ка, иди-ка к Плакущеву... Зовет он тебя... Вот как зовет... – и почти силой уволок Никиту к Плакущеву.

Да, Плакущев уже сидит... Вот он какой... При входе Никиты было прилег, но когда Филат сказал: «Вернулся... сын блудный», – Плакущев привстал и долго, пристально всматривался в смиренного Никиту.

– Прощения пришел просить, Илья Максимыч, – проговорил Никита, вертя в руках шапку, как нищий.

– Нас тот давно простил, – Плакущев тонким, длинным, волосатым пальцем показал в потолок. – И место нам изготовил в лоне Авраамовом.

Плакущев долго говорил. Что – Никита не все понял: он находился в состоянии какого-то полусна. И только когда Плакущев протянул ему маленькую железную баночку, он очнулся.

– В этой баночке вещество такое... клещ. Брось баночку открытой в амбар с семенами. Как чума, все семена клещ сожрет. На. Это испытание тебе за все.

Никита дрогнул. Принял баночку. Шагнул к двери. И с порога гаркнул:

– Мертвяк, сволочь! То мне и надо от тебя...

Никита вырвался со двора Филата Гусева, как очумелый промчался через улицу, заглянул в контору эмтеэс. Кирилла Ждаркина там не оказалось. Тогда Никита метнулся на «Бруски», намереваясь там разыскать своего племяша, и в парке натолкнулся на Давыдку Панова.

– Вот, – сказал он, – вот, – и протянул Давыдке баночку с клещом. – Вот.

– Что? – Давыдка принял баночку, повертел ее в руках.

– Клещ. У Плакущева был я... И – как сознательный – доношу... Велел мне эту баночку с клещом в амбар колхозный бросить... Слышь, клещ, как чума, все семена сожрет. И с курами мы, дескать, сотворили.

Давыдка Панов сморщился и, брезгливо швырнув баночку в Волгу, сказал:

– Ай и тебя в зверя превратил Кирька Ждаркин. Своей смертью старику Плакущеву умереть не даете. Эх, люди-человеки, – и ушел, оставя Никиту одного.

А Никита присел на пень. Баночка. Маленькая, кругленькая, из-под охотничьих пистонов. На крышке баночки еще нарисован охотник, палящий из ружья. Но вот ее нет, этой баночки. И если Панов Давыдка, казалось, самый ярый противник Плакущева, не поверил Никите и закинул баночку в Волгу, то как поверят Никите другие, не видя этой баночки? А может быть, надо было остаться там, у Плакущева? Может, сила там?... И в Никите проснулся страх – огромный, могучий, властный. Страх сорвал его с пня и заставил метаться между двух огней. Сначала Никита кинулся к Плакущеву. Но во дворе Матреша, жена Филата, сказала: «Ушел куда-то – к Чертовой прорве зачем-то». Тогда Никита кинулся туда и через несколько минут чуть было не поседел. Он еще издали услышал раздирающий крик, похожий на крик свиньи, когда ее режут. А подбежав к Чертовой прорве, тому месту Волги, где вода бурлила круговоротом, он увидел такую картину. Несколько чужих людей, под командой Плакущева, железными прутьями хлестали по ногам Филата Гусева, загоняя его в Чертову прорву. Филат извивался, метался в стороны, норовя ухватиться за ноги Плакущева, визжал, не в силах вымолвить слова. Плакущев отталкивал его ногой, командовал:

– В Волгу его! В Волгу! За язык длинный!.. И дружка твоего пымам...

Тогда Никита как безумный метнулся обратно на «Бруски», схватил топор и с остервенением стал рубить головы курам. А когда к нему подошли Кирилл Ждаркин, Захар Катаев, он, рубанув курице голову, отбрасывая в сторону обезглавленную птицу, с таким же остервенением кинул Кириллу:

– Вот, племяш, твоей радости башку рублю.

И поздно ночью, прихватив с собой восьмилетнюю дочку Нюрку, Никита скрылся в неизвестном направлении «доживать конец жизни».

3

Кирилл Ждаркин и Захар Катаев примчались на «Бруски» в самый разгар куриного побоища, когда на берегу Волги пылали костры, а от птичника к кострам тянулась живая цепь коммунарок. Коммунарки, засучив рукава, окровавленными руками передавали обезглавленных кур по цепи и смеялись громко, заразительно, точно на игрище. В этом смехе, собственно, не было чего-то такого злого, омерзительного, враждебного. Нет. Это был смех беспечный, беззаботный, даже до некоторой степени задорный: коммунарки от такого смеха пылали румянцем. Но Кирилл и Захар Катаев именно в этом и увидели весь ужас.

– Пир во время чумы, – глухо проговорил Захар. – Да как же это они ржут в такой час?

В это время из-под обрыва выбралась почерневшая Анчурка Кудеярова. Крупно шагая, дергаясь огромным телом, она подошла к Кириллу и, еле держась на ногах, завывала:

– Киря-я! Кирюшенька-а-а! Да что же это? А-а-а. Умирают. Куры-то умирают... А-а-а, Кирюшенька-а-а!

Кирилл обнял ее, проговорил тихо, мягко:

– Ничего. Ничего, Аннушка. Еще разведем. Мы богатые. А ты не сдавайся. Не страдай так: ты ведь опора наша. Надломишься – все полетит.

– Да как же? Что теперь народ-то скажет? Анчурка, псовка, кур не сберегла. Как в глаза народу глядеть буду? Богданов приедет, а я отворачивайся? – И Анчурка снова завывала, раскачиваясь, готовая упасть.

И всю дорогу, пока Кирилл поднимался в гору на молочную ферму, перед ним мелькали глаза Анчурки Кудеяровой, большие, трепетные, окаймленные мелкими морщинками.

На полпути к молочной ферме их встретила Нюрка – жена Звенкина, заведующая свинофермой, – и Гришка Звенкин. Нюрка, прикрывая лицо руками, еще по-девичьи стесняясь Кирилла, сказала:

– Кирилл Сенафонович... Зайдите, чай, к нам, поглядите, чай, наше хозяйство.

– И правда, – подхватил Гришка. – Порадуйте ее этим.

Сначала трудно было понять, что за корпуса тянулись вдаль – то ли это больничные бараки, то ли детские ясли? Корпуса тянулись один за другим – в ряд, побеленные известью. А около было чисто выметено, посыпано песком. Из корпусов то и дело выбегали девушки, женщины в синих халатах. В дверях перед корпусами стояли ящики с известью. Но это были вовсе не больничные бараки и не детские ясли, а самые простые свинарники. Войдя в один из таких свинарников, Кирилл невольно отряхнул со своего рукава пыль: в свинарнике было настолько чисто, что пыль на рукаве

показалась Кириллу слишком неуместной. Вся внутренняя часть свинарника была разбита на ряд клеток, и в каждой клетке на шелковистой соломе, развалиясь, лежали или свинья, или поросята. При входе Кирилла, Нюрки, Гришки и Захара Катаева поросята вскочили, завизжали и, любопытствуя, начали тыкаться мордочками в дверки. Нюрка вошла в одну из клеток, где лежала, развалиясь во весь свой богатырский рост, мать-свинья, окруженная четырнадцатью поросятками.

– А вот она наша гордость: четырнадцать штук принесла. Зинка, Зинка. – И, присев, Нюрка провела рукой по животу «Зинки», та хрюкнула, потянулась блаженствуя.

А когда они вышли из свинарника, уже повеселевшие, Нюрка вдруг появилась на пороге, держа под мышкой двух розовых поросят.

– Красивые мы? – сказала она. – Кирилл Сенафонтович!

– Да. Красивые. Даже завидные, – ответил Кирилл и зашагал на молочную ферму, думая: «Ну, вот есть же люди, которые целиком отдаются колхозному делу. А почему же те? Почему?» – Он посмотрел на Гришку Звенкина, спросил:

– Гриша, почему твоя Нюрка так радуется, когда показывает поросят?

Гришка думал недолго. Лицо у него расплылось в улыбке:

– Да ведь в этом смысла жизни, – сказал он, подражая мужику. – Мы комсомол. Да и как по-другому-то жить? По-другому, значит, в петлю лезь. Вот еще.

Но вот это другое... Они еще не дошли до молочной фермы, как увидели то, что взбесило не только Кирилла Ждаркина, но и Захара и Гришку Звенкина... Неподалеку от них из-под горы поднимался племенной бык швицкой породы... Он поднимался натужно, приседая на все четыре ноги. От спины у него шла испарина. И казалось, бык вот-вот заревет мучительно, надрывно, грохнется на землю и больше не поднимется.

– Что такое с быком? Что? – И Кирилл первым кинулся к быку.

Со двора вышел Панов Давыдка, заведующий молочной фермой. Вышел и спокойно объяснил:

– Да копыта опять у него отросли. Вишь – по аршину копыта. Ну, и трудно ему ходить. Все собираемся обрубить топором ай косою обрезать... А времен-то и нет.

Кирилл хотел было бросить что-то грубое, злое, но сдержался, поднял голову и тут же прочитал на воротах написанное враскос:

ПОДГОНКА РУБЛЕМ – ПОЗОР ДЛЯ КОММУНАРОВ.

– Кто это наката? – спросил он.

– Степан Харитонович, а вывесил он, – проговорил Захар Катаев, показывая на Давыдку Панова. – Тут у меня и сумление, Кирилл Сенафонтыч: сорвать смелости не хватает, а оставить – сердцу претит.

– Сорвать! Сорвать! – закричал Кирилл, уже не в силах сдерживать себя. – Сорвать! Ишь ангелочки. А Панова Давыда из заведующих выгнать и на его место поставить Нюрку. И коммуны переименуйте. Назовите солхозом: зазнайство с таких, как Давыдка, сбейте.

Панов Давыдка, широко расставя ноги, бледнея, процедил:

– Выгоняла какой явился... Драку объявим. И сопатку наколотим.

– Ну, что ж... подеремся, – сказал Кирилл и покинул молочную ферму.

Да, это уже был какой-то иной этап борьбы и по своему характеру и по своему виду. До сих пор Кирилл боролся со своими явными противниками: он их понимал, ненавидел. Теперь же приходилось вступать «в рукопашный бой» с теми, с кем когда-то сидел за одним столом, с кем вместе выступал на фронте против единого лютого врага, с кем мечтал о светлом будущем, с кем готов был когда-то пасть рядом на поле брани. Теперь он выступал против них. Это было тяжело, но, видимо, и неизбежно. И Кирилл начал вместе с Захаром Катаевым разрабатывать план борьбы, стягивая к себе людей, пуская в ход все, как на фронте, вплоть до «соглядатаев». Через «соглядатаев» он узнал, что противники его часто стали собираться у Степана Огнева.

– Страну такие, как Кирька, ведут в пропасть, – еле выговаривая слова, уверял Степан. – Эх, только больной я! – и в одиночку шептал ретивым: – Неужто у нас не найдется человека, который Кирьку бы убрал? – И группировал около себя таких, как Пономарев-Барма, как Панов Давыдка. Впоследствии к нему пристал и Лемм, присланный из Москвы на работу в район.

С Леммом у Кирилла разрыв получился совсем будто из-за пустяков. Лемм как только приехал, занялся осмотром древностей. Обезжая села, он любовался остатками поместий, стоянкой Батыя.

Кирилла вначале удивляло, что Лемм интересуется «такой чепухой», однако он оправдывал старика, считая, что тот просто хочет отдохнуть.

Но вскоре Лемм увлекся охотой. Раз, придя в кабинет к Кириллу, – у Кирилла в это время шла самая напряженная работа по сбору семян и люди заседали уже третий день, воспаленные, возбужденные, готовясь к весеннему бою на полях, – придя в такой день, Лемм отозвал в сторону Кирилла и шепотком, таинственно прочитал телеграмму-молнию: «Обложены два куда приедете», – и начал объяснять:

– «Два» – это два медведя. «Куда» – это не куда... телеграф перепутал. Уж и порядочки у вас на телеграфе!.. «Куда» – это «когда» приедете, – и прищелкнул от удовольствия языком. – Ты меня, сынок, не брани: грешок у меня есть – охоту люблю. Вот и связался со старожилами. Два медведюка. Поедем. А? Ты с рогатиной можешь на медведя? Вон какой. Как только себя на земле носишь!

– Да-а... замечательно, – процедил Кирилл и, стыдясь поступка Лемма, отошел в угол.

А Лемм продолжал нашептывать:

– У вас в Широком Буераке знаменитая церковь: основание еще от екатерининских времен. Понимаешь?

– Вот и надо ее к чертовой матери взорвать, – не выдержал Кирилл.

– То есть как – взорвать? – оторопел Лемм.

– А так... шантрапа там всякая вьется.

– Да ты действительно укротитель.

И с того дня Лемм пристал к Степану Огневу.

У Степана они собирались по вечерам, называли друг друга «ангелочками», «друзьяками», играли в карты – «в свои козыри», «в дурака», «в козла»; мечтая столкнуть Кирилла, виляли, лебезили, расхваливая при Кирилле его дела, его самого, уверяя, что теперь они могут спокойно умереть, ибо знают – на земле появились такие замечательные партийцы, как Кирилл Ждаркин, которые «доведут наше дело до точки».

– Экие кастраты! – узнав о сборищах у Степана, проговорил Кирилл и начал следить за собой, за своими поступками, всегда искусственно улыбаться, исподтишка, умело подбирать людей, отыскивая по району старых бойцов-фронтовиков, сажая их заведующими отделениями эмтеэс, председателями колхозов, бригадирами. Он сумел секретарем райкома партии провести Шлэнку, секретарем комсомола – Феню Панову, и новые, молодые силы хлынули к нему изобильно.

4

Борьба с Кириллом Ждаркиным всколыхнула Степана. Он начал поправляться, у него появилась речь – речь безнадежного заики, – веселость, энергия. И он вовсе не ожидал, что жизнь нанесет ему такой страшный удар, опрокинет, сметет его, как сметает ураган в овраг опавшие иглы сосен. Он надеялся – стоит только ему подать голос, как народ пойдет за ним, за «начинателем колхозной стройки в округе». Он совсем не знал, что за эти годы, пока он лежал больной, лицо края, страны неузнаваемо изменилось. Сидя в своей комнатке, перебирая своих прежних знакомых, он говорил Давыдке Панову:

– Бывало, картошку я заготавливал для Москвы. Я так: призову Никиту Гурьянова, Маркела Быкова, торгаша этого Евстигнея Силантьева и говорю: «Государству надобна картошка. Вот вам деньги – заготавливайте». Они и хлынут обозами. А нынче что? Картошки нету.

– Да ведь и их уж нету – народа такого, – пугливо вставлял Панов.

– Нету? – переспрашивал Степан. – Ну?... Найдутся, чай.

И первый удар он получил от своей дочери Стеши.

Она решила проведать его, свою дочку Аннушку, мать и, вбегая в комнату отца, вся затрепетала: она считала его человеком кристальной чистоты, преданным партии, не по заслугам обиженным, человеком, который сознательно жертвует собой ради блага других, тех, «кто поднимается со дна проклятой жизни».

Он встретил ее ласково, немножко иронически, по-отцовски шутя, так же, как встречал ее, бывало, возвращающуюся с девичьей вечеринки, как и потом, когда она стала матерью. Ничего как будто не изменилось: тот же голос – чуть глуховатый, та же шутейность, только лицо перекошено да левый глаз – безжизненный, слезливый... И она не выдержала, упала перед ним на колени, зарываясь лицом в подол пестрой рубашки, а он, снимая с ее головы кожанку летчика, проговорил:

– Ты эту штуку брось, дочка. Женщина должна быть женщиной, а не уродом. А ты ш-што

напялила – штаны и шапку мужичью!

Стеша вначале хотела отшутиться, сказать, что не может же она носить шляпку, сидя за рулем, но чем больше говорил Степан, тем острее она чувствовала, как все в ней рушится, – рушится надежда, любовь к отцу, вера в его величие. И он представился ей самым обыденным мужиком – Никитой Гурьяновым, который требовал ввести такие моды, «кои подходят к крестьянскому климату», и она начала дрожать мелко-мелко, как дрожат люди в легком платье под резким осенним дождем.

– Все это, видно, Кирька с тобой проделал. Он и Якова загубил. Яшка от меня пошел к Плакущеву. Кирьку надо бить, как таракана... И погиб Яшка. Он загубил – Кирька, распутный, развратный. – Степан говорил долго, с паузами, выдавливая из себя слова, коверкая их, точно пьяный, не замечая, как они отталкивают, отбрасывают Стешу от него. – Он-н, Ки-ирь-к-ка, ш-што-о? Он-н укротитель... в ци-ирк бы е-ему-у.

Стеша стояла перед ним на коленях, чувствуя на своей голове прикосновение холодной, безжизненной руки, уже понимая, что он предаёт их – Кирилла Ждаркина, Богданова, что он косвенный участник полдомасовских событий, что действия Яшки в Полдомасове – действия ее отца. Она дрожала, не в силах подняться, рвануться, крикнуть ему в лицо, а он все говорил – тягуче, выдавливая, выливая перед Стешей обиду, открыто бахвалясь своими прежними делами, жертвенностью, напоминая своим говором Пономарева Барму.

– Нонче-е в-все-е в ко-ом-мунизм... Тооль-лько-оо к-ак? И ты-ы мужичка? Раз... рази та-ак?

И Стеша загорелась от стыда: ей показалось, что ее неожиданно раздели перед народом.

Она вскочила, торопясь, глубоко напялила кожанку летчика на голову, запахнулась, кутаясь, словно боясь своей наготы, и, стоя в дверях, прошептала:

– Тятенька! Ах, тятенька... лучше бы ты умер.

Второй удар жизнь нанесла ему вскоре. По району шла реорганизация колхозов: мелкие, карликовые коммуны, не выдержав, лопались, отставали, чахли. Начала глохнуть, отставать и коммуна «Бруски». Ее, по настоянию Кирилла Ждаркина, ликвидировали как коммуны и слили с колхозом Кривой улицы, присвоив ему то же название – «Бруски». Этот удар свалил Степана в постель, снова отнял у него язык. Поправившись, Огнев начал упорно биться за восстановление коммуны-гнезда на «Брусках». Он бился за коммуны с таким же упорством, с каким Никита Гурьянов бился за свой загончик. Но и в этой борьбе за ним почти никто не пошел, и он остался один с кучкой обиженных, по целым часам сидел в своей комнате, смотрел на волю – на лесистые горы, на дороги, тропы, поля, видя, как по дорогам, тропам ходят чужие люди: речи их чужие, голоса их чужие, походка их чужая...

– Подхалимы!.. Подхалимы! – шептал он и отрывался от окна, потрясая кулаком здоровой руки, охваченный яркой ненавистью к Кириллу, к тем, кто так охотно пошел на уничтожение коммуны, на ликвидацию детища Степана Огнева. Ненавидя их, он крепче привязался к Панову Давыдке, как к одному из тех, с кем он строил коммуны, с кем пахал поле, впрягшись в самодельный плужок, с кем голодал, мечтал, радовался первым успехам.

Степан умирал, обрывалась его жизнь, – жизнь страдальческая, вскормленная на крестьянских дрожжах, жизнь человека, который отстал и не видел того, что он волочится в хвосте, глотая пыль, поднятую миллионами ног...

И он умер, сидя в коляске, упав головой на подоконник.

К вечеру того же дня Кирилл получил письмо, где на листе бумаги было написано одно слово – коряво, печатными буквами: «Убивец».

А из района со всех сторон сыпались телеграммы, донесения о порче тракторов, комбайнов, поджогах колхозных гумен; кражах, покушениях, о выходе из колхозов.

Кирилл вместе со Стешей сидел у себя на квартире, разбирал донесения, отдавал распоряжения и терялся, не понимая того, что творится в колхозах. И вот поздно ночью резко затрещал звонок телефона.

Кирилл взял трубку и побледнел.

– Что? Что?! – хрипло крикнул он. – Шлётка? Да не может быть! Он ведь только что был у нас, – и весь зачесался, заскреб пятерней грудь, бока, ноги, шею.

– Не дери тело... не дери! – Стеша кинулась к нему. – Не дери! Что там?

Кирилл, глядя поверх Стешы, проговорил глухо:

– Василий... Шлётка... в больнице... тут у нас.

Шлёнку нашли на берегу реки Алая, с разрубленной головой. Удар в голову был нанесен железной лопатой. Придя в сознание, Шлётка потребовал к себе Кирилла, но говорить не мог: впадал в забытье, произносил только одно слово, выдавливая его из себя с шипением, с великим усилием:

– Лу-ук, – и смотрел на Кирилла раздраженно, часто мигая, злясь, что тот не понимает его.

Кирилл сидел перед ним, смотрел в изуродованное лицо, гнулся, напрягая слух, внимание, ничего не понимая. После долгого, томительного молчания Шлётка опять открыл глаза, проговорил ясно, громко:

– Луквицы-ы, – и снова впал в глубокое забытье.

– А-а-а! – догадался Кирилл и отшатнулся: перед ним всплыла фигура Юродивого... Вот он верхом на палочке въезжает в Широкий Буерак... на груди у него болтаются затрепанные луковичи, а он скачет на палочке, кричит:

– Горько ешьте: так Христос велел!

Вот он стоит на крыльце каменного двухэтажного дома и истошно призывает:

– Все в коммуны – так Христос велел и наш учитель Ленин!

Вот он...

5

Кирилл всю ночь продрожал в постели, мелко, зябко, утерев власть над собой, не имея сил забыться, погрузиться в сон, заспать тревогу, как в былые времена, – и рано утром, разбитый, вышел из квартиры, направляясь через двор тракторной станции в гору.

Он шел той же дорогой, по которой когда-то убежал из Широкого Буерака, перепуганный свалкой в долине на поливе, убежал от своего огорода на Гнилом болоте, оставляя его навсегда с выкорчеванными, но еще не срезанными пнями, от своего двора – с рысаком, с кургузой Зинкой, с Плакущевым, – от своей заветной мечты, воплощенной в племенных коровах, в домике, разукрашенном вензелями, в крепком воротном запоре. И теперь он шагал по той же дороге, тяжело ступая, вывертывая пятки, оставляя углубления в песке, шагал из долины реки Алая, усыпанной десятками сел, деревенок, – желая остаться наедине, забыться, заглушить сомнения, терзающие его с того часа, когда он увидел костры на берегу Волги, Шлётку с разрубленной головой. Обезглавленные куры явились для него. предупреждением о назревающей угрозе: она двигается, ползет, как червь, подтачивая колхозы, готовясь опрокинуть, метнуть страну вспять – разрушить то, что создавалось с великим трудом в ожесточенных боях, – кровавых, бескровных, ухищренных. Эта угроза росла из миллионов, разбросанных по обширной стране, затосковавших по базару, по своим мешкам, сусекам, по своей лошади, по своей сохе-кормилице. Кирилл видел эту нарастающую угрозу и терялся, наталкиваясь всюду на сопротивление вчерашнего мужика.

«Душа на место встала», – вспомнил он слова Никиты Гурьянова и понял: у Никиты «душа на место встала» потому только, что от него отвалились тысячи бед – боязнь вора, пожара, мора, града, напастей, потому, что он теперь стал спать на кровати, а не сидя за столом.

– Твоей радости башку рублю! – крикнул Никита остервенело, со злостью отбрасывая в сторону обезглавленную курицу, и сбежал из коммуны в неизвестном направлении.

Такие сомнения одолевали Кирилла.

Он сидел на пне и смотрел на долину реки Алая, как смотрит художник на свою незаконченную картину, которая измучила его, измотала, заставляя украдкой вскакивать с постели, при свете свечи еще и еще раз, не зная покоя, рассматривать ее, доходя при этом до такого исступления, когда хочется одним взмахом уничтожить полотно, как ни на что не годный хлам, и в то же время не имея сил сделать это, ибо картина написана кровью, нервами, мучительными переживаниями, и то, что вложено в нее, – сильнее смерти, сильнее любви.

Кирилл сидел на пне, смотрел на долину реки Алая, как художник на неоконченную картину, зная, что годы упорной работы, сомнения, радости, надежды, – все это там, среди деревенок, среди колхозов, а тут, на вершине горы, только его огромное, сильное тело, и бежать из долины – значит бежать от самого себя, значит растоптать себя, как топчут червя на дороге... И он еще напряженной, с еще большим волнением стал всматриваться в долину, в каждый отдельный штрих, отыскивая основное, главное, что надо немедленно же изменить.

Долина реки Алая, залитая утренним звонким солнцем, тянулась к отрогам далеких волжских гор, то суживаясь, то расхлестываясь широчайшими картами, зеленела луговинами, цвела желтизной

подсолнуха и пылилась дорогами. Это была та же долина, по которой когда-то из заволжских пустырей шли старатели, прорубаясь сквозь чащи девственных лесов, корчуга пни, выжигая заросли, поднимая черноземную новь. Это была та же «долина, по которой когда-то шли завоеватели, вооруженные тяжелыми тесаками, луками, и, может быть, вот здесь, у подножия Шихан-горы, они бились насмерть со степными Жителями. Это была та же долина, которая всего два года Тому назад была разодрана загончиками, полосками, лоскутами владений Никиты Гурьянова, Маркела Быкова, Митьки Спирина и его, Кирилла Ждаркина, – мучеников, рабов земли... Это была та же долина реки Алая, но по ней уже не ползала соха, ее уже не раздирали загончики, на ней уже не высыпали, как чирьи, свои дворики, свои сарайчики, свои закопченные избы, избыщи, домища... Это была та же долина, но по ней уже гордо шествовали тупорылые тракторы, величавые комбайны, ломая межи, полоски, окончательно завладев полями. А на самом севере, за рекой Алаем, высился новыми кирпичными постройками Чапаевск. Дальше за ним дымились трубы цементного завода, – туда вились вымощенные булыжником дороги, тянулись провода, обозы и шли люди, тысячи людей, поднятые не рожком пастуха, а пронзительными гудками. Город рос, разветвлялся, вытесняя пустыри, уничтожая тихие омуты, торопя людей. И сколько их ушло – туда, в город, на цементные заводы, на строительство металлургического завода, к домбайнам, тракторам, сколько их ушло – тех, лапотников: тяжелозадых мужиков, хулиганистых парней, девок – разбитных, удалых, по-бабьи задорных, со своими привычками, со своими навыками – с навыками деревенек тараканьего царства. А теперь это они в выходные дни заполняют окрестности города – луговинные долины, липовые рощи, мелкие загровки осинника, заполняют, оглушая буйными песнями, весельем жителей городка. Так ведь всюду – по всей стране, куда ни глянешь...

Да, это была та же самая долина реки Алая, та же самая... но выглядела она совсем по-иному, совсем не так, как прежде.

И разом то, что происходило в колхозах, повернулось к нему другой стороной. Другой стороной повернулись к нему куриное побоище на берегу Волги, костры, коммунарки – веселые, жизнерадостные, со смехом бросающие в костры обезглавленную птицу, доярки, телятницы, скотники, воровство, рвачество...

И тут же, сидя на пне, выхватив из кармана записную книжку, он написал генеральному секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Сталину:

«Что-то надо делать... иначе... иначе сломятся наши, такие, как Гришка Звенкин, как Захар Катаев. Они не выдержат напора со стороны тех, кто со смехом тащит кур в костер, кто закрывает глаза на вора. Я практик, и не мне давать политические формулировки, а вы вождь партии – вам тут карты в руки. Я думаю, надо ввести натур-налог. Определить – такое-то количество центнеров с га сдает колхоз государству, все остальное поступает в его полное распоряжение и, за вычетом на семена, запасный фонд, на нужды колхоза, распределяется по труду – вот тогда мужик примется за дело, начнет контролировать наших руководителей-правленцев, проявит свои богатейшие способности мастера земли... И не будет верить плакату: «Подгонка рублем – позор для коммунаров». Индивидуальное домашнее хозяйство на базе колхоза – вот единственный путь на сегодня. И другое – мы раньше думали, что сельское хозяйство будет развиваться по такому пути: товарищество – артель – коммуна. Практика нас убедила, что тех коммун, о которых мы мечтали, у нас не будет: тракторные станции уж взяли на себя руководящую роль, они являются органами диктатуры пролетариата, а коммуны, построенные Огневым, превратились в гнилые грибы под разветвленными деревьями – могучими дубами – тракторными станциями».

В это тревожное утро Кирилл понял: он переступил грань, за которой человек начинает мыслить. До этой грани человек его породы думает, страдает в соответствии с тем, как мир прикасается к нему. Так думает, страдает мужик: он становится находчивым, сообразительным, когда мир – «свое» – ласкает его, и впадает в уныние, ползет на карачках, когда мир – «свое» – поворачивается к нему другой стороной. Кирилл переступил эту грань, начал мыслить, видеть за простыми, обыденными явлениями большие, назревающие под пеной жизни события, перспективу, завтрашний день, – день страны, потрясающей основы мира... И, поняв это, он выпрямился, провел ладонями по лицу, точно выправляя его, и снова посмотрел, но совсем по-другому, на долину реки Алая.

Там – в синей испарине утреннего солнца начинался новый день... И Кирилл срывается с пня, идет, грохая каблуками сапог о жесткий череп земли, наливаясь силой, расправляя плечи, готовя новый сокрушительный удар.